



ЯЗЫКИ

малые и большие

SLAVICA TARTUENSIA IV

UNIVERSITAS TARTUENSIS

SLAVICA TARTUENSIA

IV

ЯЗЫКИ

МАЛЫЕ И БОЛЬШЕ...

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТARTU UNIVERSITY

SLAVICA TARTUENSIA

IV

UNIVERSITAS TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOЛ ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Slaavi filoloogia õppetool Кафедра славянской филологии

**ЯЗЫКИ
МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ...**

IN MEMORIAM ACAD. NIKITA I. TOLSTOI

SLAVICA TARTUENSIA
IV

TARTU 1998

Редактор серии “Slavica Tartuensia” и ее IV тома А. Д. Дуличенко
Технический редактор тома Д. Гроздов

Редакция серии “Slavica Tartuensia”: Estonia, EE2400 Tartu,
Ülikooli 16, Tartu Ülikooli slaavi filoloogia õppetool; tel. 372 7/375 351;
fax 372/375 353; e-mail aleksd@admin.ut.ee

© Авторы статей и редактор, 1998

ISSN 1406–3522

Tartu Ülikooli Kirjastus/Tartu University Press
Tiigi 78, EE2400 Tartu, Eesti/Estonia
Order no. 116

*Посвящается памяти
выдающегося русского слависта
Никиты Ильича Толстого
(1923–1996)*

СЛОВО РЕДАКТОРА

В 1983 г. слависты Тартуского университета в серии “Ученые записки” (выпуск 649) подготовили к 60-летию Никиты Ильича Толстого сборник “Из истории славяноведения в России (II)”. Спустя полтора десятка лет Тарту посвящает выдающемуся слависту второй сборник научных исследований, однако теперь уже (кто бы мог тогда предположить!) в жанре “in memoriam”...

С Тарту и его старым университетом Н. И. Толстого связывало многое: он бывал здесь, читал лекции для студентов, печатался в наших изданиях; здесь работают те, кто имел счастье быть его учеником, кого захватывали его научные идеи и подходы.

Н. И. Толстой был славистом классического типа. Это значит, что ему было тесно в рамках одной-единственной, раз и на всю жизнь избранной узкой проблемы. Он имел энциклопедические познания практически во всех областях науки о славянстве и плодотворно в них работал. Можно без преувеличения сказать, что в этом смысле Н. И. Толстым как “последним из могикан” и завершается XX век славистики.

Предлагаемая книга создавалась таким образом, чтобы своим содержанием она отразила хотя бы часть того широкого спектра славистических проблем, которыми занимался Н. И. Толстой или которые были ему так или иначе близки. При этом мы стремились как можно полнее отразить диапазон славянских языков — от “самого маленького” резьянского (resp. резьянско-словенского, резьянщины) до “самого большого” русского, от “новых” типа черногорского до древних старославянского и полабского. Не случайно за Н. И. Толстым еще при его жизни закрепилась метафора *славист, объявивший всю Славю*.

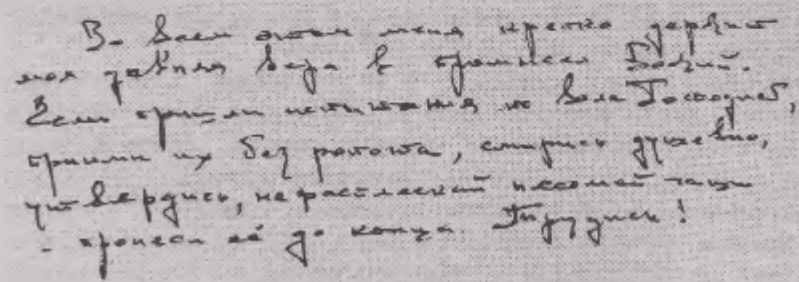
Первый раздел посвящен “Языкам малым...”, или микро-языкам, среди которых югославо-русинский, резьянский, кашубский (и словинский), нижнелужицкий, ляшский. Здесь важно отметить то, что часть статей написана на самих микроязыках, — на югославо-русинском, кашубском и нижнелужицком, причем авторами первых двух являются представители соответствующих этнических групп. Второй раздел назван “Языки новые...” и включает по существу неизвестные или же слабо известные большой славистике попытки создания новых славянских литературных языков, каковыми в данном случае являются черногорский, моравский, карпаторусинские

Восточной Словакии и Украинского Закарпатья, а также так наз. вичский и гал(ь)шанский. Статья о черногорском написана на черногорской же языковой версии. Принимая к публикации работы об этих литературно-языковых экспериментах и проектах, мы рассматривали их как дискуссионные и потому важные для разработки теоретических проблем такой существенной социолингвистической категории, как литературный язык. Следовательно, ни о какой пропаганде или поддержке языкового (и этнического) сепаратизма здесь не может быть и речи. Третий раздел отдан в основном русскому языку, а четвертый касается проблем древних языков — старославянского, церковнославянского, полабского и др. Завершает сборник раздел, посвященный истории славистики: здесь читатель найдет материал о Н. И. Грече, И. А. Бодуэне де Куртене, А. Л. Петрове, П. Аристэ, а также информацию из серии "Рукописи Дерпта (Тарту)" — о находках латино-славянского словаря Епифания Славинецкого в списке 1712 г. и рукописи труда П. Корбута "Немецкие заимствования в польском языке" (1890).

*

В работе по подготовке сборника к печати принимали участие молодые сотрудники кафедры славянской филологии Тартуского университета. Часть компьютерного набора книги сделала Анна Федорова. В наборе и правке отдельных статей помощь оказали Ирина Сорока, Ольга Шлыпкина, Майри Кырвел.

11–12. III. 1998. Тарту.



В. Если вы не меня, нечего думать
о том, чтобы быть в границах России.
Если вы не хотите, то вы можете,
принимая их без разговора, сделать это,
чтобы вернуться, не рассуждая и не имея тайн
- прощайте до конца. Извините!

Н. И. Толстой в письме от 2 апреля 1992 г. к А. Д. Дуличенко.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слово редактора.....	7
Мокиенко Валерий Михайлович (С.-Петербург/Greifswald) Значение труда Н.И. Толстого “Славянские древности” для исторической фразеологии славянских языков.....	13
I. ЯЗЫКИ МАЛЫЕ...	26
Дуличенко Александр Дмитриевич (Tartu) Языки малых этнических групп: статус, развитие, проблемы выживания.....	26
Рамач Юлиан (Нови Сад/Коцур) Деклинация заменовнікох <i>кельо/-лі, тельо/-лі</i> и числовнікох <i>вельо/-лі, даскельо/-лі</i> у литературним язичу югославянских Руснацох.....	37
Matičeto Milko (Ljubljana) Iz rezijanske leksike.....	49
Steenwijk Han (Chošebuz/Cottbus) Resianisch <i>jēru</i> ‘Priester’.....	63
Benacchio Rosanna (Padova) К вопросу об определенном артикле в славянских языках: резьянский говор.....	76
Cybulski Marek (Gdańsk) Fazowé czasniczi w kaszëbiznie.....	89
Popowska-Taborska Hanna (Warszawa) Słowińskie <i>krzywianie</i> jako jeszcze jeden przykład przeciwiństw binarnych.....	95

Marti Roland (Saarbrücken)	
Wuwiše dolnoserbskego pšawopisa w 20. stolěšu.....	99
<i>Приложение 1</i>	111
Ондра Лысогорский и литературный ляхский язык. К выходу сочинений поэта на ляхском и немецком языках. (А. Д. Д.).....	111
И. ЯЗЫКИ НОВЫЕ...	116
Nikčević Vojislav (Цетинье/Cetinje)	
Crnogorski jezik.....	116
Šustek Zbyšek (Bratislava)	
Otázka kodifikace spisovného moravského jazyka.....	128
Udvari István (Nyiregyháza)	
Языковое отражение русинско-венгерского сожительства (На материале романа Василия Петрова "Русины").....	143
Jabur Vasil (Prešov)	
System slovesných tvarov v rusinskom jazyku v porovnaní s ukrajinským.....	149
<i>Приложение 2</i>	157
О попытке кодификации русинского литературного языка в Закарпатье (с приложением образцов текста и факси- миле изданий). (А. Д. Д.).....	157
<i>Приложение 3</i>	165
Вичский и гал(ь)шанский: два новых славянских литературных микроязыка в Литве? (С образцами текстов). (А. Д. Д.).....	165
III. ЯЗЫКИ БОЛЬШИЕ...	174
Тошовић Бранко (Москва/Graz)	
Русско-сербохорватско-немецкие корреляции в категории рода.....	174

Кюльмоя Ирина Павловна (Tartu) О семантике видо-временных форм глаголов в полипредикативных конструкциях.....	186
Костанди Елизавета Ильмаровна (Tartu) Текстовая функция подлежащего.....	197
Туровская Светлана Николаевна (Tallinn) Высказывания о формировании намерения: функция связи.....	207
IV. ЯЗЫКИ ДРЕВНИЕ...	213
Кудрявцев Юрий Сергеевич (Tartu) Значение морфонологии старославянских глагольных классов для и.-е. реконструкции.....	213
Нечунаева Наталья Алексеевна (Tallinn) Корпус минейных текстов болгарского происхождения (XI–XIII вв.).....	236
Франчук Віра Юрєвна (Київ) Давньоруські і церковнослов'янські риси в мові київського літопису.....	247
Супрун Адам Евгеньевич (Мінск) К изучению древянополабской фразеологии (jajmät raj-baj <* jьmati gyby).....	254
Künnap Ago (Tartu) Возможный финно-угорский субстрат в славянских языках.....	261
V. ИЗ ИСТОРИИ СЛАВИСТИКИ	268
Смирнов Савватий Васильевич (Tartu) Николай Иванович Греч (1787–1867).....	268

Spinozzi Monai Liliana (Udine)	
Tra gli sloveni del Friuli sulla scia di J. Baudouin de Courtenay.....	276
Magocsi Paul Robert (Toronto)	
The icon-breaker: Aleksei L. Petrov as historian.....	289
Vaigla Eda (Tartu)	
Пауль Аристэ и собрание материалов 20–30 гг. по русским диалектам и фольклору в Литературном музее Эстонии.....	301
<i>Приложение 4</i>	310
Из серии “Рукописи Дерпта (Тарту)”.	
I. Тартуский список 1712 г. словаря Епифания Славинецкого “Dictionarium latinosclavonicum ex latino idiomate traductum...” (с факсимиле титульного листа). (А. Д. Д.).....	310
<i>Приложение 5</i>	314
Из серии “Рукописи Дерпта (Тарту)”.	
II. Находка рукописи Г. Корбута “Deutsche Lehnwörter im Polnischen...” (1890) (с факсимиле титульного листа). (А. Д. Д.).....	314

Валерий Михайлович Мокиенко
С.-Петербург/Greifswald

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА Н. И. ТОЛСТОГО “СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ” ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Этнолингвистика -- Н. И. Толстой: “Славянские древности. Этнолингвистический словарь” (1995-) — славянская историческая фразеология

Каждое поколение ученых рождает собственную плеяду “идееносцев” и “пассионариев”, определяющих основные направления науки в конкретное время. Для русистики и славистики XX в. ими были И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. М. Крушевский, Ф. Ф. Фортунатов, Н. С. Трубецкой, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов. Им на смену пришли Л. П. Якубинский, А. М. Селищев, Л. В. Щерба, затем — В. В. Виноградов и Б. А. Ларин. Никита Ильич Толстой в последнее время не только с поразительной быстротой вошел в плеяду этих авторитетнейших славистов второй половины XX в., но и стал в этой плеяде звездой первой величины. Не случайно в первом опубликованном за рубежом некрологе, написанном главой немецкой славистики Х. Роте, Никита Ильич был назван “первым среди равных” — *primus inter pares* в нашей науке (Rothe 1996).

Академик В. В. Виноградов, которого Н. И. Толстой считал своим учителем, сразу же выделил Никиту Ильича из “равных” московских талантов, сделав его — несмотря на необычную для такого ключевого поста молодость — ответственным секретарем главного лингвистического журнала страны — “Вопросов языкознания”. И при Никите Ильиче этот журнал (где он — уже в наше десятилетие — до самой смерти был и главным редактором) приобрел собственное лицо и достиг своего расцвета.

Среди многих научных направлений, унаследованных Никитой Ильичом от В. В. Виноградова, одно — лексикология и лексикография — стало, пожалуй, доминирующим. Не случайно после кандидатской диссертации, посвященной кратким и

полным прилагательным старославянского языка (Толстой 1954), он сосредоточивает свои силы на славянской лексике, которой посвящена и его докторская диссертация, и большое число публикаций (см. очерк о жизни и научной деятельности Н. И. Толстого и реферативное изложение его библиографии: Бушуй, Мокиенко 1983).

Дань своему учителю в этой области Н. И. Толстой, в частности, воздал и многотрудным делом издания самого объемистого тома сочинений В. В. Виноградова — серии его опубликованных прежде и рукописных очерков по истории лексики (Виноградов 1994). Именно на поприще лексикологии и лексикографии Н. И. Толстой находит идейный и духовный союз с другим “пассионарием” предшествующего лингвистического поколения — Б. А. Лариным. Ларинские идеи неоднократно комментируются и развиваются в трудах Н. И. Толстого, который часто и в публичных выступлениях, и в личных беседах (в том числе и с автором этой статьи) подчеркивал свою научную преемственную связь с Борисом Александровичем. Актом в некотором смысле “демонстративного” подчеркивания этой связи стала защита докторской диссертации Никитой Ильичом именно в Ленинградском университете, где его оппонентами были лингвисты, входящие в “ларинскую гвардию”, — Б. Л. Богородский и Л. С. Ковтун (Толстой 1972).

Рассмотрение истории отдельного славянского слова и фразеологизма во всех его семантических и формальных ипостасях, во всех параметрах, определяющих его системные связи, для Н. И. Толстого столь же обязательно, как и для В. В. Виноградова и Б. А. Ларина. Соответствующие труды Никиты Ильича, однако, демонстрируют и весьма существенное отличие, которое особенно ярко проявляется в исследовании им лексики и фразеологии, связанных со славянской духовной культурой. Начав со строго лингвистических, во многом лингвогеографических, очерков (что особо характерно для исследования им географической терминологии — см. Толстой 1969), Н. И. Толстой все более “экстралингвизирует” свои методы анализа, нередко доводя этнографические и мифологические комментарии к истории лексики и фразеологии до искомого, до конечной цели описания.

Такая динамика исследовательского метода Н. И. Толстого хорошо видна при сопоставлении его двух основополагающих работ по славянской фразеологии. Первая — “О реконструкции праславянской фразеологии” (Толстой 1973; Толстой 1995, 383–404), прежде чем стать его докладом на VII Международном съезде

славистов, была обсуждена им в Ленинграде в 1972 г., в Педагогическом ин-те им. А. И. Герцена. В докладе были сформулированы принципы собственно лингвистического подхода к истории и этимологии фразеологизмов, основой которого является опора на их детализированное лингвогеографическое описание, максимальный учет их вариативности, учет потенциальной опасности недооценки возможности их калькирования и семантических инноваций на большом ареале. Эти принципы стали весьма продуктивным инструментарием историко-этимологического анализа славянской фразеологии и получили развитие в трудах многих фразеологов (см. Мокиенко 1993). Спустя 15 лет — в докладе "Славянская фразеология *sub specie* этнографии" (Толстой 1988; 1995, 373–382) на Варшавском международном фразеологическом симпозиуме — Н. И. Толстой уже подходит к этой проблеме с другой, экстралингвистической стороны. Признавая принципиальную диалектичность движения от вербального текста (*resp.* обряда) к слову и от слова к вербальному тексту, Н. И. Толстой приводит убедительные доказательства того, как сами обрядовые действия и реалии порождаются словом и фразеологизмом.

Между двумя этими полюсами, собственно, и располагается пространство исторической фразеологии. При поисках внутренней формы фраземы в одних случаях исследователю целесообразнее идти от языковых фактов, и тогда проблема историко-этимологического анализа имеет последовательность "лингвистика — этнография" (Мокиенко 1973). В случаях, когда та или иная фразема этнографична по своей природе (например, ритуальные клише, заклятья, благожелательные или бранные формулы и т.п.), последовательность анализа может быть обратной. В классических очерках Н. И. Толстого по расшифровке конкретных славянских фразеологизмов мы встречаемся с разной пропорцией и последовательностью "лингвистического" и "этнографического" элементов. Так, анализ устойчивых сравнений *здрав као риба* и *пъян, как земля* (Толстой 1977; Толстой 1995, 403–411; 1972; 1995, 412–417) начинается им чисто лингвистично — с определения "типичности" семантической модели данных оборотов в ряду других славянских сравнений. Очерк же о выражении *солений болгарин* (Толстой 1991; Толстой 1995, 419–426) или расшифровка целой серии фразеологизмов, в состав которых входит слово *чур* — *кур* (*кой кур, не знать чурѹ, Чур меня!, нести чушь* и др. — Толстой 1994; Толстой 1995, 364–370), не только предваряются собственно этнографическими (*resp.* мифологиче-

скими) фактами, но и в основном сосредоточены на экстралингвистической их интерпретации.

Движение историко-этимологической методологии анализа славянской фразеологии от лингвистической к лингво-этнографической и этно-лингвистической у Н. И. Толстого во многом объясняется логикой работы над монументальным этнолингвистическим словарем "Славянские древности" (СД), долгие годы создававшегося Н. И. Толстым и С. М. Толстой с большой группой их учеников. Идея этого капитального труда, который А. Д. Дуличенко справедливо называет "не только научным подвигом, но и подвигом во имя живущего там славянства" (пораженного Чернобыльской катастрофой — Дуличенко 1996, 6), родилась в процессе полевой работы в Полесье, которая началась с 1974 г. Принципы этого словаря были сформулированы и стали предметом широкого обсуждения на IX Международном съезде славистов (Толстые 1983), а спустя год нашли лапидарную лексикографическую формулировку (Толстые 1984) и были проиллюстрированы конкретными образцами словарных статей (Этнолингвистический словарь... 1984). В процессе подготовки этого словаря и его составления произошла, собственно говоря, достаточно заметная "переквалификация" его составителей. Словарь этот начинался лингвистами, а был завершён этнологами и культурологами. При этом авторы, собственно, остались теми же — их "переквалификация" востребовалась самим Словарем, который "этно-" поставил на первое место, а "-лингвистический" — на второе.

Лингвистическое "прошлое" Н. И. Толстого и его сотрудников, естественно, стало "прошлым" лишь в кавычках. Точная методика анализа фактов, свойственная современной лингвистике, была здесь органически привита к мощному стволу этнологии, отчего и сами факты (многие из которых были уже собраны и описаны), и их совокупность получили новое осмысление и самостоятельную интерпретацию. Именно вливание молодого лингвистического вина в старые этнологические мехи делает пятитомный словарь "Славянские древности" словарем нового типа, отличным и от капитальных тезаурусов мифологических и обрядовых символов типа "Handbuch...", и от историко-археологических энциклопедий типа монументального "Słownik a starożytności słowiańskich", и от фольклористических справочников типа "Słownik a folkloru polskiego" под ред. акад. Ю. Кршижановского, и от монументальных собраний устной словесности типа "Słownik a ludowych stereotypów językowych"

под ред. Е. Бартминьского. Сопоставляя словарь под редакцией Н. И. Толстого с названными справочниками по славянской мифологии и культурологии, А. Ф. Журавлев справедливо подчеркивает, что он превосходит их и по объему, и по более глубокой разработке этнографического и мифологического материала, и по отражению ареального аспекта славянской этнографии (с опытом картографирования), и по документированности источников, и по попыткам выявить языковой субстрат духовной культуры (Журавлев 1996, 103–106). Отсюда и основная направленность этого словаря (по терминологии А. Ф. Журавлева — “описательно-диалектологическая”).

Сам Н. И. Толстой, внимательный к опыту предшественников, указал на основной, с его точки зрения, недостаток такого рода энциклопедий: “Существующие на Западе довольно многочисленные словари символов, как правило, носят *универсальный, энциклопедический характер* (курсив мой — В. М.), касаются одновременно различных традиций, разных эпох и разных сфер искусства, культуры и религии, и потому сведения, содержащиеся в них, обычно носят *самый обций, нередко отрывочный и даже поверхностный характер*” (Толстой 1988, 129; 1995, 242). Универсализм, глобализация, ведущая к отрывочности, мозаичности и ареальной разрозненности описываемых данных в словарях предшественников, заставила Н. И. Толстого поверить алгебру этнологии гармонией лингвистики. Словарь “Славянские древности” доказывает, что такая проверка весьма продуктивна. Пронизывающая Словарь *этнолингвистичность* налагает на большинство описанных в нем фактов особый отпечаток. Этот отпечаток во многом — след языка, который служит не только отражателем духовной культуры, но и сам достаточно часто генерирует ее.

Языковые факты, с одной стороны, иллюстрируют и подкрепляют собственно этнологическую информацию, содержащуюся в Словаре. С другой стороны, они сами постоянно “высвечиваются” общекультурологическим проектором, который на них направлен в полную силу. От такого “высвечивания” проясняются темные места славянской фразеологии, многие нюансы ее семантики становятся ощутимы во всем ее многоцветии.

Какого же рода этнолингвистический материал наиболее подвергается такому “высвечиванию”?

Пытаясь ответить на этот вопрос лишь в самом общем виде, можно выделить отдельные блоки этнологических фактов и единиц, которые наиболее активны в образовании славянской

фразеологии. Собственно говоря, — это типология “этно-” и “лингво-” взаимодействия на фразеологическом уровне. Назовем ее основные группы:

1. **Мифологемы в составе ФЕ:** болг. *вика до бела бога* ‘сильно кричит’, *немам си бела бога от тоя човек* ‘нет покоя от этого человека’, *да видя бела бога* ‘чтобы увидеть свет божий, свет дневной’ (I, 151: **БЕЛЫЙ БОГ**). Иногда в Словаре дается лишь краткая апелляция к мифологическому персонажу. Например, предложение о том, что Перуну был посвящен четверг (с приведением полабского обозначения четверга как “Перунова дня”) сопровождается отсылкой к обороту *после дождичка в четверг* (СД, I, 208). Действительно, этот фразеологизм прямо связан с языческим культом Перуна (см. Мокиенко 1986а, 135–141).

В эту группу, разумеется, активно входит и вся “низшая демонология”, получившая комплексное описание в работах Н. И. Толстого (Толстой 1995, 245–286). В первом томе Словаря (I, 164–166), например, описание внешности, функций и других “ипостасей” *беса* отражено в таких фразеологизмах, как *блудный бес* ‘о блуднике’, *лысый бес* ‘о лысом’, *пьяный бес* ‘о пьяном’, *храмой бес* ‘о хромом’; *бес водит* ‘кто-либо блуждает, сбившись с пути, по вине злой силы’, *бес в ребро* ‘о волоките, бабнике’, *бес вселился в кого* ‘о том, кто проявляет упорство, упрямство, нежелание считаться с кем-л. или с чем-л.’, *бес попутал кого* ‘кто-л. соблазнился, склонился к чему-л. дурному, предосудительному’, *бес сидит в ком* ‘кто-л. испытывает постоянное, непреодолимое желание сделать что-л. предосудительное, опасное’, *один бес* ‘все равно’, *ни лысого беса* ‘абсолютно никого, ничего’, *тешить беса* ‘совершать предосудительные, безнравственные поступки; грешить’, *и [все] бесы в воду* ‘об окончательной развязке чего-л.’, *и все бесы в воду. и пузыря вверх* ‘никаких следов, улик (не осталось)’, *мелким бесом рассыпаться перед кем* ‘подобострастно заискивать перед кем-л.’, *одержим бесом* ‘о бесноватом’ [ср. пол. *dostać (mieć) biesa* ‘быть одержимым бесом’ (СД, I, 166)] и др.

2. **Образы устойчивых сравнений:** *крутиться как белка [в колесе]*; *как векша* ‘о вертлявых, непоседливых детях’, *бел. спрытны як вавёрка* ‘ловкий как белка’ отражают проворство, верткость, неутомимость белки (СД, I, 150: **БЕЛКА**); стремительность движения подчеркивают обороты *бежать как бес*, словен. *bežal je kakor sam bes* (СД, I, 166); сравнение “плакать как бобр”, известное полякам, словакам, белорусам (пол. *plakać jak bóbr*; бел. *плача як бабёр, слёзы як у бабра* и др.), связано с поверьем,

что бобер плачет и оплакивает семью человека, который его поймал, до тех пор, пока эта семья вымрет (СД, I, 200). Нередко устойчивые сравнения приводятся в тесной "привязке" к обрядам и другим магическим действиям, напр., *"Наша доченька в дому — что оладушки в меду..."* в прибаутке, которой забавляют детей, восходит к формуле величания в родинно-крестинных обрядах (СД, I, 307).

3. **Образы и отражающие их лексемы как компоненты формул-благожеланий типа** *"Будь здорова, как вода!"*, *"Расти як верба!"* (СД, I, 188–190), которые были описаны С. М. и Н. И. Толстыми в специальных штудиях (см., напр., Толстой 1995, 409–410). В соответствующей статье СД (I, 191) специально подчеркивается, что при некоторых типах пожеланий — например, богатства и многодетства — часто используется формула сравнения: в.-слав. "богат как земля", "как осень", "как кожух шерстью"; болг. "Пусть деньги текут в дом, как река", "Пусть так же тяжелы будут монеты в кошельке, как камни в реке"; бел. "Сколько на болоте кочек, чтоб столько было сынов и дочек"; укр. *Скільки квіточок, щоб стільки було діточек* [*Скільки квіточок, щоб стільки було діточок*] и т.п.

4. **Образы и отражающие их лексемы как компоненты бранных формул:** пск. *змеиная вешка; векша* 'о надоедливом, пристающем человеке' отражает цепкость белки (СД, I, 150: БЕЛКА); вят. *борода лешачья*; оренбург. *пустая борода* 'о пустоголовом человеке' (СД, I, 230); *Бес (черт) с ним!*, болг. *Побеса го!*, серб. *Бијес те сколио!*, словен. *Ves ga vezmi!* (СД, I, 166). Наименование демонологического персонажа может замещаться в проклятиях и бранных формулах указанием на место его обитания. Ср. рус. *Иди ты в болото!*, находящее переключку в бел. *Ідзі ты у вір, у балота!*; *Ідзі ты к цмоку, к балотніку; Каб цябе вынесла ў балота!* и др. (СД, I, 228) [Ср. специально посвященный этому аспекту тельмографической терминологии очерк Н. И. Толстого (1989)]. К этой группе относятся и формулы древних проклятий типа *Чтоб тебя Перун убил!*, связанных с языческими богами (СД, I, 208). Особую роль они играют в так называемой **Божбе** — формуле клятвы, апеллирующей к Богу или другим персонажам божественного статуса. Автор соответствующей словарной статьи О. А. Терновская приводит такого рода формулы-фразеологизмы: *клянусь Богом (Богами)!*; *видит Бог*; *как перед Богом*; *Бог свидетель*; *вот тебе Бог порукою*; *вот тебе Господь*; *убей меня Бог*; *пусть меня Господь покарает* и их стяженные формы типа *ей-Богу* (СД, I, 219). Для истории

фразеологии имеют значение и те формулы божбы, которые испытали влияние самого ритуала клятвы — напр., *на то тебе истинный крест; вот тебе крест*, связанные с обычаем клясться на кресте (СД, I, 219).

Кстати, составители Словаря не только дают термину **Брань** весьма исчерпывающее и диалектическое определение, но и предлагают одну из наиболее точных классификаций структурных типов славянской **Брани** (автор словарной статьи О. В. Санникова — СД, I, 250–253) [Ср. попытку описания и классификации русской бранной лексики в специальном словаре (Мокиенко 1995)].

5. **Лексемы-символы, проясняющие смысл внутренней формы ФЕ:** *белый свет* — наш. “этот” свет, противопоставленный “тому”, не белому свету, как день — ночи. *Белый свет*, как и *белый день*, мотивирован признаком “ясный, светлый” (СД I, 152: **БЕЛЫЙ**).

6. **Обряды и их символика как ключ к пониманию истинного внутреннего смысла ФЕ:** так, комплексная обрядовая символика блинов у русских и других восточных славян, описанная в СД (I, 193–196) позволяет усомниться в “бытовой, кулинарной” расшифровке известной русской пословицы *Первый блин комом* и связать ее также с поминальной функцией и символикой блинов (Мокиенко 1994). Ср. также функцию *первого блина* в свадебном обряде, когда невеста, приехавшая в дом жениха с блинами, старается вырвать у жениха *первый блин*, чтобы иметь первенство над мужем (СД, I, 195). Свадебная обрядовость блина, кстати, поясняет и шутовое русское выражение *ехать к теще на блины*: поездка к теще *на блины* (*блинно, хлебины, горячие*) практиковалась в заключительной части свадьбы, где и было распространено угощение зятя блинами (СД, I, 195).

7. **Суеверные представления как ключ к раскрытию первичного смысла фраземы:** народн. шутол. *посадить блошку на ушко кому* “свести кого-л. с ума” связано с представлением о том, что блоха (как и другие насекомые: муха, овод и т.д., в которых могут перевоплощаться злые духи), забравшись в раскрытое ухо, рот или нос, вызывает сумасшествие. Это представление отражено поговорками и других славянских языков: н.-луж. *ten ta blechy*, серб. *бити пун бува, бити пун шарених буха, бити са бухама* (СД, I, 197). Ср. *мухи в голове, тараканы в голове, с бзыком, под мухой* и т.п. (Виноградов 1968; Терновская 1984; Мокиенко 1986а).

8. Магические действия как мотивация фразеологизмов.

Рус. *разводить на бобах* и народн. *кинь бобами, будет ли за нами*, имеющие переключку в других славянских языках (с.-х. *као да је у боб враћао* 'как на бобах ворожил', *бацати грах* 'ворожить с помощью фасоли', болг. *да ти гледам на боб* 'раскинем бобами', *на боб му баяти* 'гадать на бобах'), объясняются в Словаре типичными способами гаданий: захватыванием бобов в горсть; рассыпанием кучками с дальнейшим пересчитыванием; раскладыванием на столе по определенной системе; подбрасыванием над столом и т.п. (СД, I, 201–202).оборот же *наестся бобов (гороха)* 'забеременеть' (рус., укр. карпат., пол.) связан с различными магическими обрядами, основанными на симпатической связи бобов и гороха с плодovitостью (СД, I, 201).

9. Факты, демонстрирующие креативную силу языка, порождающую пословицы и поговорки. Так, иронический оборот *убить бобра* 'обмануться в расчетах, предпочтя худшее' в Словаре верно трактуется как осколок целого ряда пословиц, основанных на рифме *бобр – добр*: др.-рус. *Хто добръ, тому и бобр, а хто не добръ, тому и выдры не будет*; *Убить бобра — не видать добра*; бел. *Хто заб'е бобра, таму не будзе дабра*; пол. *Jak masz bohra, to sprawa dobra*. При доминирующей роли рифмы в образовании этого оборота автор словарной статьи Бобр А. В. Гура верно подчеркивает и влияние экстралингвистических факторов: полесские запреты, связанные с уничтожением бобров, брачно-эротические ассоциации шуточного порядка (напр., для бел. выражения *злавіць бобра* в свадебной песне) и т.п. (СД, I, 200). Специальный историко-этимологический анализ выражения *убить бобра* и его восточнославянских и западнославянских параллелей типа укр. *вовка вбити* 'упасть на землю, споткнуться', основанный на методике структурно-семантического моделирования (Мокиенко 1979; Ivčenko 1993; Івченко 1996, 104–105), убедительно показывает объективность такой расшифровки.

Предлагаемая в статье типология мифологем (resp. "этнологем"), позволяющих, благодаря их комментированию в словаре "Славянские древности", давать историко-этимологическую расшифровку славянской фразеологии, разумеется, может быть уточнена и расширена. За рамками статьи осталось и немало аспектов описания мифологем в этом словаре, демонстрирующих новаторство и методологическую отточенность его принципов. Об одном — неповторимом — достоинстве этого монументального справочника славянской духовной культуры все-таки

нельзя не упомянуть особо. Это — изящный и ясный стиль изложения огромного фактического материала, отличающийся от тягеловесной фактографии многих “гроссбухов” подобного лексикографического жанра. Этот стиль — рука самого Н. И. Толстого. Сколь серьезна и фактографична ни была бы материя словарной статьи, автором или редактором которой в этом Словаре он является, в ней всегда читатель обнаружит некоторую “живинку” и “лукавинку”, которая во всех книгах, докладах и поступках Никиты Ильича обнаруживала Моцарта, а не Сальери нашей славистики.

Вот типичная для Никиты Ильича концовка “с лукавинкой”, концовка словарной статьи Водка (СД, I, 392–394), где описываются и наименования этого напитка в Славии, и его ритуальное значение в семейных, погребальных, календарных и окказиональных обрядах, и его целебное и прагматическое (в “магарыче”) употребление. И этот энциклопедический, с опорой на обширную специальную литературу очерк завершается коротеньким абзацем: “Пили водку с тоски и от радости и просто без всяких причин”.

В этом заключении есть что-то от пушкинской “Метели”, когда в разгар драматических событий писатель вдруг “выключает” читателя от им же нагнетенного драматизма лукавой ремаркой: “Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается”. Читатель ждет чего-либо столь же драматического, как и при чтении словарной статьи о славянской водке, которую пили “с тоски и от радости”. Но Пушкин потолстовски лукаво отвечает: “А ничего”. То есть — “просто без всяких причин”.

Эту “лукавинку” помнят все, кому посчастливилось побывать с Никитой Ильичом в экспедициях в Полесье и слышать его доклады и лекции. Членам ленинградского фразеологического семинара также повезло, ибо мы имели удовольствие обсуждать его доклады и о вездесущем праславянском *Чуре*, и о распространившейся на всю Славию общеславянской **ger'e*, и о методах исследования славянской фразеологии *sub specie* этнографии.

Искомым Никиты Ильича и его учеников практически всегда оставалась славянская духовная культура. Он задолго до того, как на Россию обрушился девятый вал культуры материальной, чреватый бездуховностью и бездушием, понял опасность возвеличения плоти над Духом. Как человек истинно религиозный, он знал с детства, что “Плоть немощна, а Дух — силен”. И теперь, когда немощь унесла в неведомое плоть нашего

Учителя. Дух Его остается с нами. Дух, воплотившийся и в основное дело его жизни — монументальный пятитомный Словарь славянской духовной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Бушуй. Мокиенко 1983 — Никита Ильич Толстой. Библиографический указатель по славянскому и общему языкознанию. Предисловие В. М. Мокиенко. Под ред. А. М. Бушуй и В. М. Мокиенко. — Самарканд, 1983. — XVIII+111 с.
- Виноградов 1968 — Виноградов В. В. О серии выражений *муху зашибить*, *муху задавить* и под. — Русская речь, 1968, № 1, 82–90.
- Виноградов 1994 — Виноградов В. В. История слов. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М.: Толк, 1994. — 1138 с.
- Дуличенко 1996 — Дуличенко А. Д. Памяти Никиты Ильича Толстого. — Русская газета. Тарту, 1996, 12.10, с. 6.
- Журавлев 1996 — Журавлев А. Ф. Рец. на кн.: Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. — Славяноведение, 1996, № 5, 103–106.
- Івченко 1996 — Івченко А. О. Українська народна фразеологія: ареали, етимологія. — Харків: Око, 1996. — 158 с.
- Мокиенко 1973 — Мокиенко В. М. Историческая фразеология: этнография или лингвистика? — Вопросы языкознания, 1973, № 2, 21–34.
- Мокиенко 1979 — Мокиенко В. М. *Убить бобра*. — Русская речь, 1979, № 5, 64–67.
- Мокиенко 1986 — Мокиенко В. М. Образы русской речи. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. — 278 с.
- Мокиенко 1986а — Мокиенко В. М. *С бзиком*. — Русская речь, 1986, № 3, 135–141.
- Мокиенко 1993 — Мокиенко В. М. Принципы этимологического анализа фразеологии. — *Philologia slavica*. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М.: Наука, 1993, 346–353.
- Мокиенко 1994 — Мокиенко В. М. *Первый блин комом*. Почему мы так говорим? — ЯЛИК (Информационный бюллетень Санкт-Петербургского университета), 1994, № 1, 8.
- Мокиенко 1995 — Мокиенко В. М. Словарь русской бранной лексики (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы с историко-этимологическими комментариями). АА – ЯЯ. — Berlin: Dieter LENZ Verlag, 1995. — XXV+151 с.

- СД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В пяти томах. Т. I (А–Г). Отв. ред. Н. И. Толстой. — М.: Международные отношения, 1995. — 578 с.
- Терновская 1984 — Терновская О. А. Ведовство у славян. II. Бзык (мухи в голове). — Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984, 118–130.
- Толстой 1954 — Толстой Н. И. Краткие и полные прилагательные в старославянском языке. АКД. — М., 1954. — 12 с.
- Толстой 1969 — Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. — М., 1969. — 262 с.
- Толстой 1972 — Толстой Н. И. Опыт семантического анализа славянской географической терминологии. АДД. — Л., 1972. — 27 с.
- Толстой 1972а — Толстой Н. И. Rutheno-serbica. — Беларускае і славянскае мовазнаўства: Да 75-годдзя акад. АН БССР К. К. Крашчы. Мінск, 1972, 270–274.
- Толстой 1973 — Толстой Н. И. О реконструкции праславянской фразеологии. — Славянское языкознание. (VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации). М.: Наука, 1973, 272–293.
- Толстой 1977 — Толстой Н. И. Заметки по славянской фразеологии: *zdrav kao riba*. — Zbornik radova povodom 70. godišnjice života akademika J. Vukovića (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja. Knj. 34. Odjeljenje društvenih nauka. Knj. 6). Sarajevo, 1977, 397–405.
- Толстой 1988 — Толстой Н. И. Славянская фразеология sub specie этнографии. — Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej IV. Red. M. Basaj i D. Rytel. Wrocław etc., 1988, 15–25.
- Толстой 1988а — Толстой Н. И. Этнографический комментарий к древним славяно-русским текстам: I. *сеть (мрежа)*. — Литература и искусство в системе культуры. М., 1988, 122–129.
- Толстой 1989 — Толстой Н. И. Из Этнолингвистического словаря славянских древностей. *Болото*. — Русская речь, 1989, № 5, 127–128.
- Толстой 1991 — Толстой Н. И. *Соленый болгарин*. — Studia slavica. Языкознание. Литературоведение. История. История науки. С. Б. Бернштейну к 80-летию. М., 1991, 100–108.
- Толстой 1994 — Толстой Н. И. *Чур и чушь*. — International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1985, vol. XXXI–XXXII, 431–437.
- Толстой 1995 — Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М.: Индрик, 1995. — 509 с.

- Толстые 1983 — Толстая С. М., Толстой Н. И. О задачах этнолингвистического изучения Полесья. — Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. Отв. ред. Н. И. Толстой. М., 1983. 3–21.
- Толстые 1984 — Толстая С. М., Толстой Н. И. Теоретические проблемы реконструкции древнейшей славянской духовной культуры. Ответы на вопросы. — Советская этнография. 1984. № 4. 74–79.
- Этнолингвистический словарь... 1984 — Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. — М.: АН СССР, 1984. — 171 с.
- Ivčenko 1993 — Ivčenko A. A. Russisch *убить бобра*. — Zeitschrift für Slawistik, Bd. 38, 1993, H. 3, 391–393.
- Rothe 1996 — Rothe H. Slawisches Altertum. Nikita I. Tolstoj gestorben. — Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1996. 4.07.

1. ЯЗЫКИ МАЛЫЕ...

Александр Дмитриевич Дуличенко
Tartu

ЯЗЫКИ МАЛЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП: СТАТУС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ

Языки малых этнических групп (resp. микроязыки) — островные литературные микроязыки — периферийные литературные микроязыки — другие типы — генетический статус — контактность и билингвизм — функциональный статус — его отражение на формировании норм — функциональные матрицы островных и периферийных литературных микроязыков — спутниковая модель выживания

0. Под малыми этническими группами предлагается понимать небольшие по численности островные, а также региональные, в большей или меньшей степени обособленные, этно-культурно-языковые сообщества. Обособленность предполагает наличие сознания этнической и культурно-языковой специфичности, что, однако, не обязательно означает разрыв с основным, исходным этно-языковым корнем.

1. Островные ситуации возникают вследствие переселения части того или иного этноса по тем или иным причинам - социально-политическим, военным, экономическом и проч. — в регионы проживания иного этноса (resp. иных этносов) с иным языком (resp. с иными языками). Оторванные от исходного этно-языкового корня, такие острова постоянно ощущают языковой дефицит, особенно что касается его использования в области культуры, образования, науки. С одной стороны, их представители должны овладеть языком окружающего этноса (что в действительности и наблюдается), с другой — для них важно сохранить язык своих предков. Говоря о сохранении языка предков в указанной ситуации, следует напомнить, что одной

его бытовой, устной формы, вероятно, недостаточно. Здесь возникает несколько путей решения вопроса. Если островной диалект (геср. говор) по своим лингвистическим качествам близок к диалектной базе матичного общелитературного языка, то важнейшей задачей становится внедрение этого литературного языка в островную ситуацию. Конечно, дистантность между основным ареалом распространения общелитературного языка и окруженным иноэтнической и иноязыковой средой островным диалектом препятствует благоприятному внедрению здесь общелитературного языка, однако практика показывает, что в целом это возможно. Обратимся к примеру словаков Воеводины, которые оказались там в островном положении, как и югославские русины, с XVIII в. Их диалект по происхождению относится к среднесловацкому (с небольшим наличием также западнословацких черт), на котором зиждется и общелитературный словацкий язык Словакии.

Таким образом, для восприятия и принятия общелитературного языка у воеводинских словаков меньше внутренних, лингвистических, препятствий, чем если бы они оказались носителями, скажем, восточнословацкого или западнословацкого диалекта. Общелитературный словацкий язык здесь в целом находит благоприятную почву для своего внедрения. Именно поэтому воеводинские словаки по существу не ставили вопроса о создании собственного, так сказать, "воеводинско-словацкого", литературного языка. Вероятно, то же самое и с переселенческой группой болгар в Югославии. Можно было бы примеры такого рода продолжить.

Однако островные ситуации показывают и иной путь решения рассматриваемого вопроса. В случае, если происхождение островного диалекта или говора иное, нежели диалектная база общелитературного языка этноса-корня, то существующая между ними дистанция становится препятствием для восприятия и принятия общелитературного языка как собственного. К тому же не следует забывать и о том, что, функционируя длительное время в иноэтнической и иноязыковой среде, островной диалект все дальше отходит от своего "матичного" состояния и тем самым формирует черты, которые противопоставляют его чертам общелитературного языка. К этому прибавляется также объективный фактор — отсутствие прямых связей, с одной стороны, между этносом-корнем и его языком, с другой — между островным этносом и его диалектом. Прежде всего в силу таких факторов и возникает в островной ситуации мысль о создании

собственного, хотя и не столь функционально мощного, литературного языка. В письменности и литературном языке здесь видят не только средство поддержания и развития собственной культуры и образования, но и серьезный фактор сохранения родной речи, речи предков. Тем не менее и этого еще недостаточно, чтобы создать местный литературный язык, или, по нашей терминологии, литературный микроязык. Важно, чтобы островное сообщество было способным именно на такое решение вопроса, т.е. чтобы нашлись инициаторы развития культуры и образования на родном диалекте, чтобы идея собственного литературного языка была поддержана большинством сообщества, чтобы социально-политические условия не становились препятствием для реализации идеи. В каждой конкретной ситуации значение могут иметь и иные факторы.

Таким образом, сказанное относительно островной ситуации, в которой по тем или иным историческим причинам оказались славяне, в конечном счете приводило к двум исходам — либо островной диалект оставался средством бытового и семейного общения, а роль языка культуры и образования выполняет общелитературный язык, т.е. литературный язык этноса-корня (как в случае, например, с воеводинскими словаками) или литературный язык окружающего этноса, либо островной диалект или говор становился базой для создания местного литературного языка, как бы языка-спутника, если иметь в виду его отношение к общелитературному; собственно говоря, таковым он фактически оказывался и по отношению к литературному языку окружающего его этноса. Возникает, таким образом, **спутниковая модель** литературно-языкового развития: так или иначе используемый общелитературный язык этноса-корня и литературный язык окружающего этноса параллельно с собственным литературным языком (resp. литературным микроязыком).

Имея в виду славянские островные этнические группы, выделим их языки, имеющие литературно-письменное оформление:

1) *югославо-русинский*, распространенный в Югославии (Сербии) и Хорватии (первые переселенцы появляются в Бачке в 40-е гг. XVIII в., постепенно продвигаясь в Срем и Славонию); в настоящее время русин Сербии и Хорватии насчитывается примерно 25 тысяч человек; письменность с XIX в., кодифицированный литературный язык с начала XX в.;

2) *градищанско-хорватский* (resp. *бургенландско-хорватский*), с XVI в. распространенный в Австрии (ныне земля Бургенланд, или по-градищанско-хорватски *Gradišće/Градище*); по неточным данным, градищанских хорватов насчитывается около 45 тысяч человек; письменность и литературный язык с XVI в.;

3) *молизско-славянский*, бытующий в Италии (средне-южная часть, область Молизе) с XVI в.; численность молизских славян, вероятно, значительно меньше 4 тысяч человек; письменность и литературный язык с XIX в.;

4) *банатско-болгарский*, располагающийся в исторической области Банат, разделенной между Румынией и Югославией; банатских болгар-католиков примерно 15 тысяч; письменность на латинской основе и литературный язык с XIX в.;

5) *резьянский*, или *резьянско-словенский*, находящийся в северо-восточной части Италии, не может считаться чисто островным, так как одной своей частью он примыкает в словенскому языковому ареалу; однако государственная граница между Италией и Словенией создает фактическую линию разделения - по этой причине мы включаем резьянско-словенский в категорию островных; резьян-словенцев, по приблизительным подсчетам, либо около 2 тысяч, либо около 3 тысяч человек; письменность и попытки создания собственного литературного языка с XVIII в.

Генетически все они восходят к какому-то языку-корню:

югославо-русинский ← восточно-западнославянского происхождения (также другие точки зрения: закарпатскоукраинского или восточнословацкого происхождения)

градищанско-хорватский ← хорватский в его чакавской разновидности

молизско-славянский ← хорватский в икавско-штокавской разновидности

банатско-болгарский ← болгарский в его северной и северо-западной разновидности

резьянско-словенский ← словенский в его приморской разновидности.

Если исключить спорный генетический статус югославо-русинского, то окажется, что оставшиеся литературные микроязыки создавались на иных диалектных основах, нежели их матичные общелитературные языки: общехорватский базируется на (и)екавской (а не икавской) штокавской основе; общebolгарский — на северо-восточной, общесловенский — на доленьской (с привлечением также гореньской) диалектной основе.

На специфичность литературного микроязыка, как мы уже заметили, влияет и его иноэтническое и иноязыковое окружение, заключающееся в постоянно происходящих процессах интерференции, в нашем случае — в воздействии окружающего языка на островной в условиях двуязычия. Воздействию подвергается не только лексическая сторона литературного микроязыка, но также и морфологическая, синтаксическая и в определенной степени — фонетическая. Контактность островных литературных микроязыков выглядит следующим образом:

Таблица 1

языки	серб./хорв	словен	нем.	венг.	румын	итал.	итал.-фриул
юг -русин	+			(+)			
град -хорв			+	(+)			
мол -слав						+	
бан -болг.	+			(+)	+		
резьян		(+)					+

Примечание: контакты югославо-русинского с венгерским, ныне слабые, лишь в связи с соседством проживания с носителями венгерского языка, например, в Коцуре и некоторых других местах; в случае с градищанско-хорватским венгерское влияние носит периферийный характер (так же и в случае с банатско-болгарским); на резьянский большее воздействие оказывают итальянский и фриульский (фурланский), нежели словенский.

Из таблицы видно, что лишь молизско-славянский оказывается в однородном языковом (и этническом) окружении, в то время как остальные так или иначе связываются с двумя и более языками. Данные таблицы позволяют говорить о наличии форм дву- и более язычия среди населения этнических островов, а в отношении литературных микроязыков — о следах в них иных славянских и неславянских влияний.

Модернизация словаря в этих языках проходит как через фильтр соседних, окружающих, языков (см. вышеприведенную таблицу), так и через фильтр матичных литературных языков (в банатско-болгарском — фильтр общebolгарского литературного языка, в градищанско-хорватском — общехорватского и т.д.).

II. Для так наз. **периферийных ситуаций** могут действовать в целом те же факторы, что и для островных. Однако здесь все же существенным отличием является то, что периферийные литературно-языковые образования остаются в пределах матичного ареала, т.е. в рамках языка-корня. Импульсы, идущие от общелитературного языка, здесь ощущаются постоянно и непре-

рывно. И хотя требуются определенные усилия для преодоления дистанции между общелитературным языком и периферийным диалектом, эта дистанция многолетней учебой в школе с большим или меньшим успехом преодолевается, хотя при этом сам вопрос о местной языковой отдельности до конца не снимается. Ведь общелитературный язык неравномерно "покрывает" соответствующее этно-языковое пространство, т.е. где-то он "падает на благодатную почву" (его хорошо воспринимают и принимают), а где-то, особенно на периферии, он в той или иной мере отчужден от носителей. Последнее как раз и способствует поискам местного средства языкового выражения в виде письменности и литературного языка. К литературным языкам этого плана относятся:

- 1) *прекмурско-словенский*, распространенный в примыкающих к Венгрии районах Словении; письменность с XVI в.;
- 2) *чакавский* в Хорватии; письменность с XII–XIII вв.;
- 3) *кайкавский* в Хорватии; письменность с XVI в.;
- 4) *восточнословацкий* в Словакии; письменность с XVIII в.;
- 5) *ляшский* в Силезии (Чехия и Польша); письменность с XX в.; традиция ныне прервана;
- 6) *западнополесский* в Белоруссии (и на Украине); письменность с XIX в.;

Карпаторусинский (7) в Закарпатской Украине, в Восточной Словакии, в Польше, Венгрии, а также в США и Канаде, с одной стороны, можно квалифицировать как периферийный, с другой — частью островной, например, в Венгрии, а также в США и Канаде; письменность с XIX в. *Кашубский* (8), в силу спорности его генетического статуса, может быть квалифицирован как периферийный по отношению к польскому языку и как самостоятельный язык; письменность с XV в.

Генетический статус ряда периферийных литературных языков отчетливо "читается" в самих их названиях, т.е. в лингвониме. срав.: прекмурско-словенский ← словенский, восточнословацкий ← словацкий, также чакавский и кайкавский ← хорватский; карпаторусинский ← украинский; западнополесский и ляшский синтезируют в себе по две местные языковые стихии — соответственно белорусско-украинскую и чешско-польскую; о кашубском было сказано выше. Что касается контактности, то часть литературных языков этой группы получает естественные импульсы от соседних, генетически родственных диалектов и от общелитературного языка (прекмурско-словенский, чакавский и кайкавский, восточ-

нословацкий); другая часть связывается по крайней мере с двумя языковыми стихиями, срав. западнополесский, который питают белорусские и украинские пограничные говоры, и ляшский, обращенный в переходному, между чешским и польским, говору; карпаторусинский связывается с украинским, далее — со словацким и польским, венгерским и в экспортированном виде — с английским (США и Канада).

III. Для поддержания и развития литературных языков малых этнических групп или региональных (resp. периферийных) сообществ необходимы письменность и их письменное употребление в тех или иных сферах жизни. Объективно ситуация складывается так, что островные литературные микроязыки как бы копируют пути функционального развития крупных литературных языков: начинаясь использоваться в области литературно-художественного творчества (сначала в поэзии, а потом и в прозе), они постепенно внедряются в публицистику (газеты, журналы, радио, телевидение), затем в образование, церковь, реже — в администрацию, науку. Чем шире функциональный спектр таких языков, тем больше гарантий для их выживания. Особенно важно использование малого литературного языка в публицистике, в образовании и в церкви. Мы составили **функциональную матрицу островных славянских литературных микроязыков**, которая выглядит таким образом. — см. таблицу 2 на с. 33.

Безусловным “лидером” среди островных славянских литературных микроязыков является югославо-русинский, который так или иначе заполняет все клетки функциональной матрицы. Правда, последние годы, известные войной в Югославии, сильно пошатнули его функциональный статус, однако завоеванные этим микроязыком ранее позиции все же тем или иным образом пока еще удерживаются. Югославо-русинский должен быть определен как **функционально сильный литературный микроязык**, в то время как молизско-славянский, резьянский и банатско-болгарский — как **функционально слабые литературные микроязыки**; градищанско-хорватский занимает промежуточное положение.

Развитый функциональный спектр очень важен как для самоутверждения этнической группы (экстралингвистический фактор), так и для выработки более или менее стабильных норм литературного языка (внутрилингвистический фактор). Эти показатели отчетливо проявляются в югославо-русинской ситуации, в несколько меньшей мере в градищанско-хорватской

Таблица 2

			Юг - русин.	Град - хорват.	Молиз - слав.	Резьян.	Банат - болг.
Художественная литература	лирика		+	+	+	+	+
	рассказ		+	+	(+)	(+)	(+)
	роман		+	+		-	-
Средства массовой информации	периодическая издания	газеты	-	+	-	-	-
		журналы	-	+	+	-	+
		ежегодники	+	+	+	-	-
	смешан. изд.	+	- ?	+	+	-	
радио		+	+	-	+	-	
ТВ		+	+	-	-	-	
Образование	школы	основная	+	-	-	-	-
		средняя	+	-	-	-	-
		гимназия	+	-	-	-	-
	классы		+	+	-	-	-
	все предметы		+	-	-	-	-
отдельные предметы		+	+	(+)	(+)	-	
унив-тет		+	(+)	-	-	-	
Администрация			+	-	-	-	-
Наука			+	(+)	-	-	-
Религиозная жизнь	церковь		+	+		+	+
	перевод Библии		+	+	-	(+)	(+)
Собственные учреждения			-	+	+		+
Театр			+	+	(+)	(+)	
Топограф. надписи			+	+	+	(+)	
Личная переписка			+	+	+	+	+

Примечания: 1) взятое в круглые скобки (+) и (-) означает, что данная среда заполняется слабо, спорадически, неполно; 2) пустые клетки означают отсутствие у автора данных.

и слабее — в остальных. Показательно, что практически все островные литературные микроязыки имеют кодификации в виде нормативных грамматик и словарей, а это уже обязывает к постоянному контролю за функционированием литературного микроязыка и соблюдением его грамматических и прочих норм.

Что касается так наз. периферийных, то их характеризует ограниченный функциональный спектр, поскольку большинство функций в этих ситуациях выполняет общелитературный язык.

Посмотрим, какова функциональная матрица периферийных литературных языков.

Таблица 3

			Псл	Всл	Кай	Ча	Ляш	ЗПо	Каш	КРу
Художественная литература	лирика		+	+	+	+	+	+	+	+
	рассказ		(+)	(+)	+	+	+	+	+	+
	роман		-	-	-	-	+	-	+	+
Средства массовой информации	периодическая издания	газеты		-	-	-	-	+	+	+
		журналы		-	-	-	-	-	+	+
		ежегодники		-	-	(+)	-	-	-	-
	смешан изд.	+	+	+	+	-	-	+	-	
радио		-	-	(+)	(+)	-	-	+	+	
ТВ		-	-	-?	-?	-	-	+	(+)	
Образование	школы	основная		-	-	-	-	-	+	
		средняя		-	-	-	-	-	-	
	классы	гимназия		-	-	-	-	-	-	-
		все		-	-	-	-	-	+	+
		предметы		-	-	-	-	-	+	?
отдельные		-	-	-	-	-	-	+	+	
предметы		(+)	-	-	-	-	-	+	+	
унив-тет				-	-	-	-	+	(+)	
Админ-ия			-	-	-	-	-	-	-	
Наука			-	-	-	-	-	(+)	(+)	
Религиозная жизнь	церковь		+	+			-	-	+	+
	перевод Библии		(+)	(+)				-	+	(+)
Собствен. учрежден.			+	+	+	+	-	+	+	+
Театр					+	+	-		+	+
Топограф надписи					-	-	-	-	+	
Личная переписка			+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание: рассматривается только карпаторусинский Восточной Словакии: Псл — прекмурско-словенский, Всл — восточнословацкий. Кай — кайкавский. Ча — чакавский, Ляш — ляшский, ЗПо — западнополесский. Каш — кашубский, КРу — карпаторусинский.

Первые пять литературных языков (кроме прекмурско-словенского) ограничиваются использованием их в основном в области литературно-художественного творчества (не случайно их называют также "поэтическими" языками), в личной переписке, а также в любительском театре. Хотя и здесь в той или иной мере проходят унификационные процессы, сглаживающие

фонетические и проч. различия, все же их статус таков, что они остаются средством духовного выражения наряду с общелитературным языком, при этом последний, естественно, лидирует. Необходимости в кодификации для таких литературных языков по существу нет, но исторически, когда отсутствовал единый общенациональный литературный язык, они могли появляться (например, чакавский и кайкавский в ранние периоды их истории). Прекмурско-словенский использовался и используется шире, например, также в церкви.

Западнополесским сделан "прорыв" в области публицистики, что существенно меняет дело, так как позволяет в перспективе видеть унификацию норм. Более всего к островным литературным микроязыкам приближаются кашубский и карпаторусинский: внедрение в публицистику, образование и церковь постепенно выводит их нормы из многовариантного состояния в направлении унификации и стабилизации.

Таким образом, резкой границы между рассматриваемыми категориями литературных языков не существует: на одном полюсе находятся островные со скромным и достаточно развитым функциональным спектром и с более или менее стабильными нормами, на другом — периферийные, так наз. "поэтические", для которых наличие единых норм не обязательно: от них постепенно отдаляются, культивируясь в различных сферах жизни, западнополесский, вероятно, прекмурско-словенский, и особенно — карпаторусинский и кашубский. Что касается объявленных в начале 90-х гг., т.е. несколько лет тому назад, вичского (на польской диалектной основе) и галшанского (на белорусской диалектной основе) в Литве, то их статус, в том числе и функциональный, остается пока проблематичным, а перспективы неясными.

IV. Если исходить из права на различие и права на свободу языкового выражения, то малые этнические группы и их языки должны сохраняться и развиваться не только усилиями их носителей, но и с помощью носителей генетически и географически близких к ним этносов и языков. Речь идет о так наз. **спутниковой модели выживания:** литературный микроязык в постоянном "содружестве" с соседними, родственными или неродственными, языками, а в случае с островными — еще и с дистантно расположенными матичными языками. При этом крупные контактные и дистантные литературные языки должны рассматриваться как источник лексического и иного обогащения и как ориентиры в развитии литературного микроязыка вообще.

Непременным условием выживания таких языков является также их активное повсед-невное использование в быту, в семье, т.е. в важнейших сферах естественного приложения любого языка. Важным поддерживающим фактором выступает внедрение литературного микроязыка в те сферы, где это рационально. Микроязык без литературно-письменной формы более подвержен процессам ассимиляции и исчезновения. В правовых актах должна быть введена мера ответственности за судьбу малых этнических групп и их языков, а общество должно вырабатывать сознание лояльности по отношению к малым. Конечной целью такой политики должно стать формирование сознания того, что все народы и все языки не могут быть одновременно большими и одновременно малыми. Диалектическое единство большого и малого — это единственно разумный путь, по которому может двигаться человечество.

Юлиян Рамач
Нови Сад/Коцур

ДЕКЛИНАЦИЯ ЗАМЕНОВНИКОХ КЕЛЬО/-ЛІ, ТЕЛЬО/-ЛІ И ЧИСЛОВНИКОХ ВЕЛЬО/-ЛІ, ДАСКЕЛЬО/-ЛІ У ЛИТЕРАТУРНИМ ЯЗЫКУ ЮГОСЛАВЯНСКИХ РУСНАЦОХ

Литературный язык югославских русин — морфология — местоимение и числительное — склонение — дублетные окончания

1.1. Заменовніки *кельо/-лі, тельо/-лі* знача неопределённое великое число, а досе часто ше хасную у виреченьох (дакеди у викричних) з хторима ше виражує чудоване пре великое количество единкох, матерії и под. на хтори ше одноша: *Уж не знам од келіх сом то чул. — Телі пенєжи потрошиц!* Розграничиц тоги заменовніки од присловнікох *кельо, тельо* не вше єдноставно. У конструкції з дієсловами форми *кельо, тельо* присловніки: *Кельо зарабяш? Тельо сом ци мал повесц...* А у слідующих прикладах?: *на плочи було тельо людзох! не мож було преисц од теліх людзох!* Форму *тельо* у першим виреченю тримає за присловнік, а у другим — исте слово уж заменовнік.

1.2. Форми єднини, у народним и у литературним язичу, глаша *келі, келя, келє; телі, теля, телє* (заменовнік *телі* ше частейше хаснує од заменовніка *келі*; форми женского и штрєднього роду при обидвох заменовнікох ридки). Напр.:

Келі швет! — Келі труд препад! — Та ше чудує [...] же телі статок идє з того роцка (Етн. XXIX, 23). — А я за испити телі пенєж трошим (Е. Кочиш: Цо памєтам, 140). — медзи телім цудзим шветом (Ковач-Гудак: ГБ, 6). — ша теля худоба, а у мнє єст (Е. Кочиш: ВТ, 133). — викласц [зоз шлепа] телю цеглу (М. Ковач: ГК 80). — Телю жєм попредац, дзе же тоти пенєжи (приклад з бєшєди). — Року 761 спадло телє множество шнїгу же [...] було и до 20 вата високе (РК 1936, 155).

1.3. Форми множини двояки: *кельо/келі, тельо/телі*.

1.4. Слово *вельо/-лі* неопределённое числительное, а означує векше або великое множество. Форми єднини глаша *велі, веля, велє*

(форми женского и штреднього роду барз ридки). Напр.:

Од велього койчого ше бал наш Руснак (Я. Баков, 76). — Дацо з велього вироштуєш (Е. Кочиш: Чайка, 168). — муши [ше] и сам у велім одрекац од койчого (исте, 155). — Дзе велє дружтво и вельки масток, вельо будзе гамбари, але шицки празни (О. Костелник, 180).

Форма множини глаши *вельо/-лі*.

1.5. Слово *даскельо/-лі* тиж неопределени числовнік, а означує найчастейше множество од 3–4 до 7–8 єдинки. Тот числовнік не ма форми за єднину.

1.6. Заєднічка характеристика заменовнікох *кельо/-лі, тельо/-лі* и числовнікох *вельо/-лі, даскельо/-лі* то пременка хтора настала у їх деклинації.

2.1. У народним язичу на концу 19. вику заменовніки *кельо, тельо* и числовніки *вельо* и *даскельо* у номинативе множини маю форми на *-о*, цо потвердую приклади зоз Гнатюка:

а) *Траяло тому кельо роки (Етн. XXX, 82).*

б) *Озда кед сом з тобу пришагал и тельо роки жил, та це знам добре (Етн. XXIX, 131). — Муши то буц дацо даяка хйба, кед уж тельо минари булі, ані єдного нет у мліну (Етн. XXIX, 297).*

в) *Я дам справиц вельки бал, ту буду вельо панове, трофове (Етн. XXIX, 13). — Мнє не єден гуторел, Мнє гуторелі вельо людзе (Етн. XXIX, 84). — Насходзелі ше там вельо майстрове правиц таку талию (Етн. XXIX, 1). — вельки чупор бул и вельо югаше ведно чувалі овци (Етн. XXX, 113). — За вельо роки ходзел по швецє (Етн. XXIX, 238). — Цар дал розглашиц же хто видзе горе [на каштель], принєше даяки знак, та му да пол кральовства. Як то народ учул, та пробовалі вельо исц горе (Етн. XXIX, 122).*

2.2 У Гнатюка одн. у народним язичу на концу 19. вику тоти слова ше найчастейше меняю як числовніки (*два, двох, двом...*), барз ридко и як прикметніки одн. заменовніки у множини (*мали, малых, малим..., таки, таких, таким...*). Приклади:

а) *Червени краль заш назберал [войска], кельох назберал, кельох могол (Етн. XXX, 59).*

б) *Кед го увидзел тот краль, зрадовал ше му же му тельох роботнікох приведол (Етн. XXX, 162).*

в) Г.¹: [модлел ше] да го Бог заварус од вельох пенєжох (Етн. XXX, 136). — Там було стари имати швеляки и од вельох людзох

¹ Г. = генитив, Д. = датив, А. = акузатив, И. = инструментал, Л. = локатив.

(Етн. XXIX, 242). — Д.: Питали ше вельом людзом чи не знаю за тот варош (Етн. XXIX, 243). — А. (и Д.): вельох од шмерци однял, вельом помогол и вельох з нужди винял (Етн. XXX, 190). — Але цар вельох катонацох мал (Етн. XXIX, 102). — И.: И пришол Христос з вельома ангелами и зоз святима оцами (Етн. XXX, 80). — Л.: була єдна пустиня велька [...] и було салаши. На вельох местох було гумна заградзени, на вельох местох не було (Етн. XXX, 222).

г) Д.: але я думам же ещи даскельом дяблом одкруцим глави (Етн. XXIX, 268). — И.: але пред даскельома дньома скорей виволал оцц и синови цо вон зробел (Етн. XXIX, 105). — Л.: По даскельох дньох пошол на лови царски ятер (Етн. XXX, 116).

2.3. Деклинация, значи, глаши:

Н.	кельо	тельо	вельо	даскельо
Г.	кельох	тельох	вельох	даскельох
Д.	кельом	тельом	вельом	даскельом
А.	I або II	I або II	I або II	I або II
И.	кельома	тельома	вельома	даскельома
Л.	кельох	тельох	вельох	даскельох

2.4. У народней писні зме зазначели и єден приклад номинатива множини на -ї заменовніка *тельо/-ї*, а у Гнатюка два приклади косих припадкох на -ї- истого заменовніка:

У *арешту мелї* рочки лежац (ЮР нар. писні, 179). — *та му [баба] гутори: Шедні ле ту, сину, най я це дакуцичко поискам, бо знам же и у глави маш уж кед ши од мелїх часох ту вонка* (Етн. XXIX, 53). — *Вера, чуєш, и я не видзел же би єден таки шалсни як ти при таким огню шедзел, у мелїх бундох, кожухох, чижмох и надрагох* (Етн. XXIX, 5).

3.1. У Цамблових записох восточнословацких бешедох тиж находзиме двояки, та и трояки форми тих заменовнікох одн. числовнікох. Заменовнік *кельо* зазначели зме у формах *kel'o* и *kel'a* (Цам. 532), *тельо* — у формах *tel'o* и *tel'e* (Цам. 603), числовнік *вельо* — у формах *vel'o*, *vel'a* и *vil'e* (Цам. 610: закончене -е, хторе Цамбел третирує як прикметніцке, тримає за еквивалент нашому законченю -ї: *vil'e* = *велї*). Числовнік *даскельо* нам затераз познати у форми на -о: *daskel'o* (Цам. 498).

ho kel'o tam foštro ũ chodzilo, aŕi jeden to ŕetmoh priŕes (Цам. 418).

Pital se husar v mesce, co to za novina, ŕe tu tel'o ĉarne zastavi viloŕene (Цам. 330). — *Zkadi ti maš tel'e penezi* (Цам. 603). — *Uŕ som tel'e krajini prejšol* (Цам. 603).

I vel'o ovce pohorel'i (Цам. 313). — *Prišl'i vel'o panove, zrobit'i sesiu* (Цам. 330). — *I vel'o l'udzi tam umarl'i zo strachu* (Цам. 365). — *Ňedarujem ci život, bo šī barz vel'o l'udzi porubal* (Цам. 408). — *bo ja tu tebe vel'o roki čekala* (Цам. 416). — *kedz ja tu vel'o roki a ja tu ņigda čl'eveka ņevidze ŭ* (Цам. 422-423). — *[človek] mal vel'o d'iti* (Цам. 462). — *mal vil'e dzeci* (Цам. 610).

Vzal daskel'o grajcari (Цам. 498).

3.2. За коси припадки маме записани єден приклад и то на *-i*: *Co tu robi ŭ od tel'ich roki* (Цам. 603).

3.3. Законченя на *-o-* у косих припадкох при тих заменовнікох одн. числовнікох у Цамбла не маме зазначени, але понеже зме их зазначели при основних и збирних числовнікох (*Mam peicoch žencoch*, Цам. 568); *Z tich dzevecoch l'udzi*, Цам. 504) тримаме за виroyатне же тоти заменовніки одн. числовніки у восточнословацких бешедох маю и числовніцку препенку.

3.4. У українским и польским язичу тоти слова маю числовніцку препенку. У українским: *скільки, скількох, скільком*, I або II, *скількима, скількох* (препенка числовнікох у українским глаши: *два, двох, двом...*). Тиж так ше меняю и слова *стільки, багато, кілька, декілька*. Напр.: *багатьох я тут знаю; сказати кількома словами або в декількох словах*. У польским: *tyle; zajęty tyloma sprawami; wiele; pod wieloma względami* (препенка числовнікох: *dwa, dwóch, dwom...*).

3.5. Понеже у карпатским ареалу исную двояки припадково законченя тих заменовнікох одн. числовнікох (числовніцки у українским и польским язичу, прикметніцки, а виroyатно и числовніцки у восточнословацких бешедох), заключаеме же вони и у руским язичу походза зоз старого краю.

4.1. У литературним язичу од 20-их по 40-и роки попри номинатива на *-o* и формох числовніцкей деклинації починаю ше хасновац и номинатив на *-i* и форми прикметніцкей деклинації у множини:

4.2. Номинатив на *-o*:

а) *видзел кельо уж людзе пре паленку страцели шицок свой масток* (О. Костелник, 57).

б) *да вам дам по возмoжностци цо яснейши одвит на вопроси, котри сигурно тельо члени часто себе поставяю* (РК 1923, 39).

— *Одкеди швет шветом, нїгда тельо людзе на єдней громади [...] не жили, як ту* (РК 1930, 46). — *Уж тельо ноци не спала* (РН 72/1926, 2).

в) *розвили ше у Америки и вельо други вельки вароши* (РК 1925, 43). — *И так настали вельо держави* (РК 1931, 38). —

по вечурні іду вельо позвожовац (РК 1927, 76): я би лєм сцел написац даскельо слова за тоти места за хтори ше тераз вельо интересую, а з нашого народу можебуц анї не чули вельо за таке мено: "катакомби" (РК 1925, 48-49). — При копаню бетеля вельо робели нашо дїдове но вельо ше похорели, та аж и умарли, бо хлеб єдли кукурични и олейніки (РК 1936, 143). — И по пажици нараз заквитли вельо и вельо вишелїяки квеца (РН 57/1926, 2).

г) пишу же их [Руски новини] не сцу. (даскельо написали по сербски!) (РН 59/1926, 1).

4.3. У пиятим и шестим прикладу вельо можеме похопиц и як присловнік: иду же би вельо назвожовали; места за хтори ше барз интересую.

4.4. Номинатив на -ї:

а) А келї од нас останю вирни [Христови] до рока? (РН 72/1926, 4).

б) Моя дакле невидима присутносц очувала Павлинку од найвекшого зла, од хторого **телї** други дзивчата на прадкох страдаю!... (РК 1929, 68). — Познато вам чом препадли **телї** гиздовства — лєм пре незлагоду (РК 1936, 101). — алє нас мучи [...] одкаль походза у нашим народзе **телї** цудзи назвиска (РК 1936, 42, Биндас).

в) Нєшка у вику национализма, кед ше велї народи чисца од цудзей раси и сцу буц чистокревни народи [...] важни є вопрос наших назвискох, котри велї не одвитую духу нашей нациї (РК 1936, 42). — Кед Жидзи першираз почали преганяц Церкву Христову, велї ше християне склонєли зос Єрусалиму и Палєстини (РК 1936, 8). — Н. пр. писнї: "Понад бреги...", "Загучали гори..." [...] и велї иньши писнї и народни приповедки (РК 1929, 58). — **превелї** [християне] за св. виру умерали (РК 1936, 7).

г) [пре аферу] Даскелї министрове сцєкли, даскелї ухапшени (РН/1926, 2). — Зос тим планом спорозумєли ше и даскелї познати сербски професоре (РН 20/1937, 1).

4.5. У истим тексту (та и виречєню) находзимє и двояки форми: Думає, же би [...] вельо нашо школовани людзе пременєли дотераинї своєо неславянски назвиска. За нїма би пошли велї нашо свидоми Русини (РН 20/1937, 1).

4.6. Коси припадки. Форми на -о:

а) А.: Кельо нещєсца и шмерци вони [гади] принєшу бразильянцом (РН 20/1937, 4). — И.: Дас пред кельома роками нашо учительки учєли дзивчата у школи вишивац (РН 24/1937, 3).

б) Г.: *ту єст тельох професорох и вельо учених людзох* (Заря 1939, 120).

в) А.: *Вельох цагне до Риму шерцо, бо чую од тих цо там були, кельо сятинї там єст* (РК 1925, 48). — [генерал] *вивойовал вельо побиди у Мароку* (РН 57/1937, 2). — И.: *[ядловцово древно] ше аж угинало под вельома украсами* (РН 25/1926, 4). — Л.: *У вельох наших валалох [...] учителє немаю своєю биваня* (РН 66/1926, 1).

г) Г.: *або их [способ газдованя] мож[е] буц за любов даскельох руцел еце до векшей биди* (Заря 1939, 61). — *врацела ше жена после даскельох тижных* (Заря 1939, 97). — Звук дж приходзи у словох джмуркац, джубац, джобац, маджун и других даскельох словох (Г. Костельник: Проза, 216). — А.: *Але раз ше случело, вибрали нас даскельох з минешу и одвели на вашиар* (Г. Костельник: Проза, 67). — *Дзе би ми нешка були [...] да зме слухали тих даскельох?* (РН 59/1926, 1). — *А Руски нашо Новини то су нашо уста, на котри ми бешедуєме, не за даскельох людзох [...] але за шицок наш народ [...]* (РН 59/1926, 1). — Л.: *На даскельох местох ше мушело "зос чамца долу и гайт дрляц"* (РК 1936, 142). — *У главним идзе желєзница як и скорей, лєм на даскельох пругох желєзнични рух зменишани* (РН 22/1932, 2).

4.7. Форми на -ї:

а) [манастери] *Кельо гладних накарма, келїх широтох отримую и виховую, келїх хорих у шпитальох обходза* (РН 45/1932, 4).

б) *После тельих часох мойого живота у Америки сцем знова започац цихи живот* (Заря 1939, 88).

в) Д.: *конєц войны — то лєм велїм нуждом початок* (РК 1929, 19). — *Людзе гваря, же [Матка Божа] уж велїм помогла* (РН 14/1934, 3). — А.: *льжипророки заведли велїх християнох* (РК 1932, 12). — *допатрала хорих, помагала худобним и хранєла велїх од каждого зла* (РК 1936, 11). — *Тот худобни роботник велїх наших богачох поганьбел* (РК 1930, 38). — Л.: *Дотераз було наших людзох по велїх других задрутох* (О. Костельник, 146).

г) Г.: *держава легко вежне у зациту земледїлца против даскелїх фабрикантских капиталистох* (РН 67/1926, 1). — А.: *Кед маце у газдовстве даскелї роли желєней паши то найлєпше их помишац* (РН 32/1937, 3). — *пришло на даскелїх местох до кирвавей борби* (РН 34/1937, 3).

4.8. У истим тексту дакеди находзиме обидва форми: [члени читальнї и єї хору] *келїм дали добри примир [...]* а *кельом ошляхотнєли душу зос своїма виступами* (РН 29/1937, 4). —

фаркаш зос першу шмерцу умера, а заяц зос барс вельома. [...] На веліх местох видзиме насликовану правду, але барс на мало местох вона жива (РК 1936, 158).

Двояки форми похасновани и у виреченю под а) (*кельо гладних накармя...*).

4.9. Чи у косим припадку будзе похаснована форма зоз *-і-* чи зоз *-о-* то не завиши од форми номинатива. То подтвердзую приклади з номинативом (або акузативом неживого) на *-о-*, а з косима припадками на *-і-*: *Красна є, мирна и вредна [...]. Кельо лєм канти з воду пренссла и з найоддалєнших жридох. Келіх ранєтих борцох на своїх моцних плєцох пренєсла (Одгук, 41). — [Власц видала розказ] у хторим зазначене хтори вачал кельо пештански мери зарна достанє и на келіх го кочох треба превєзц (Ф. Лабош, 232).*

4.10. Деклинация заменовнікох *кельо, тельо* и числовнікох *вельо, даскельо*, у виданьох РНПД, значи, глаши:

Н.	<i>кельо/келі</i>	<i>тельо/телі</i>	<i>вельо/велі</i>	<i>даскельо/-лі</i>
Г.	<i>кельох/келіх</i>	<i>тельох/теліх</i>	<i>вельох/веліх</i>	<i>даскельох/-ліх</i>
Д.	<i>кельом/келім</i>	<i>тельом/телім</i>	<i>вельом/велім</i>	<i>даскельом/-лім</i>
А.	І або II	І або II	І або II	І або II
И.	<i>кельома/-ліма</i>	<i>тельома/-ліма</i>	<i>вельома/-ліма</i>	<i>даскельома/-ліма</i>
Л.	<i>кельох/келіх</i>	<i>тельох/теліх</i>	<i>вельох/веліх</i>	<i>даскельох/-ліх</i>

5.1. Форми на *-і-* ше почали шириц виroyтно пре вєцей причини:

а) Понеже ше у руским язiku по припадкох меняю лєм числовніки од *сден* до *шейсц*, законченя числовніцкей деклинації ридки. З другого боку прикметніцки законченя барз части. З вельо векшу фреквенцию, тоти други форми вшеліак уплївовали на ширєне формох на *-і-* у литературним язiku.

б) Слова *кельо/-лі, тельо/-лі, вельо/-лі*, и у народним и у литературним язiku, маю и форми єднини (за шицки три роди), хтори ше меняю по прикметніцко-заменовніцкей пременки. По категорії числа вони, значи, баржей заменовніки як числовніки, та логичне же и у деклинації почали доставац прикметніцко-заменовніцки законченя.

в) Форми на *-о* у номинативе и акузативе множини присловніцки и праве у тих припадкох, понеже їх форми двозначни, часто ше двоїме чи слова *кельо, тельо, вельо, даскельо* присловніки чи заменовніки одн. числовніки. А єднозначни форми у язiku ше часто ширя на рахунок вєцейзначних формох.

г) На ширєне формох на *-і-* вшеліак уплївовал и сєрбски неодредзени числовник *многи, -а, -о*, хтори ше меня по прикмет-

ніцкей деклинації: многи, ген. многог, дат. многом(е)..., мн. многи *многих, многим...* Даедни конструкції у літературним языку очиглядно ше хасную под сербским уплывом. Напр.: *У велім сом ше спрвед* < серб. *у многоме сам преварио*; *з велім ше не складам* < серб. *са многим се не слажем*.

5.2. На основе прикладах з пасуса 2.4. заключаеме же уплыв прикметніцкей деклинації при тих словах почал уж у народним языку, одн. же ше ту не роби лем о зьявеню у літературним языку.

6.1. У сучасним літературним языку превладали формы на *-і-*: у косих прыпадках вони скоро цалком поцисли числовніцкі формы, а у номинативе ше ище дакеди хасную и формы на *-о*.

6.2. Номинатив на *-о*:

а) *А кельо би нашо глави пошли кед налсцели на тоті мині!* (В. Костелник: БД, 191). — *Кельо красні слова и вишліякі чувства пановали над нами!* (Одгук, 170). — *Кельо [жени] остали без мужох* (Е. Кочиш: ПА, 113).

в) чуло [ше] *нізке брунсє [авіаінох] як кед лєца вельо донтови* (В. Костелник: БД, 146). — *И іх оцове тєраз у партизанох. И ище вельо други товарише* (исте, 152). — *на острове зачувані за мнє ище вельо такі житаркі* (Д. Дефо, 55). — *Муштерію ше муші чувац. Уж вельо одходза індзей прето* (Е. Кочиш: ПА, 115).

г) *даскельо селянє одлучели пойсц же би видзели цо зоз старіком* (Г. Олуіч, 99). — *Коло нас прєшли даскельо летінє и дзівкі* (Одгук, 168). — *Даскельо моцні хлопі влєпєлі чловека и видрилєлі го вонка* (Е. Кочиш: ПА, 146).

6.3. Форма на *-о* неопредзєного числовніка *даскельо/-лі* у номинативе значно частєйша од форми на *-і*. Зазначєлі змє и такі синтагми одн. вирєчєня: прєшли *даскельо* групі, прішли *даскельо* зоз кочама, *даскельо* ноці можєш прєспац, крїчали *даскельо* гласі, покладлі [галові] *даскельо* дні прєд тім, *даскельо* мιλї од мойого склонїша и др.

6.4. Номинатив на *-і*:

а) *Кєлі: Кєд би нє було так, кєлі би нашо глави пошли!* (В. Костелник: БД, 83). — *По цалім швєцє єст худобі, біді, нєволі. Кєлі мільоні стукаю под прїцїском богатїх, розпуцєнїх, бєснїх!* (Е. Кочиш: ПА, 129). — *кєд бїм му [чїтачові] вїпрїповєдал [... | кєлі ше тоті мойо вїробкі [з гліні] розпадли бо іловача нє була розправєна твєрдє* (Д. Дефо, 73). — *же мог сцїтанїц и нє було би нїч. Кєлі цїтаня!* (Е. Кочиш: ПА, 152).

б) [Чамєц] *котрї змє обчєковали тєлі дні* (Д. Дефо, 154). — *тєлі гїню правє на мїнскїх польох* (В. Костелник: БД, 191).

в) На острові росли велі прости кедрово сосни (Д. Дефо, 136).

За першима єдинками прейт моста прешли велі и велі батальони и бригади (В. Костелник: БД, 78). — велі з ніх маю на себе цивилни имати (Е. Кочиш: ПА, 55). — а велі ше место чамца зоз коритом и зоз зварку послужели (Ф. Лабош, 178).

г) Даскелі вистати и чарни подоби розбегли ше на гац. Треск. Митралєзи бую [...]. З тима подобами ище даскелі бежа (В. Костелник: БД, 175). — сцел ище дацо повесц секретар, але го претаргла нагла детонация [...]. "Цо то?!" — опитали ше даскелі источасно (исте, 95). — Прешли даскелі хвильки (Р. Гійо, 44).

6.5 У истих текстох находзимо обидва форми — на -о и на -ї: *Вельо* патра на тот правопис цо Баков предклада якош боком. *Велі* уж гуторя же нас сце Баков посербиц (Я. Баков, 117).

Приклади двоякого прекладу: *Вельо* уж одняли серсани за коні, драгоцини шаблї, и пушки (Гоголь: ТБ 50, 51). — *Велі* себе здобули коньски серсан, шаблї и пушки (Гоголь: ТБ 83, 46).

У тим *даскельо* людзе рушли на процивне побереже (Гоголь: ТБ 83, 38). — *Даскелі* людзе пошли на Дніпер (Гоголь: ТБ 50, 43).

6.6. Коси припадки:

а) **Г.:** [трапеза] хтора му заш лєм не завадзала же би постал автор *телїх* велїчезних ділох! (Одгук, 174). — **А.:** База не може прияз *телїх* людзох (В. Костелник: БД, 159).

б) **Г.:** Доган и куренє виновніки *велїх* хоротох (НК 1978, 243). — **Д.:** лєм тото застрашованє *велїм* дойдзе глави (Е. Кочиш: ПА, 168). — **А.:** тебе лєм осемнасти рок, будзеш ти ище *велїх* любиц (М. Кочиш: ПП, 100). — **И.:** з того места сом пред *велїма* роками обачел нас жеми (Д. Дефо, 131). — **Петро** ше у фабрики упознал зоз *велїма* цо исто так думали (Е. Кочиш: ПА, 166). — **Л.:** Влєце, на опитинских виберанкох, у *велїх* местох победзели комунисти (Е. Кочиш: ПА, 157).

в) **А.:** Велиан пуцел до хижи *даскелїх* панох и панї (М. Твен, 222). — **И.:** Вона ю упознала з *даскелїма* младима людзми (М. Кочиш: ПП, 70). — Пред *даскелїма* роками их було и вецей, а злагоднейше жили як тераз (Одгук, 150). — [з] Андрийом и ище *даскелїма* товаришами (Одгук, 33). — **Л.:** Побреже преляте на *даскелїх* местох (В. Костелник: БД, 98).

6.7. При заменовнікох *кельо*/-лі, *тельо*/-лі и числовніку *вельо*/-лі у сучасним литературним язiku у косих припадкох уж барз ридки форми на -о: Любел бим кед би ми дахто повед зоз *кельома* ше бодами бодує (РК 1978). При числовніку *даскельо* тоги форми частейши, окреме у синтагмох з назвами часу: **И.:** По його словох

перед *даскельома* днями пришло до страшного зраження (Д. Дефо, 121). — Тоти штири точки [...] подкритим зоз *даскельома* аргументами (Я. Баков, 92). — *Випатрал сом як и пред даскельома* роками (НК 1978, 183). — Л.: *То чежко повесц у даскельох* виреченьох (В. Кирда: НН, 139). — *Мне пребита рекла на даскельох* местох (Е. Кочиш: Чайка, 193).

6.8. У пасусу 6.3. гварели зме и же ше неодредзени числовнік *даскельо* у номинативе частейше хаснує у форми на *-о* як у форми на *-ї*. Значи же при нїм ище не превладали прикметніцки одн. заменовніцки форми у тей мири як при заменовнікох *кельо/-лї*, *тельо/-лї* и числовніку *вельо/-лї*. Причини тому вироятно слуючи:

а) Слова *кельо/-лї*, *тельо/-лї*, *вельо/-лї*, и у народним и у литературним языку, маю и форми єднини (за шицки три роди), хтори ше меняю по прикметніцко-заменовніцкей пременки.

б) Числовнік *даскельо* означує одредзенше число од словох *кельо/-лї*, *тельо/-лї*, *вельо/-лї*. Док тоти три знача цалком неодредзене векше одн. вельке число, *даскельо* звичайно означує количество од 3–4 до 7–8 єдинки. Прето ше *даскельо*, у поровнаню зоз *кельо/-лї*, *тельо/-лї*, *вельо/-лї* баржей чувствує як числовнік.

6.9. У сучасним народним языку хасную ше паралелно форми на *-о*- и на *-ї*. Напр.: *Од вельох/велїх* людзох сом то чул.

7.1. И у народним и у литературним языку паралелно зоз заменовніками *кельо/-лї*, *тельо/-лї* и числовніками *вельо/-лї*, *даскельо/-лї* хасную ше, з меншу фреквенцию, и непременлїви — при-словніцки форми *кельо*, *тельо*, *вельо*, *даскельо* (у контекстох у хторих пременлїви и непременлїви форми часто медзисобно заменлїви):

а) А.: *Єден паноцец тельо* порадзиц може як на древе лїсца (Етн. XXIX, 268) [= *тельо/телїх* людзох порадзиц може].

б) Г.: *газдиня, кед хлеб пече, служи ше зоз роботу вельо* роботнікох (РК 1932, 68; *мож повесц и: велїх* роботнікох). — *З вельо* языкох будзе єден — *то роби любов* (РК 1932, 12; *мож повесц и: з велїх* языкох). — И.: *але тота ноц як кед би була пред вельо* дижджами (Р. Киплинг, 83).

в) Г.: *Под час даскельо* минутох наступели три [трешеня жеми] (Д. Дефо, 57). — А.: *Апо мой, дайце ми даскельо* катонацох зо мну да приду (Етн. XXIX, 105). — И.: *Цо почац зоз даскельо* ланцями [жеми]? (Е. Кочиш: ПА, 200). — Л.: [почал] знімац зоз себе *тестаповску згужвану униформу* подрану на *даскельо* местох (В. Костелник: БД, 26). — *По даскельо* минутох

рушели (Дж. Лондон, 56). -- Появела ше у даскельо валалох хорота спаня (РН 57/1926. 6).

7.2. Двояки (пременліви и непременліви) форми находзиме и у истих текстах або синтагмах: *Пред веліма роками [...]* научел як ше припитомюс пташки (Р. Гійо, 23). — *Пред вельо роками збудовал го [город]* якиш краль (Р. Киплинг, 39).

Приклади двоякого прекладу: *Побили теди веліх врагох* (Н. Гоголь: ТБ 50, 85). — *И нападли козаки [...]. Забили вельо неприятельох* (Н. Гоголь: ТБ 83, 77).

У Гнатукових записох, у подобних контекстах, еден приповедач похасновал пременліву, а други непременліву форму числовніка *вельо*: *Ма [цар] злати швинї, треба му кондаша. Уж мал вельох слугох, ніхто му не може очувац [од шарканя], да одхова злати прашата* (Етн. XXIX, 234). — *Не будзеш ніч робиц инше, лєм будзеш овци чувац. [...]* Ми уж малі вельо слугох, анї еден нас не могол висулужиц (Етн. XXIX, 239).

7.3. Окремне виучованє тих пременлівих и непременлівих формох вироятно яснейше ошвици їх медзисобне одношенє.

ЖРИДЛА

- Я. Баков — Баков Яша. Вибрани твори. Нови Сад: Руске слово, 1984.
 Гійо Р. — Гійо Рене. Била грива. Преложел Дю. Сопка. — Нови Сад: Завод за издаванє учебнікох, 1980.
 Н. Гоголь: ТБ 50 — Гоголь М. В. Тарас Бульба. — Руски Керестур: Братство-єдинство, 1950.
 Н. Гоголь: ЕБ 82 — Гоголь М. В. Тарас Бульба. З російского преложел Я. Кишюгас. — Нови Сад: Завод за издаванє учебнікох, 1982.
 Д. Дефо — Дефо Даниєл. Робинзон Крусо. Преложел В. Бесерминї. — Нови Сад: Завод за издаванє учебнікох, 1981.
 Етн. XXIX, XXX — Етнографічний збірник Наукового товариства ім. Шевченка, т. XXIX. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси, т. V. Казки з Бачки. — У Львові, 1910; Етнографічний збірник..., т. XXX. Етнографічні матеріяли..., т. VI. Байки, легенди, істор. перекази, новелї, анекдоти — з Бачки. — У Львові, 1911.
 Заря 1939 — Руски народни календар "Заря". Видатель и властитель: Культурно-национални союз Русинов в Югослави, 1939.
 Киплинг Р. — Киплинг Ридярд: Кніжка о джунгли. Преложел Ю. Пап. — Нови Сад: Завод за издаванє учебнікох, 1983.
 В. Кирда: НН — Владимир Кирда Болхорвес: Немецка, Немецка (роман). — Нови Сад: Руске слово, 1986. — 207 б.
 М. Ковач: ГК — Ковач Михайло. Глібоки коренї. Приповедки. — Нови Сад: Руске слово, 1987.

- Ковач, Гудак: ГБ — Ковач Михал, Гудак Штефан. Гриц Бандурик (роман). — Нови Сад: Руске слово, 1972. — 169 б.
- В. Костелник: БД — Костелник Владимир. Бисерни дражки (роман у трох часцох). — Нови Сад: Руске слово, 1971. — 198 б.
- О. Костелник — Костелник Осиф. Вибрани твори. — Нови Сад: Руске слово, 1981.
- Г. Костельник: Проза — Костельник Гавриїл. Проза на бачванско-сримским руским литературним язикау. — Нови Сад: Руске слово, 1975.
- Е. Кочиш: ВТ — Кочиш Евгений. Вибрани твори. — Нови Сад: Завод за издаванє учебнїкох, 1980.
- Е. Кочиш: Чайка — Кочиш Евгений. Чайка. — Нови Сад: Руске слово, 1974.
- Е. Кочиш: ПА — Кочиш Евгений. Петро Андрейков. Роман. — Нови Сад: Руске слово, 1977.
- Е. Кочиш: Цо паметам — Кочиш Евгений. Цо паметам о себе. — Нови Сад: Руске слово, 1985.
- М. Кочиш: ПП — Кочиш М. Микола (1928–1973). Позберана проза. — Нови Сад: Руске слово, 1978.
- Ф. Лабош — Федор др Лабош. Историја Русинох Бачкей. Сриму и Славонїї 1945–1918. Вуковар: Союз Русинох и Українцох Горватскей, 1979. — 299 б.
- Лондон Джек — Лондон Джек. Глас дзивни. Преложела Серафина Макаї. — Нови Сад: Завод за издаванє учебнїкох, 1980.
- НК — Народни календар (за 1946. и др.). — Руски Керестур, Нови Сад: Руске слово.
- Одгук — Одгук з ровнїни. Зборнїк приповедкох 1941–1961. — Руски Керестур: Руске слово, 1961.
- Г. Олуїч — Олуїч Гроздана. Перлова ружа и други сказки. Преложела Мелания Павлович. — Нови Сад: Руске слово, 1983. — 134 б.
- РК — Руски календар за югославянских Русинох (1921–1941). — Руски Керестур: Видатель и властитель Руске народне просвитне дружтво.
- РН — Руски новини за Русинох у Югославиї. Нови Сад, Руски Керестур: Властитель Руске Народне Просвитне Дружтво, 1924 –.
- М. Твен — Твен Марк: Дожица Тома Соєра. Преложел М. Скубан. — Нови Сад: Завод за издаванє учебнїкох, 1980.
- М. Твен — Твен Марк: Том Соєр (вирилки). Преложел В. Мудри. — У: Запалена факля. Лектира за VII класу основного воспитаня и образованя. Сотруднїки М. Ковач, Лю. Рамач, В. Мудри. Нови Сад: Завод за издаванє учебнїкох, 1978, 43–62.
- Цам. — Czambel Samo. Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. Východoslovenské nárečie. — Turč. sv. Martin, 1906.
- ЮР Нар. Писнї — Южнославянских Русинох народни писнї. Позберали и ушорели Дюра Биндас и Осиф Костелник. — Руски Керестур, Нови Сад. 1927.

Milko Matičetov
Ljubljana

IZ REZIJANSKE LEKSIKE

Словенская диалектная лексикография — общесловенский диалектный словарь — резьянская лексика — ее происхождение

I. Naša narečna leksika doma premalo cenjena

“Do dialektologije, najpomembnejše veje slovenskega jezikoslovja, imajo današnji jezikoslovci bolj mačehovsko razmerje, ker se posvečajo predvsem knjižnemu jeziku in njegovim teorijam, živi jezik pa... žal ni deležen tiste pozornosti, ki mu gre”. Tako L. Karničar.¹ Kot dodatek k ti ugotovitvi graškega slavista kaže navesti še mikavno opozorilo moskovske slovenistke L. V. Kurkine²: “Заметим, что классификация словенских диалектов построена по данным фонетики, морфологии, акцентологии, при этом почти не учитываются показания лексического уровня, хотя в свое время Ф. Рамовш³ писал о том, что при воссоздании полной картины языкового развития словенских диалектов необходимо учитывать особенности лексики”.

Ljubljanska slavistka V. Smole pa je 1993. naslovlila svojim slovenskim kolegom vprašanje “Vseslovenski narečni slovar: da ali ne?” in nanj deloma odgovorila že sama v članku, ki izzveni takole: “Brez dvoma bi bil vseslovenski narečni slovar zares potrebno delo, zanimanje zanj je izredno veliko, zato sem prepričana, da bodo odgovorni kaj ukrenili, na nas vseh pa je, da prispevamo k temu čim večji delež”.⁴

Pričakovanje iz leta 1993, da bi t.i. “odgovorni” kaj ukrenili, je bilo kajpada iluzija; rebus sic stantibus, mhče od njih najbrž ne bo mignil z malim prstom. Zato nam ostane samo eno: da lepo vzamemo pobudo v lastne roke in da vsak od nas prispeva svoj delež in naredi, kar pač more! Če je voljan, bo že znal “prisluhniti tudi živemu govoru” in se brez pridržkov uvrstiti “med vse tiste zagnance, ki se zavedajo sočnosti in hkrati minljivosti domače govorice in jo zato z zapisovanjem rešujejo pozabe”.⁵

Iz diplomatsko zasukanega pisanja Fr. Novaka⁶ in iz pogovorov z njim, večletnim predsednikom Slavističnega društva Slovenije, sem morda razumel, odkod mu hvale vredna odprtost, pripravljenost

pomagati, in pristajanje, da bi široka akcija za zbiranje narečnega besedja, če ni drugega izhoda, prišla magari pod društveno slavistično streho. Brez dvoma je tudi on enih misli z V. Smole in drugimi svojimi kolegi, da bi bil vseslovenski narečni slovar "zares potrebno delo", "strašno hvaležna zadeva", "zelo zaželen" in da je "zammanje zanj veliko", saj bi se bil drugače težko odločil zastaviti pri Slavističnem društvu Slovenije (odslej SDS) za pridobivanje članov k sodelovanju v akciji, ki formalno ni niti še stekla, avtoritetno besedo predsednika.

Rajm Anton Breznik je lepo pojasnil razloček med knjižnim, pisanim ali "pismenim" jezikom na eni strani in med "ljudskim jezikom" na drugi strani. Po Breznikovem preprostem imenu "ljudski jezik" so segli ali ga sami znova priklicali v življenje graški slavisti. Njihov "Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten"⁸ rešuje čast današnje slovenske dialektologije. Pobuda za inventarizacijo ljudskega jezika koroških Slovencev je prišla s častitljive slavistične stolice v Gradcu (Graz), kjer so se že od ustanovitve — 1870 — kar vrstili slovenski profesorji (Krek, Oblak, Štrekelj, Nahtigal), medtem ko so za današnji *Thesaurus* posebej zaslužni St. Hafner, E. Prunč in L. Karničar, avtor študije o obirskem narečju, s slovarjem (1990).⁹

Če je izdajo slovenskega besedja na avstrijskem Koroškem vzel pod svojo perut Filozofsko-historični razred Avstrijske akademije znanosti, mi nikakor ne gre v glavo, zakaj ne bi bilo mogoče nekaj podobnega kot na Dunaju uresničiti v Ljubljani, prestolnici samostojne slovenske države, pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Pod njeno streho vendar deluje Inštitut za slovenski jezik, poimenovan po Franu Ramovšu, prvem profesorju slovenskega jezika na univerzi v Ljubljani in pobudniku SLA (Slovenskega lingvističnega atlasa).¹⁰

Inštitut za slovenski jezik ima že nekaj let v svojem sestavu tudi posebno dialektološko sekcijo: le-ta bi mirno lahko bila odskočišče zapisovanju ljudskega besedja in varno zbirališče nabranega gradiva, ne pa da si mora potencialna akcija po sili razmer (ker se je vsi otepajo!) iskati svoj prostor pod soncem v društvenih krogih SDS.

Slovenska institucionalna slavistika (tako univerzitetna kot SAZU-jevska) je zmerom sodelovala pri pomembnih akcijah (v prvi vrsti pri OLA/Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas),¹¹ ki so bile spočete zunaj naših meja, njih izvajanje na slovenskih tleh pa je terjalo tudi vključitev moči. Naši strokovnjaki so sicer vzorno opravili sprejete obveznosti, kar pa ne more spremeniti dejstva, da so delali po načrtih in zamislih od zunaj. Z domačimi pobudami, če izvzamemo SLA, se ne moremo pohvaliti, pa tudi daleč na obzorju ni videti nobene. Če bo šlo tako naprej, bo priložnost, ki bi nam jo lahko dal Vseslovenski narečni slovar (Slovar slovenskega ljudskega jezika ali kakorkoli naj bi mu bilo ime) neodgovorno/lahkomiselno zapravljen.

Leta 1992. je pri II. r. SAZU izšlo v ruščini delo s podnaslovom "Narečna struktura praslovanskega jezika v luči južnoslovanske leksike", kjer je avtorica, L. V. Kurkina, že v prvem poglavju knjige med drugim napisala: "На современном этапе славистических исследований, когда в значительной степени исчерпаны возможности внутренней реконструкции на фонетическом и морфологическом уровнях, все большее значение приобретают данные лексики в решении вопросов диалектного членения праславянского языка." Samo stran niže pa še tole: "В славистике выдвижение на первый план лексики как одного из показателей лингвоэтнических процессов стало возможным благодаря развернувшейся в последние десятилетия работе по реконструкции праславянского лексического фонда, а также благодаря исследованиям, проводимым по программе "Общеславянского лингвистического атласа".¹²

Odločitev¹³ SAZU za natis omenjene razprave med "Deli" je bila modra. Izid razprave je za prevetritev stališč in duha, kakršen je vladal v slovenski dialektologiji, prišel zelo o pravem času, kakor po naročilu. ISJ je namreč malo poprej prebolel naporno delovno fazo, med katero so bili malone vsi sodelavci maksimalno obremenjeni s pripravo SSKJ, vse druge aktivnosti pa potisnjene v senco. Ko je bilo nekdanje more konec in so pritiski popustili, odkar je SSKJ na voljo v petih knjigah, tudi že v eni — letos je menda izšla "delno popravljena" izdaja in izdaja na disketah — lani celo v odzadnji verziji (odkar pojejo svojo sirensko pesem računalniki, je komajda še mogoče slediti vsemu dogajanju), ne bi smelo biti več nobenega zadržka, da bi zraven del, ki tečejo po raznih slovarskih sekcijah, komisijah in podkomisijah — v sporazumu med "odgovornimi" in delavci — ne mogla biti sprejeta v redni program še izdelava "Vseslovenskega narečnega slovarja".¹⁴ Ob pobudah zanj nekateri vidijo kup strahov^{14bis} in vneto naštevajo resnične ali samo namišljene, jaz pa rajši prisluhnem glasu, stvarnemu, premisleka vrednemu, ker je prišel iz samega ISJ in pravi, da "površina, ki jo zavzemajo slovenska narečja, ni tolikšna, da bi je v slovarskem pogledu ne mogli zajeti".¹⁵

Ce smo že omenili Slovence v Avstriji in *Thesaurus* njihovega ljudskega jezika, le pogledjmo še v Italijo, ki ji je po prvi svetovni vojski bila dodeljena pribl. četrtnina Slovencev. Vendar je že leta 1866 ostalo v mejah Italije 30 do 40 tisoč Slovencev v jezikovnem polotoku, kamor je 1873. usmeril svoje znanje in mladeniške raziskovalne moči docent peterburške univerze J. Baudouin de Courtenay, po rodu Poljak. Po zaslugi njegovih strogo znanstvenih publikacij so ti kraji —

“Beneška Slovenija”/Slavia Friulana¹⁶ — in prav posebej njen najzahodnejši del, Rezija, v mednarodni jezikoslovni literaturi še zmerom enkratna prikazen.

Med dvema vojskama, ko so Italijani zasnovali svoj ALI (Atlante Linguistico Italiano), je Ugo Pellis, eksplorator za celo Italijo, konec 20. in na začetku 30. let izpolnil vprašalnice v 12 slovenskih krajih. Po njegovih ohranjenih zapiskih s polstoletno zamudo pospešeno izdajajo ALI na njegovem starem sedežu, pri univerzi v Torinu.¹⁷ Bolj ekspresne obdelave je bilo deležno novo nabrano slovensko narečno gradivo v ASLEF (Atlante Storico-Linguistico-Etnografico Friulano), ki ga je sredi 60. let na lingvistični stolici univerze v Padovi zasnoval in s svojimi sodelavci tudi že pripeljal v pristan G. B. Pellegrini.¹⁸ Kot glavni urednik si za raziskavanje slovenskih krajev ni pomišljal pritegniti tudi slovenske strokovnjake. Nekatere z jezikoslovnega stališča posebej pomembne kraje je doletela celo redka sreča, da se bo njihovo narečje dalo preverjati kar po več tirih (zapisih): Rezija: nedoločno in Solbica/Stolvizza. Osojane/Oseacco (ALI, ASLEF, SLA, OLA, ALE [=Atlas Linguarum Europae]), Ter/Pradielis (ALI, ASLEF), Depalja ves/Laglesie-S. Leopoldo (ALI, ASLEF), Sv. Križ pri Trstu/S. Croce (OLA in ALM [=Atlante Linguistico Mediterraneo]).¹⁹

II. Nekaj izbranih zgledov iz rezijanske leksike

Zagovajam in ponavljam misel, v prvem delu tega pisanja prirejeno prosto po V Smole²⁰: namesto praznega duhovičenja naj bi vsak od nas — s peresom v roki — ujel prvo in vse druge priložnosti, da prisluhne, kjerkoli, živemu govoru in prispeva svoj delež pri zapisovanju ljudskega besednega zaklada in skupaj s podobnimi “zagnanci” pomaga reševati pozabe in ohraniti za prihodnost, kar je danes (vendar: doklej še?!) bolj ali manj živo in čaka na dela voljne nabiravce/paberkovavce.

Za tukajšnji vzorčni prispevek sem segel med svoje rezijanske zapiske 1962–1976 in iz njih odbral pet gesel. Prizadeval sem si ogniti ponavljanju, predvsem besed, ki jih je J. Baudouin de Courtenay (odslej: BdC) uvrstil v svoj “Rezjanskij slovar”. Le-ta bo — upajmo — kmalu izšel v Ljubljani kot skupna publikacija SAZU in RAN [= Ruska akademija znanosti] v trojni redakciji N. I. Tolstoj – M. Matičetov – A. D. Duličenko, zato ne bi bilo v redu anticipirati izsledke, ki so sad skupnih prizadevanj urednikov in bojo v kratkem objavljeni.

Besednjaku, ki ga je BdC pod konec prejšnjega stoletja zasnoval, leta 1903 odložil in dal v hrambo arhivu RAN v Peterburgu, bo brez dvoma moral slediti še eden, širši po obsegu in zasnovi: “slovarju

rezijanskih govorov (se) glede na obsežno zapisano gradivo in bogate magnetofonske zapise ponuja koncept popolnega slovarja²¹. Tega pa se bo mogoče lotiti šele takrat, ko bojo pregledno urejeni vsi rezijansko pisani dokumenti (tudi literarni!) in transkribirani vsi znani posnetki.

1. Drívanji, adj.: *drevišnji*; odtod adv. *tuw drívanjen* O: *prídi, ko to bo tuw drívanjen* (*prídi, ko bo šlo proti večeru, ko se bo začel delati večer*), inform. Minka Santič (gl. Prostor in čas, 1972, 4, 281 sl.). V Cafovi obliki "do drevešnjega" (Plet. "bis heute abends") zaradi š-ja sredi besede ni misliti na zvezo z Rezijo. Ta oblikovna paralela k *dávinji* (Plet. I, 123) ima ustreznico tudi v rez. adj. *snúkanji* B; *to snúkanje plésanje* O (sep. 1997)²²; "žööö — *to snúkanjee!*" O (Jaaa, za snočnje: Glasno sporočilo dekleta svojemu *junáku* "ljubemu", da zdaj mirno lahko "pride v vas", potem ko ga je prejšnji večer zavrnila, ker ni bila sama (R 7, 22 1965). Za dva večera nazaj je v rabi adv. *presnúkanjen* "pre(d)snočnjim"; iz *wčëra* imamo adv. *prawčëranjen* O (sep. 1997), od doma s Krasa pa se spomnim, da so naši stari namesto *pre(d)včërajšnjim* rekli *prevčëranjem*. Za prihodnost je od rez. *zútra* nastalo *pozútranjen* "pojutrišnjem". V ti zvezi pa ne smemo molče mimo oblikovne podobnosti: iz adv. *laní* so Rezijani razvili adj. *lanínji* B "lanski" (R 3, 99 1963).

Če se iz Rezije v mislih preselim za hip domu na Kras, zaslišim dvojnik rezijanskemu adj. *lanínji*. Ob godcu, ki iz svoje harmonike ni znal izvleči kaj prida in je spraševal poslušavce: "Katero naj še zagodem?" se je večkrat našel šaljivec, ki mu je svetoval: "*Ta-túd-njo!*" (= Pravkaršnjo, tisto od prejle). Razvojna naključja so nas pripeljala do skoraj popolne pomenske in oblikovne enakosti dveh besed na dveh koncih; ločita se samo po naglasu: Kopriva ima *túdi*, Bila v Reziji *tudí*. BdC (M I, §196) navede zraven *tudí* "soeben, jetzt vor kurzem") še sinonim *tóčikäj* in oba pokaže skupaj, ko da bi šlo za besedi iz enega kraja, kar seveda ne drži. Leta 1966 sem se prepričal, da je *točikëj* (R 6,45) iz Osojan, *tudí* iz Bile. Po analogiji z *laní* — *lanínji* bi od *tudí* pričakovali adj. **tudínji*, ki pa ni potrjen kakor kraški *túdnji* ali kamniško-litijski (Svetčev) *otódnji*; na *otodi* — dol. paralelo h kraškemu "túdi" in rez. S *tudí* — sem prvič naletel pri Jurčiču ok. 1933, ko še nisem poznal Pleteršnika.

Narečja si znotraj lastnih mej zmerom izoblikujejo vsako svoj sistem za določanje časa²³. Da bi se ti "sistemi" med sabo ujemali, pa ni nujno; to sem spoznal 1940. na desnem bregu Tera, kjer npr. za "prevčërajšnjim" pravijo *olumlë/olomlë*, za predlanskim pa *olômlete*.

Redakcijske pripombe: Vsako rezijansko besedo spremlja — zunaj oklepaja — okrajšana oblika imena vasi, od koder prihaja. (V Pleteršniku, v Bezlajevem Etimološkem slovarju in še kje srečamo samo posplošeno navedbo "Rez.", kot da gre za nekakšen "množični grob"). V dokaz, da to ni zadosti, naj navedem samo deležnik glagola "iti": šal (N), šil (B), šel (S), šow (O), pri čemer N pomeni Njiva, B = Bila, S = Solbica, O = Oso(j)ane. Znotraj oklepaja sem dodal R kot splošno kratico svojih dnevnikov iz R(ezije), s tekočo št. zvezka — od 1 do 25 — za tem pa stran in letnico zapisa. R zunaj oklepaja bi pomenil Rávanco.

2. [*Kuga] *küa*, f.: nahod, prehlad — *si básen küe* S (sem poln k., R 11,76 1966); *mân zanâto láwo*, *ne mören tēzat düšo* — *mân küo* S (imam zaprto/debelo glavo, ne morem dihati — sem prehlajen R 24, 13 1974); *ta mišja küa* (mišja kuga R 12, 2 1966). Najbrž omejeno na Solbico. Sinonim: *panüda* O (*si básana panüde* R 6, 65); paralele (furl.?) mi niso znane; *si jew panüdo* O (sep. 1997). — Kadar sem od Rezijanov želel pojasniti k ti ali oni temni besedi, so mi v odgovor skoraj zmerom vpletli — nehote in nevede — kako novo uganko; tako sem dobil tudi tukajšnjo *zanâto láwo*, pri čemer je zaradi solbaške onemitve *gláwa* "glava", *zanâta* pa bi mogla biti "zaprta", "zamašena" ali "odebeljena", odvisno pač od tega, ali se oslonimo na Plet. II. 830 *zagnâti* — 3) ali 824 *zadniti*. Pravi odgovor je kajpada še skrit v Reziji.

Poimenovanje tega bolezenskega stanja s hudo besedo "kuga" bomo lažje razumeli, če pomislimo na razsajanje nalezljivih bolezní v srednjem veku (obsplošni higienski nemarnosti), nato v času nerazvite zdravstvene službe pred uvedbo obveznega cepljenja otrok (ponavadi prvih žrtev okuženja). Nahod je prihajal v spremstvu s kihanjem (kihniti rez. *se skr̄smnot* S (R 12,2 1965); *sk̄r̄snot* O (sep. 1977), *si se Kr̄smala ves den* "sem kihala ves dan", kašljem (*kášej*), oslovskim (pertussis) ali drugačnim (rez. *mišja küa* mi je uganka; enako *ta nōri kášej* O, sep. 1997, prim. furl. *tās pajáne* = poganski kašelj?). Po izročilu v Reziji, na Koroškem in drugod je bilo kihanje znamenje/napoved bližnje nagle smrti, odtod nekdanje obvezno voščilo ob vsakem kihju: "buhpomagej!" ("Buh ti pomágej!" O, sep. 1997). Zdravnik, s katerim sem se nedavno pogovarjal o nahodu, prehladu ipd., pa me je obdaroval z lepo novostjo. Iz svojih predšolskih let doma na Peči pri Mirnu se je spomnil, kako ga je (tamle enkrat pred 70 leti) zaskrbelo, ko je slišal ženske — materine vrstnice — omenjati "pošast", ki da se loteva njihovih otrok. Zaupal se je mami, ki mu je lepo razložila, kaj je to: hud nahod/prehlad, s kašljem in krči, da otroci kar pomodrijo, ko ne

morejo do sape (dr. R. Bobič, moj nekdanji goriški sošolec, 5.12.1996, ustno).

Beseda, v tem pomenu spričana v gornji Vipavski dolini tudi privedniško (*pošasten* in *zadnit*, Vrtovec 1844), je blizu izliva Vipave v Sočo dosegla naše stoletje. Na Tolminskem in v gornji Soški dolini, kjer je pred dobrimi sto leti prišla v Ejlavčevo "Potno torbo" in od tam v Pleteršnikov slovar (II 178: *pošâst* — 4: "der Schnupfen/Strauchen") se mi je do zdaj ni posrečilo najti pri življenju. Pač pa se je nepričakovano prikazala v Brdih "Mam pošâst" (Medana, pov. sep. 1997 g. H. Srebrnič, r. 1913).

Znana je bila tudi Hrvatom — kot *pošast* in *pošest* — v naši jugovzhodni kajkavski in čakavski soseščini, menda za vsako nalezljivo bolezen; ob adj. *pošastan* pa stoji razlaga "kužan (epidemisch)" (RJA 11, 1935 in L. V. Kurkina 1992, 171). Do podobnih pojmovnih analogij je prihajalo tudi med vzhodnimi Slovani: prim. ukr. не *житъ* (nežit) in prav posebej belorusko *ношасць* (*pošasc*).

Nahod pri nas prvič srečamo pri Megiserju 1603 kot "catarrhus". Stari slovenski leksikografi pa nam zraven nahoda in pošasti prinašajo tudi *našest* z adj. *našesten* (Caf, obakrat brez naglasa), Gutschmann (1789, 152 *našistje* Plet. I 672 rekonstruiral v **našestje* "Katarrh" in adj. *našistjen* "schnuppicht" 266).

Jasno nam mora biti, da je pri razlagi nastajanja in preoblikovanja besed, pomenskih prenosov ipd. nujno upoštevati ne samo razne mehanično-fonetične zakonitosti, ki delujejo znotraj jezika, ampak tudi skrivne, nikoli zadosti preiskane vplive predstavnega sveta, verovanj in vsega, kar (je) kdaj spremlja(lo) človeka, nebogljenega, odvisnega od narave, zmedenega ob znamenjih njene nenaklonjenosti.

Da, tudi taka vprašanja so zadnje čase vznemirjala moža, čigar spominu je posvečen tale zbornik znanstvenih razprav, zato ni čudo, da je N. I. Tolstoj med drugim opazil in podčrtal besedo *pošasc* in nam nadvse skrbno povzel poročilo A. K. Seržputovskega (1930), kaj vse so v neki beloruski vasi počeli, da bi personificirano "Pošast" ustavili in prepričali, naj vendar obide njihovo vas in si gre rajši iskat drugo, "boljšo".²⁴

3. na: Plet. I 623 s.v. *nâ*- II. adv. piše, da "v sestavah z adjektivi, katerim daje pomanjše valen pomen (rabi se tako le redkoma); *narus* (etwas braun), *nabel* (etwas weiß), *načrnjel* (e. roth), C."; tem trem zgledom je torej skupen vir Caf in mislim, da najbrž vsi prihajajo iz ust enega informatorja, Rezijana D. Longhina, ker je Plet. I 664 že prvega predstavil takole: *narus*: adj. rōthlich, Rez. C". Najboljše potrdilo pa so nam pričevanja, zbrana v Reziji od leta 1962 sem: med

pripovedjo, kako je nekoč v visokem poletju na sv. "Santaròk" (16. avg.) zapadel sneg in sicer "črnjeli" *wniti* (?) *sni[h]*"; pri opisu barve tega snega je prišla na dan beseda, ki mi je bila nevsakdanja; transkribiral sem jo "nádil" S (recte *nábil*: R 15, 23 1968), ker je pač msem poznal, saj dotlej na to rezijansko posebnost nisem naletel ne v živo ne v literaturi o Reziji, pa tudi nad rezijanskim deležem v Pleteršmku takrat še msem imel pregleda (Traditiones 10–12, 1984). Sledili so zapisi: *náçrno* "črnkasto" S (R 15, 19 1968) in v italijanskem črkopisu izpod peresa Tine Wájtave dobljena primera *si nacerna tei uoioiar* (sem na črno [umazana] kakor oglar — R 16, 50 1968); zelo povedni so tudi opisi, kakšne barve so bile živali z imeni: koza "bílka" = *nábila* (zmučani kolör — R 17,5, 1969); kravi "zizíla" = *nábila* B (R 17.20 1969) in "bònja" = *nábila* ("na ta bjóndasti krej", ibidem).

Jan Kollár (1793–1852), pisatelj, pesnik, profesor starinoslovja na Dunaju, je na svoji poti iz Pešte v severno Italijo, na Tirolsko in Bavarsko, med obiskom o. Krka 1841. omemil, da "Slovani" na Kranjskem (v Krajini?) in v Istri nosijo vrhno obleko in nogavice "z črného aneb náçerneho sukna".²⁵ Srečanje s češkim "náçernim" me je spomnilo na rez. *nábilo*, za kar se moram pravzaprav zahvaliti zagovornikom teze o Slovencih kot staroselcih = Venetih. Ko sem se, željan pouka o stanju te posebnosti na Češkem, obrnil na prof. Ludvika, mi je ljubeznivo kot zmerom postregel s kopico barvnih paralel (náçervený, náhnědý, názelený...), več kot jih je pri Miklošiču (V. Gr. II, Heidelberg 1926², 358); take oblike med češkimi jezikoslovci veljajo za starinske, podobno kot pri nas. Samo Rezija se ne dá in vztraja pri oblikah, ki so znane še iz časov Registra k Dalmatinovi Bibliji 1584 (glej: *na erdez*h).

4. *Úbac*²⁶, m.: na vas Njiva omejeno ime za ovčjega samca, ki mu v Bili pravijo *mulòn* (prim. furl. *moltòn*), na Solbici *ovèn*, v drugih rezijanskih vaseh *ovæn*, *ownà* — Po dolini kroži zgodbica o ženski, ki se je hvalila, da zna italijansko. Ker ni vedela, kako se reče ovnu po it., se je iz zadrege skušala rešiti opisno: "l'uomo della pecora". (Memento vsem, ki pravijo, da so Rezijani dvojezični!)

5. *Um*, m.: S, 1818, Buttolo: "rabbia" (Perusini-Matičetov, RS, 1956, 4, 86). Caf 1840–1850 — iz Bile — "der Zorn"; *na umu biti* "zornig sein". Med besednim gradivom, ki ga je v Reziji nabral 1873. BdC in ga po dvajsetih letih uvrstil med svoje "Materiale" (odslej M) I, § 129. najdemo podoben zgled z Rávance, *ty sè nauimo* "du bist wüthend/erzürnt", kar bi se, preneseno v infinitiv — lahko glasilo "bet na úmo"; zraven pa so naštetí še trije drugi zgledi, ki bi z

infinitivom *stat + na + um* v 5. sklonu dali "stat na úmo" in se v M I § 129 glasijo: *Ja stüjyn/ty stüjýš/stujýtē naúmo* (Ich stehe, du stehst, ihr stehet wüthend). Vendar pri BdC najdemo še drugačno prepozicijsko zvezo: *za + ũum* v 6. sklonu: *An... se drážel, k an tēl se osrēt za ũimon* (M I § 1125: "Er wurde böse, so daß er sich vor Wuth beinahe beschiß" — Se je tako jezil, da se je malone osral od jeze). Pa še tole: *An tadáj an ju žbridinēl za ũimon* (M I § 1126): "und darauf schlug er sie [beide] in seiner Wuth in stücke" — in tedaj ju je od jeze raztrgal).²⁷ Plet. II 1895, 721: *um -2* se tu sklicuje na svoj poglavitni vir za rezijanščino, *Caſa*, od koder je v svoj Slov.-nemški slovar I–II 1894–95 sprejel ok. 700 diferencialnih rezijanskih gezel. Za to gradivo mirno trdim, da prihaja večinoma iz Bile, od koder je bil po rodu *Cafov* informator D. Longhino (1808–1868, gl. Traditiones 10–12, 1984, 234–235).

Za glagol *úmat* po letu 1818, ko se je prikazal skupaj s prvim zapisom besede *um*, do nedavnega mi bilo več pričevanj. Drugače je s pridevnikom *úmast* — BdC ga ima 1873. z Rávance: *Ja si úmast* (M. I § 1295 "Ich bin erzürnt/wüthend"), prišel pa je na dan še skorajda sto let kasneje v Osojáh: *úmast* (R 6, 45), v povezavi s srdom: ne ga *usérdet*), in še sep. 1997: *Káko ē wumast jti* (Kako je ta jezen). Vi prenesenem pomenu beseda *um* še zmerom živi npr. v uganki: *Zakój Sart ma um Canēn?* (Zakaj se Sart jezi na Kanin? Odg.: Ker ima K. v svojem pogorju dve "babi" [= dva vrha z imenom Baba], Sart pa niti ene ne!).²⁸ In nazadnje se je ta beseda znašla še v naslovu osojske pravljice mednarodnega tipa AT 200: *Zakój ma pēs um na túčico* (R 6, 21 1964 — Zakaj je pes hud na muco?)

Doslej se je vse sukalo le okoli nekega psihološkega stanja — občutka jeze. Italijansko-furlansko pojasnilo, ki ga je BdC dobil od hčerke rávanskega gostilničarja Marice Lipine k adv. *naúmo* = "Io sono rabbioso/rabbiato, broncio", "muse serie" je poljskega lingvista najbrž spodbudilo, da si je v tem ali onem italijanskem slovarju poiskal razlago za besedo "brancio" in zgoraj omenjeni nemški "erzürnt/wüthend" okrasil z nadrobnostmi tipa "mit finsterem Gesichte", "mit gerunzelter Stirn".

Za to, da smo raziskovavci nevsakdanje besede *um* zapustili abstraktna pota, dali slovo metaforiki à la "temno obličje", "muse serie", "nagubano čelo" ipd. in pristali na trdih tleh, smo dolžni zahvalo ženici, priseljem izpod Sarta in Kamna v furlansko industrijsko mesto Pordenün: nüm Tini Pielich Wájtavi s Solbice (1900–1983, gl. Traditiones 13, 1984, 191–194). Na robu mesta, v hiši njene hčere se je marsikdaj zvečer zbrala družčina prijateljev, znancev, sorodnikov,

kolikor bi jih tako na hitrico ne mogel spraviti vkup niti v sami Reziji: tam se namreč ne bi bili mogli sklicevati po telefonu, kakor so se tukaj. Udeleženci teh improviziranih srečanj so bili celo iz raznih rezijanskih vasi: vse voda na moj mlin in prispevek k bolj napetemu ozračju, ko je nuna Tina pravila pravljice nekomu, ki jo je prišel poslušat in snemat iz Ljubljane. (V domači dolini so bili ljudje snemanj že vajeni in niso bila tako mikavna). Pravljičarko pa je to spravljalo v boljše razpoloženje in spodbujalo k večji živahnosti. Bila je duša priložnostnih srečanj, na katerih se je včasih znašla tretjina rezijanske kolonije v mestu in okolici. V rezijanski hiši na periferni ulici z imenom (simboličnim?) Viale Rotto, je prišla na trak malone polovica Timinega folklornega repertoarja, ki v celoti obsega več ko 400 tekstov. In prav tu je zvečer 25. nov. 1966 odpadla tudi z besede *um* zadnja tenčica skrivnostnosti...

Od nune Tine Wajtave smo torej zvedeli nekaj bistvenega: *wum* prvotno ni nič drugega kot žolč (it. *cistifellea*), mešiček, ki se drži jeter; v njem se zbira tekočina, *to zalēne*, [*g*]jörjupo, lat. *fel*, *bilis*, gr. *χολή/χόλος*. Pač klasičen zgled, kako je iz imena za del telesa, po obsegu skromen, nastala in se razrasla pomembna, razvejena besedna in pojmovna družina; obrobno zahodnoslovensko narečje je iz besede *um* razvilo celo denominalni glagol *úmat*, ki mu knjižna slovenščina ne more postaviti ob stran nič podobnega; morda najbližjo paralelo lahko pokaže šele stara grščina: *χολάαω/χολόω*.²⁹

*

Ko sem v spomin prijatelju Nikitu Iljiču Tolstoju iz svoje globoke in — leksikalno — skoraj še nedotaknjene rezijanske skrinje danes zajel nekaj mikavnih besed, si ne morem kaj, da se na dnu petega in zadnjega besednega zgloda ne bi malo poigral in ga zarobil po svoje: z dvema pesmicama, kjer sta se po presledku stopetdeset let iz osrčja Rezije spet oglasili besedi *um* in *úmat*. Tokrat ne kot sad šablonske lingvistične ankete ali nadvse skrbno pripravljene vprašalnice, ampak spontano, v sproščem verzih, ki so morda prišli na dan iz čistega veselja, združenega z občutkom hvaležnosti, ker so se v dolini vendar enkrat znašli pravi ljudje, voljm prisluhniti njenemu duhovnemu bogastvu, ki so ga v čudoviti gorski odmaknjenosti stkali rodovi Rezijank in Rezijanov. Besedi nista bili zajeti v togem jezikoslovnem, ampak v živahnem liričnem kontekstu.

Vem, da mi prijatelj Nikita, ki ni bil samo eminenten jezikoslovec, ampak — s podedovanimi gem — tudi zelo občutljiva pesniška duša, tukajšnjega mešanja/prepletanja žanrov, se pravi spogledovanja filologije s poezijo, ne bi nikdar zameril ali imel celo za zgrešen korak.

Le kako: saj se je v krajih, kamor je dolga leta vodil svoje etnolingvistične ekspedicije, v ljubljeni deželi, ki je bila prizorišče njegovih zadnjih terenskih raziskav, ki je velika za sto in več Rezij — ime ji je Polesje — brez dvoma nemalokrat tudi sam znašel v zelo podobnih situacijah, ko presenečenja-odkritja kakor da vrejo kar iz tal...

Zdaj pa pogledajmo že napovedani pesmici — recimo jima jezni/“úmasti” — vzeti iz antologije “Rožice ziz Rezje” (1972, št. 40–41),³⁰ posvečene J. Baudouin de Courtenayu ob stoletnici njegovega srečanja z Rezijami in rezijanščino.

Prvo je naslovil — ob kaki drobnj zameri — junak svoji izbranki, druga je njen ponosni, odrezavi odgovor:

Da lejo, lejo, ke na je.
ta prenatyta rožica.
ke na je wuma básana.
Da nutar h Bili na pujdè,
nu trykrat wodo prabradè,
ka jiti wum če ji prejtèt!

Le glejte jo, le glejte jo,
oj to preteto rožico,
kako razganja jeza jo!
Kar naj tje noter k Bili gre,
prebrede trikrat naj vodò
in jeza ta ji bo prešla.

(Korito 1963)

Kaku se pášajo mogle
un čiz te göre visoke,
fes tej ku wuma lipa mâ.
Ma an će dóbro ji vilèšt
nu nuw mó glawo an ée wlèšt.
a na viláža takoj prešt.

Kakor se pasejo meglè
gor čez te gore visoke,
tako jezi se ljubi moj.
Ga jeza že minila bo.
Al će popade inene kdaj,
ne bo šla tako kmalu ven.*

(Osojane 1969)

OPOMBE/NOTAE — Sublinea

¹ L. Karničar. *Koroška narečja kot most do slovenskega knjižnega jezika*. — JiS (=Jezik in slovstvo), 1993–1994, 39/6, 219–227. — *Obirski dialekt v luči graškega raziskovalnega projekta*. — Zbornik SLS 1990. Zborovanje slavistov ob stoletnici F. Ramovša. Ljubljana, 1991, 96–109.

² Л. В. Куркина. *О лексических архаизмах тольминского диалекта*. — Razprave II. r. SAZU, XV. Ljubljana, 1996, 36–37.

³ F. Ramovš. *Karta slovenskih narečij v priročni izdaji*. — Ljubljana: CZ. 1957, 12. (Ponatis izdaje 1935. kjer beremo: “Za nazorno sliko jezikovnega razvoja zadostuje, če upoštevamo... strukturo vokaličnega in konzonantičnega sestava, točen prikaz akcentuacije in pomembnejše oblikovne in leksikalne posebnosti”).

⁴ V. Smole. *Vseslovenski narečni slovar: da ali ne*. — JiS 1992–1993, 38/6, 233–235.

⁵ V. Smole. Gl. op. 4.

⁶ F. Novak. *Predstavitev zamisli o zapisovanju besednega zaklada govorjenega jezika v posameznih krajih*. — "Maks Pleteršnik". Zborovanje slavistov: Krško in Pišcece 1994. (Zbornik SDS 5). Ljubljana, 1997, 107–113.

⁷ A. Breznik. *Ljudski jezik*. P.o. iz: *Narodopisje Slovencev II.* (Založba "Klas"). — Ljubljana, 1945, 1–11 [objave še v letih 1946, 1952 in 1982: A. Breznik. *Jezikoslovne razprave* (ur. J. Toporišič). — Ljubljana, 1982, 379–387].

⁸ O njem je pri nas menda prvi spregovoril F. Jakopin: *JiS*, 1982–1983, 28/6, 202–203.

⁹ L. Karničar. *Der Obir-Dialekt in Kärnten, Die Mundart von Ebriach (Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/See und Trgöern Korte*. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Histor. Klasse, Sitzungsberichte, Bd. 551). — Wien, 1990.

¹⁰ Za temeljno informacijo prim.: T. Logar. *Razvoj slovenske dialektologije kot lingvistične geografije po F. Ramovšu*. — Zbornik SLS — 1990. Zborovanje slavistov ob stoletnici F. Ramovša. Ljubljana, 1991, 75–78. Za nadrobnosti pa moramo počakati, da izide *Vodnik po zbirki narečnega gradiva (SLA2)*; pripravlja ga F. Bedenik.

¹¹ V. Smole. K. Kenda-Jež. *Dosedanje delo in bližnji načrti mednarodne komisije za sestavo slovanskega lingvističnega atlasa (OLA)*. — SR (= Slavistična revija), 1996, 44, 94–105.

¹² Л. В. Куркина. *Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики*. — Ljubljana, 1992, 26–27.

¹³ Do nje je prišlo (gl. F. Jakopin v predgovoru) na podlagi poročila treh recenzentov: akademikov T. Logarja in F. Jakopina in dop. člana J. Orešnika.

¹⁴ Upanje nam zbuja svež veter, ki ga je tuintam moč začutiti v jadrnih (nemara tudi po zaslugi razprave L. V. Kurkine); kaže se npr. v takih refrenih: "Pred slovenskimi slavisti... je veliko dela. Izbrati in obdelati je potrebno narečno gradivo in izdelati slovarje posameznih govorov oz. Narečij in sestaviti vseslovenski narečni slovar" (M. Hajnšek-Holz. *Narečno besedje v SSKJ*. — Razprave II. r. SAZU XV, Ljubljana, 1996, 127).

¹⁴_{bis} Poglavitni bo najbrž ta, da za zbiranje živega besedišča iz ljudskih ust do danes še niso izumili nobenega tehničnega pomagala, niti najvadnejših podkvastih grabljic, kot jih rabijo divji nabiravci borovnic. "Lovci besed" smo od nekdaj samo nerodni ročni delavci, pešci, ki se s svojimi količinsko skromnimi dosežki nikdar ne bomo mogli kosati s kolegi v konjskem ali motornem sedlu. Zagnanci (če naj si še enkrat sposodim to posrečeno metaforo V. S.) ne smemo dovoliti, da nas dobro preskrbljena motorizirana konkurenca povozi. Če se bomo s kakovostno zrelemi, prepričljivimi sadovi svojega dela pogosto, organizirano oglašali, se bojo med "odgovornimi" prej ali slej le našli tudi pametni, ki bojo spoznali, da naša akcija ZRNO DO ZRNA ni od muh in da mimo nje ni mogoče: najučinkoviteje bô jo podprli, če bi jo precej vzeli za svojo!

¹⁵ *Dileme ob zajetju in obdelavi slovenskega narečnega leksikalnega gradiva*. — *JiS*, 1982–1983, 28, 123–127.

¹⁶ R. Dapit. *La Slavia Friulana... Bibliografia ragionata. — Beneška Slovenija... Kritična bibliografija. — Čedad/Cividale, 1995.*

¹⁷ Začasno informacijo o začetkih in zbiranju gradiva (tudi slovenskega) gl. M. Matičetov. *O etnografiji in folklori zapadnih Slovencev. — Slovenski etnograf, 1948, 1, 45–48.*

¹⁸ G. B. Pellegrini. *Introduzione all'ASLEF. — Padova, 1972; Isti [s številnimi sodelavci, uredniki, redaktorji ipd.], ASLEF I–VI. — Padova, Udine, 1972–1986. Izšlo tudi že nekaj komentajev.*

¹⁹ Cfr. S. Škerlj. *Isoglosse mediterranee nelle parlate slave di Ragusa l'ecchia (Cavtat) e di S. Croce (Sv. Križ) presso Trieste. — Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo, Venezia, 1972, XII.*

²⁰ V. Smole. Gl. op. 4.

²¹ S. Horvat. Gl. op. 15. — Po letu 1982–1983, ko je S. Horvat tako pisala, smo dobili še en delni slovarček iz rezijanske vasi Bila: H. Steenwijk. *The Slovene Dialect of Resia: San Giorgio. — Amsterdam, 1992, 238–338.*

²² Z "O 1997" zaznamovane informacije prihajajo od Rezijanke Cirile Madotto Preščine s Korita (več o nji gl. v *Traditiones*, 1995, 24, 309), ki jo je septembra 1997 na njenem novem domu, v Špitalu pri Guminu, obiskal moj prijatelj Roberto Dapit (z mojo drobno, nalašč sestavljeno vprašalnico o časovnih relacijah v roki). Takrat je bil ta članek v glavnem končan, vendar sem želel razrešiti še nekaj dvomov. Za ljubeznivo sodelovanje obema prisrčna hvala!

²³ V Reziji lahko samo občudujemo veliko natančnost pri določanju časa (*nacò/nicò, snùka, dáve, drive* ipd.); za narečje gorske doline, ki se nezadržno (?) prazni — danes tam "romoní" po rezijansko komajda nekaj nad tisoč ljudi — je to lepo priznanje in pravo nasprotje temu, kar se dogaja v slovenskem knjižnem jeziku, kjer se tisti, ki bi po časnikih, RTV idr. morali skrbeti za pravilno rabo, prepogosto, skoraj že "načrtno" motijo, tako da človek ne razume, kako skozi korektorsko rešeto (sita če je sploh še kje kakšno — so zmerom manj cenjena!) lahko uidejo grobe zamenjave med drevi, nocoj, snoči itn.

²⁴ Н. И. Толстой. *Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М., 1995, 107.*

²⁵ J. Kollár. *Cestopis obsahující cestu do horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem na slavyanské živly roku 1841 konanou. — V Praze, 1862, 61. Ta potopis mi je pokazal, kako neizvirni so današnji "slovenetologi" in koliko slovenskih toponomastičnih trofej jim je podrgno sto let od tega že speljal znameniti slovaški popotnik. S svojimi "odkritji" slovenskih imen proti zahodu se tako radi — vendar neupravičeno — bahajo.*

²⁶ Beseda jc že dolgo na moji zasebni oglasni deski in ne zainudim nobene priložnosti, da ne bi pokazal nanjo. Prej ali slej se bo le našel kdo, ki bo rešil njeno skrivnost. Več ljudi več ve! — Da pa bi se kdo prehitro ne lotil iskanja tujih paralel, pogledjmo najprej, ali do te besede ni prišlo morda po notranjem rezijanskem razvoju. Na primer: kakor je F. Ramovš (*Karakteristika slovenskih narečja v Reziji. — ČJKZ, 1928, 7*) med BdC narečnim gradivom našel za ovco varianto "ouppca", bi se dalo mogoče suponirati:

kaj če nagajivi sosedje iz drugih rezijanskih vasi niso Njivjanom inorda samo podtaknili (si nalašč izmislili, "skovali") za ovčjega samca ime **ówhac, úhac*, da bi se iz njih lahko ponorčevali: "Glejte, še tega ne vejo. da se mu pravi "oven"! Po odgovor/razlago pa bo na vsak način treba še na Njivo!

²⁷ Če v Materialih I, 1895 naletimo na neznane — čeprav mikavne — zglede, je to dokaz, da BdC v rokopis svojega Rezjanskega slovarja pred oddajo arhivu RAN (1903) očitno ni utegnil vključiti vsega gradiva, ki ga je imel na voljo.

²⁸ Ko ne morem nič več popravljati, vidim, da sem to uganko že omenil v spisu: *Resia. I. Dimensione linguistica. — La cultura popolare in Friuli. "Lo sguardo da fuori"*. Udine: Accademia di Scienze di Lettere e Arti, 80, op. 105.

²⁹ A. Dokler. *Grško-slovenski slovar*. — Ljubljana, 1915, 830.

³⁰ Prevod obeh pesmic sem izboljšal. Tudi rezijanska izvirnika bi bil lahko dal v drugačno, osojski izgovorjavi bližjo podobo, vendar naj vsaj še za zdaj ostaneta taka kot sta bila pred 25 leti. Operacijo spreminjanja si rajši prihranim za inorebitno drugo izdajo Rožic.

* Ne morem in ne smem odložiti peresa, ne da bi se prisrčno zahvalil vsem, ki so mi pomagali ves čas, prav posebej takrat, ko sem bil vezan na dom. Niso mi zamerili nadlegovanja po telefonu, ampak so mi preskrbeli marsikaj, brez česar bi bil moral to pisanje s težkim srcem odložiti. Da sem ga vseeno dokončal, so vsak po svoje zaslužni: dr. R. Bobič, prof. D. Ludvik in M. Skubic, bibliotekarka ISN S. Zemljič-Golob, C. Preščina s Korita v Reziji, furlanski prijatelj R. Dapit, najbolj pa S. Torkar, ki me je z dobro besedo in nasveti reševal iz krize in si vzel tudi čas za branje rokopisa.

Han Steenwijk
Chošebuz/Cottbus

RESIANISCH *JĚRU* 'PRIESTER'

Этимология — словенский язык — резьянский диалект — церковная терминология — отношение к греческому и немецкому языкам

1. Einführung

Das resiansche Lexem *jěru* hat seit den Anfängen des Studiums dieses slowenischen Dialektes die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. So schreibt Jan Potocki, der in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts Resia besuchte: "Ein sonderbares Denkmal hat sich in der Sprache der Resianer erhalten. Sie nennen einen Priester Jero oder Jerun. Diese Benennung ist griechischen Ursprungs und scheint zu beweisen, dass die Resianer zu einem der slavischen Zweige gehören, die ihren Glauben von den Griechen und nicht von den Lateinern erhalten haben" (Longhino 1984, 19).

Der heutige Stand der etymologischen Analyse dieses Lexems hat sich von Potockis Hypothese nur wenig entfernt (s. Bezlaj 1976, 226–227): Es wird noch immer auf sie verwiesen¹, aber nicht ohne zu gleicher Zeit eine problematische Seite dieser Erklärung zu betonen. Obwohl im Serbokroatischen das sicher aus dem Griechischen stammende *jerej* 'Priester' ein Begriff der orthodoxen Kirche ist, werden die slowenischen Belege alle auf dem Gebiet des ehemaligen Patriarchats von Aquileia gefunden. Diese weiteren Belege sind *jer* 'Priester' aus dem *beneško* und die Toponyme *Jerova vas* (Grosuplje), *Orova vas* (Polzela) und *Jermbas*.

Die „griechische“ Etymologie gilt also für die slowenischen Formen keineswegs als gesichert. Deshalb möchten wir die Hypothese an dieser Stelle kritisch überprüfen, wobei wir uns auf das resianische Material beschränken werden. Es wäre aber interessant um festzustellen, in wie weit für die sonstwo im slowenischen Bereich belegten Formen unseres Etymons eine ähnliche Erklärung, wie die hier für das Resianische zu erbringende, gegeben werden könnte.

2. Die formalen Eigenschaften des Lexems

Bevor mit der Analyse angefangen werden kann, müssen die

phonologischen und morphologischen Eigenschaften des resianischen Lexems diskutiert werden. Die heute belegbaren mundartlichen Formen sind *jëru* SG², *ëru* G, *ëruw/ëru* O und *jëro* S. Auslautendes *n* kommt nur in Potockis zweitem Beleg *jerun* vor und ein auslautender labialer Konsonant ist, außer in der Oseaccoer Variante, noch in der auf Oroslav Caf zurückgehenden Form *jerov* bei Pleteršnik (1894, 367) zu verzeichnen. Alle anderen Quellen zeigen einen Nominativ, der auf einen Vokal lautet, z.B. *jero* (Valente 1868), *ærö* O (BdC 1875a, 20). Weitere morphologische Formen des Lexems zeigen, daß dieses auslautende *n* oder *w* sekundär sein muß, denn diese Formen werden auf einen Stamm *jër-ër-* aufgebaut, so z.B. Gsg *jëra* SG, *ërä* O und adj poss *æröve* 'des Priesters' (BdC 1875a, 82) (= *ër-ov-e*). Eine Erklärung für das Erscheinen solcher sekundären Konsonanten möchten wir hier nicht geben; es sei nur auf die Parallele zum auslautenden sekundären *n* in der von dem Informanten als Archaismus produzierten Form *patarchun* L 'fünfzig' ← *patardu* ← **pæt rədov* und zum auslautenden sekundären *w* in *stuw* O 'hunderd' ← *stu* ← **sto* verwiesen. Dieser letzter Beleg stammt zudem von der gleichen Informantin, die *ëruw* produzierte.

Damit lautet der Nominativ unseres Lexems auf einen Vokal. Maskuline Substantive mit auslautendem Vokal im N(A)sg sind im Resianischen relativ selten. Erstens gibt es eine Reihe friulanische Lehnwörter auf fr. *-i*, die in Oseacco und Stolvizza einen Nominativ (Accusativ) mit auslautendem Vokal aufweisen, z.B. *libre* O, *libri* S 'Buch' ← fr. *libri*. Wenn eine Endung an den Stamm tritt, wird dieser erweitert um *-n-*, also Gsg *librinā* O, *librina* S³. In San Giorgio und Gniva ist dieses *-n-* analog an den Nominativ(Accusativ) getreten: *librin* ~ Gsg *librina*. Zweitens gibt es italienische Lehnwörter auf ita. *-o*, die in zwei Gruppen zerfallen. Die erste Gruppe zeigt res. *-ö* SG, O, S, *-u* G im Auslaut, z. B. *metrö* SG, S, *metru* G 'Meter' ← ita. *metro*. Um solchen Lexeme in das resianische morphologische System einzupassen, wird der auslautende Vokal von einem Suffix *-in-*, wohl analog entstanden durch Uminterpretierung des *-i-n-* der gerade erwähnten friulanischen Entlehnungen, ersetzt, z.B. Gsg *metrina* SG, G, S. Vor allem in Stolvizza kann aber auch unter Umgehung des Suffixes dekliniert werden, z.B. *kilö*, Gsg *kila* 'Kilo'. Die zweite Gruppe italienische Entlehnungen, die jüngeren Datums ist als die erste, zeigt im Nominativ (Accusativ) res. *-ö* SG, G, O, S, z.B. *frigo* G, O, S 'Kühlschrank' ← ita. *frigo*. Hier tritt eine Endung unter Elimination des auslautenden Vokals direkt an den so verkürzten Stamm: Gsg *frigä* O, *friga* S. Nur in Oseacco kann manchmal und in Gmva ziemlich oft für diese Gruppe Lehnwörter das Suffix *-in-* belegt werden: Lsg *alberginu* G 'Hotel' ← ita. *albergo*, Lsg *azilinu* G 'Kindergarten' ←

ita. *asilo*, Gsg *frigina* G, *friginā* O. In einem Schema zusammengefaßt sehen die unterschiedlichen morphologischen Patronen dieser friulanischen und italienischen Lehnwörter in z. B. Gniva und Stolvizza so aus:

	fr. -i	ita. -o (1)	ita. -o (2)
Gniva	-in	-u	-o
	-in-a	-in-a	-in-a, -a
Stolvizza	-i	-ö	-o
	-i-n-a	-in-a, -a	-a

Dieser Sachverhalt erlaubt einige erste Schlußfolgerungen. Es ist im Resianischen kein morphologischer Prozeß bekannt, der als Quelle für maskuline Substantive mit einem vokalisch auslautenden Nominativ dienen könnte. Erstens ist also der auslautende Vokal der Nominativform unseres Lexems wohl einer Entlehnung zu verdanken. Und zweitens weist es ein nur diesem Lexem eigenes morphologisches Patron auf (Nsg -u SG, G, O, -o S und Stammverkürzung), das sich in den meisten Mundarten von den oben besprochenen Patronen abhebt. Nur in Stolvizza ist dieses Patron gleich an dem der zweiten Gruppe italienischen Lehnwörter. Diese Verteilung der Patronen ist ein inner-sprachlicher Hinweis darauf, daß unser Lexem früher als die ältesten italienischen Entlehnungen in das Resianische eingedrungen sein muß⁴

Im Anlaut gibt BdC für Gniva und Stolvizza neben *járö* (1875a, 17) auch *ærö* (1875a, 20). Aus BdC's Beschreibung und Belegen geht hervor, daß in der Stolvizzaer Mundart die Formen ohne anlautenden *j*-Varianten zu den Formen mit anlautendem *j*- darstellen, wie auch in z. B. *jäst/æst* (1875a 20, 17) 'essen'. Für die Gnivaer Mundart ist neben *járö/ærö* noch *æjda* 'Buchweizen' von BdC (1895, 417) verzeichnet worden. Unsere in Isolation gesprochenen Belege zeigen in der Position vor *ë* nur *j*- in Stolvizza (*jëjda*, *jëro*, *jësën* 'Herbst', *jëst*) und in den zwei schon erwähnten Lexemen *o* in Gniva (*ëjda*, *ëru*), sonst ebenfalls *j*- (*jësën*, *jëst*). Diese Verteilung weist nicht unbedingt auf einen Zusammenhang zwischen den Lautentwicklungen in Stolvizza und in Gniva in diesem Bereich. Weiter gibt es den Beleg Nsgn *herovo* (BdC 1875b, 14) mit anlautendem *h*- neben Gsgn *erovaha* (BdC 1875b, 14) in dem zweiten, sicher aus dem 18. Jahrhundert stammenden Teil der Katechismustexte, abgefaßt in Gnivaer Mundart. In der Position vor anlautendem Vokal gibt es dort mehrere Belege mit einem sekundären *h*-, meistens in der Position vor *o*-, z. B. *hogia/ogia* (BdC 1875b, 8) 'Vater', nur einmal in der Position vor *a*-: prä3pl *hamai/amat* (BdC 1875b, 11, 13) 'lieben'. Für *e* gibt es ebenfalls keine weiteren Beispiele für *h* ~ *o*-Variation, obwohl genügend Formen mit anlautendem *e* zu verzeichnen sind. Ob auch die *h*-Schreibung in

unserem Lexem als *h*-Prothese aufgefaßt werden kann, ist eine Frage, die sich auf Grund des Textes dieses Teils schwerlich beantworten läßt. Der erste, etwas ältere Teil des Katechismus enthält jedoch nur Nsgn *erove* (BdC 1875b, 4) und keine einzige Spur von *h*-Prothese in sonstigen Formen. Deshalb gehen wir von einer mit Vokal anlautender Form aus. Vorläufig schlagen wir vor, in den Gnivaer Belegen mit *o* ein Anlehnen an die Formen *ejdä* und *eruw/erü* aus Oseacco, das generellen *j*-Schwund vor nicht-hohen Vokalen kennt (vergl. *ēsän, ēst*), zu sehen (s. auch Fußnote 11).

Da *j*-Prothese vor *ē* im historisch belegten Zeitabschnitt im Resianischen nicht vorkommt, ist das *j* vorerst als ursprünglich anzusehen. Somit enthalten die Formen *jëru* SG, *jëro* S die für die weitere etymologische Analyse relevanten Informationen (vergl. Ramovš 1928, 120).

3. Die „griechische“ Etymologie

Um die „griechische“ Etymologie annehmlich zu machen, ist es u. a. notwendig, sich zu überlegen, welche historischen Bedingungen eine Entlehnung hätten ermöglichen können. Es kommen zwei Gegebenheiten in Betracht, die möglicherweise als Quelle griechischen Einfluß gelten könnten.

Erstens haben die aus dem byzantinischen Kulturraum stammenden Slawenapostel Kyrillos und Methodios ihre Missionsarbeit unter den Slawen im Raum des Großmährischen Reiches in 867 unterbrochen, um eine Reise nach Rom zu machen. Unterwegs durchquerten sie das Gebiet von Aquileia (Krahwinkler 1992, 268). Zweitens hat Friaul unter byzantinischer Herrschaft gestanden. Im zentralen Gebiet von Friaul dauerte die byzantinische politische Präsenz nur kurz (535–568), aber Istrien gehörte von ungef. 540 bis 788 dem Oströmischen Reich an, eine Lage die nur 751–774 von den Langobarden unterbrochen wurde (Krahwinkler 1992, 199). Und der Patriarchatssitz von Grado blieb zusammen mit Venedig auch nach der Eroberung Istriens durch die Franken byzantinisch.

Die sprachlichen Auswirkungen dieser byzantinischen Präsenz sind in Friaul sehr gering geblieben und beschränken sich fast ausschließlich auf einige Toponyme (Francescato & Salimbeni 1977, 71). Marchetti (1985, 48) erwähnt zwar die Anwesenheit von griechischen Lehnwörtern im Friulanischen, aber diese sind sehr wahrscheinlich schon in der spätlateinischen Periode entlehnt worden (Francescato & Salimbeni 1977, 71). Wichtiger scheint uns aber die Tatsache, daß über auf die Slawen gerichteten Missionsaktivitäten von den istrischen Bischöfen oder dem Patriarchen von Grado nichts bekannt ist, während

Übereinstimmung besteht über die Annahme, daß das Patriarchat von Aquileia die Slawenmission in den ersten Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts aktiv vorangetrieben hat. Es wird sogar vermutet, die Christianisierung sei südlich der Drau schon in groben Zügen abgeschlossen gewesen, als Kyrillos und Methodios auf den Plan traten (Bratož 1990, 57). Wenn dann unser Lexem letztendlich seine Existenz dem byzantinischen Einfluß von Istrien und Grado aus zu verdanken hätte, so wäre dies nur über Vermittlung durch Aquileia möglich gewesen. Weil ein ebenfalls auf die gleiche griechische Quelle zurückgehendes Lexem im Friulanischen fehlt, ist dies nicht nachzuweisen.

Wenden wir uns jetzt möglichen (aber nicht nachgewiesenen) Missionsaktivitäten von Kyrillos und Methodios im alpenlawischen Raum als Quelle unseres Lexem zu, so stellt sich die Frage nach der von ihnen benützten Terminologie. In altkirchenslawischen Texten begegnet uns tatsächlich *ijerej*, *ijerěj* 'Priester', aber in den Umgangssprachen der Südslawen, die den Hauptbereich der ersten Phase der byzantinischen Slawenmission bildeten, kam für dieses Konzept ursprünglich überall das Lexem *pop* vor (Skok 1927, 185). Exemplarisch für dieses Verhältnis ist wohl die Situation auf der Insel Krk, wo der jahrhundertelange Gebrauch der glagolitischen Schrift bezeugt, daß dieses Gebiet eine sehr frühe Christianisierung⁵ erlebt hat. Dort kommt ebenfalls *pop* 'katholischer Priester' vor (Skok 1927, 188). Die erst nach Abschluß der Christianisierung einsetzende terminologische Diversifikation geht auf das Sichherausbilden unterschiedlicher kultureller Einflußbereiche zurück, und so ist sk. *jerej* 'orthodoxer Priester' ein „rezenter Byzantinismus“ (Skok 1927, 198) und gehört einer anderen Lehnschicht an.

Das aks. *ijerej*, *ijerěj*, das uns als einzige eventuelle konkrete Quelle für unser Lexem in die Hände gekommen ist, läßt sich lautlich schwer mit res. *jěru* SG, *jěro* S in Verbindung bringen. Weil im Resianischen die Opposition zwischen unbetontem auslautendem *o und *u bis auf wenige Ausnahmen verwischt ist⁶, muß der auslautende Vokal in den resianischen Formen vorläufig auf einen hinteren gerundeten Vokal zurückgeführt werden, den wir im folgenden mit *O bezeichnen werden. Wie dieses *O an die Stelle des -ej, -ěj treten konnte, bleibt bei der heutigen Forschungslage rätselhaft. Weiter ist auch die Betonung auf der ersten Silbe im res. *jěru* SG, *jěro* S nicht von aks. *ijerej*, *ijerěj*, das wohl die letzte Silbe betonte (vergl. rus. *uepěū*), herzuleiten, wie dies für die serbokroatische Form möglich ist: *jěrej* ← („neostokavische Retraktion“) **jerěj* ← byz. Asg *ιεpεα* (Vasmer 1944, 70). Für das Resianische ist nur Retraktion auf einen ursprünglich langen Vokal

belegt („primäre Retraktion“), der dann in unserem Lexem als *i* reflektieren würde und eine Form wie **jirěj* ergeben hätte, wie z. B. in *srida* SG, G, S, *sridä* O 'Mittwoch' ← **srědā*. Das betonte *ě* in *jěru* SG, *jěro* S läßt sich am besten vergleichen mit Lexemen, die eine ursprünglich akute Betonung, z. B. *dělu* SG, G, O, *dělo* S 'Arbeit', oder eine gekürzte Betonung hatten, z. B. *sěnu* SG, G, O, *sěno* S 'Heu'.

Es stellt sich also heraus, daß die „griechische“ Etymologie unseres Lexems von den bekannten historischen Tatsachen keine positive Unterstützung bekommt, obwohl sie auch nicht völlig ausgeschlossen erscheint. Die lautlichen Verhältnisse sind in dieser Etymologie aber so problematisch, daß sie als wenig wahrscheinlich eingestuft werden muß.

4. Geschichte der kirchlichen Organisation in Resia

Bei der Suche nach einer alternativen Etymologie ist es hilfreich, sich über die relevanten historischen Verhältnisse im klaren zu sein. Deshalb sei hier ein kurzer Überblick über die kirchliche Zugehörigkeit Resias im Laufe der Jahrhunderte beigefügt.

Die erste Diözese, die vielleicht Resia zu seinem Einzugsbereich rechnen konnte, war das Bistum von Zuglio⁷. Als Sitz eines Bischofs wurde diese Stadt, wahrscheinlich infolge der unsicheren Lage in der Zeit der awarischen und slawischen Invasionen, verlassen und ca. 737 wurde das dann nur noch auf dem Papier bestehende Bistum aufgehoben und in die Diözese von Aquileia eingegliedert. Das ehemalige Bistum wurde zur Pfarre (*pieve*) herabgestuft, möglicherweise schon damals von einem Kapittel geleitet. Die weitere Aufgliederung dieser territorial weitgesteckten Pfarre ist bis zum Jahre 1100 zum größten Teil unbekannt (De Vitt 1983, 40–42).

Gerade um diese Zeit aber erscheint eine für Resia wichtige neue kirchliche Organisationseinheit auf den Plan. Am 9. Juni 1119 fand die Weihung der neugegründeten Benediktinerabtei *San Gallo* von Moggio statt, aber die ersten Mönche waren wahrscheinlich schon etwas früher, um 1091–92, eingetroffen (Russo 1991, 61). Das Kloster erhielt bei seiner Gründung große Gebiete, darunter auch das Resiatal, worüber es nicht nur die kirchliche, sondern auch die weltliche Jurisdiktion hatte. In Resia wurde die Seelsorge bis etwa 1400 direkt von zu Moggio gehörigen Mönchen erteilt, danach wurden Kurate ernannt (Madotto 1982, 22). Von der nachdrücklichen Präsenz solcher Mönche in Resia zeugen Legenden über Klostersgemeinschaften, die mit einzelnen Häusern in Lipovaz, San Giorgio (Madotto 1985, 64, 75) und Stolvizza (Quaglia 1996, 10) verbunden sind.

Diese Organisation hatte Bestand bis 1777, dem Jahr der Aufhebung des Klosters von Moggio. Der erste offizielle Pfarrer (*parroco*) von Resia wurde der ehemalige Kurat Andrea Coss aus Gniva, aber schon 1780 konnte er diesen Titel eintauschen für die eines *pievano* (Madotto 1985, 57). Die so entstandene *Pieve di Santa Maria Assunta di Prato*⁸, die sich über das ganze Resiatal erstreckte, erlitt erst ab 1950 Gebietsverluste, als sich die Pfarren von Oseacco (1951), Stolvizza (1953) und Uceca (1957) abspalteten.

5. Sprachliche Reflexe der resianischen Kirchengeschichte

Als sprachliche Parallele zu dieser Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Pfarre Resia fällt erstens das Fehlen von relativ alten Lexemen für Konzepte wie 'Pfarrer', 'Pfarrei' usw. auf. Nur Pleteršnik (1894, 199) erwähnt als resianisch *farnik* 'Pfarrinsasse', aber dieses Lexem haben wir, wiederholtem Nachfragen zum Trotz, bis jetzt leider nicht belegen können. Das Fehlen solcher Lexeme erklärt sich leicht aus der Tatsache, daß die Pfarre schon 3 Jahre nach ihrer Gründung zur *pieve* erhoben wurde. Mit dem entsprechenden Titel von res. *plavan* SG 'pievano' ← fr. *plevan* wurde und wird der Inhaber des höchsten kirchlichen Amtes in Resia angedeutet.

Zweitens ist mit 'Priester' die semantische Ladung von *jěru* SG nicht völlig ausgeschöpft. Eine Informantin aus San Giorgio benützte eines Tages den Ausdruck *jěravi jtī z Mužaca*. Als sie gebeten wurde, diesen Ausdruck zu erklären, erzählte sie, daß die Benediktiner von Moggio ebenfalls *jěravi* genannt wurden, im Gegensatz zu den Franziskanern von Gemona, die *fratinavi* genannt werden. Zwei weitere Informantinnen, eine ebenfalls aus San Giorgio und die andere aus Oseacco, konnten dies leider nicht bestätigen. Eine von Baudouin de Courtenay aufgezeichnete Heiligenlegende enthält jedoch einen Satz, der die Aussage der ersteren Informantin bestätigt: *Ko an paršal tu-w dan tarh, an si jě hodel [ta-h ti] tu-w konvinte, tu ka so bili ěrovi, fratinuvi, dezuviti*. G⁹ 'Sobald er in eine Stadt hineinkam, ging er in die Klöster, dorthin, wo Priester, Brüder, Mönche, Jesuiten waren' (BdC 1895, 127).

Die von BdC beigegebene Übersetzung erscheint nicht ganz logisch, weil die Aufzählung Konzepte ganz unterschiedlicher hierarchischer Größenordnung enthält. Erst 'Priester' als absolutes Hyperonym, dann 'Bruder' oder 'Mönch' als ein zweites Hyperonym zum nachfolgenden Konzept 'Jesuit', das sich aber zu 'Priester' als Hyponym verhält, und schließlich 'Jesuit' als Element einer weiteren hierarchischen Feingliederung. Der Erzähler scheint sich hier einige Male zu korrigieren. Mit den neu gewonnenen Angaben ist die Stelle aber auch mit drei Kohyponymen zu übersetzen: „dorthin, wo Benediktiner, Franziskaner, Jesuiten waren“. In dieser Lesart reiht die Aufzählung Größen der semantisch gleichen hierarchischen Ebene aneinander. Es wurden ja mehrere Kloster besucht, offensichtlich unterschiedlichen Orden angehörend.

Wir sehen also als gesichert an, daß *jěru* SG neben 'Priester' als archaische Bedeutung auch 'Benediktiner' hat. Dies erscheint in Hinblick auf die wichtige Rolle, die die Mönche von Moggio als Geistliche in Resia hatten, sogar als natürlich. Daß diese Bedeutung

mehreren Sprechern heute nicht bekannt ist, hängt wohl damit zusammen, daß es seit dem Jahre 1777 in Moggio keine Benediktiner mehr gibt.

6. Eine „deutsche“ Etymologie

Es empfiehlt sich also, näher auf die Einwohner des Klosters zu Moggio einzugehen. Von verschiedenen Seiten wird behauptet, die ersten Mönche kämen aus dem Kloster von Sankt Gallen in der Schweiz. Neuerdings aber wurden Zusammenhänge zwischen den Anfängen Moggios und der Hirsauer Reform, ausgehend von dem Kloster gleichen Namens im nördlichen Schwarzwald, festgestellt. Diese Verbindung wäre zu Stande gekommen über die Vermittlung des Klosters Sankt Emmeram in Regensburg (Scalon 1979, 27–29). Mit Härtel (1985, 25) kann also wenigstens angenommen werden, daß die ersten Mönche von Moggio aus Süddeutschland stammten.

Nicht nur kamen sie aus dem deutschen Sprachraum, sie bedienten sich auch in ihrer neuen Heimat ihrer Muttersprache, jedenfalls untereinander. Die häufige Verwendung des Deutschen unter den oberen Schichten im Patriarchat von Friaul des 11. bis 13. Jahrhundert ist ausführlich belegt (Francescato & Salimbeni 1977, 98–99). Solche Belege sind auch für die Mönche von Moggio erbracht worden, wie z. B. mit Hilfe einer Handschrift aus dem 13. Jahrhundert (Londero 1954, 122). In ihrer seelsorgerischen Arbeit werden sie wohl die landesübliche Sprache haben benützen müssen, denn es wird für diese Zeit eine in sprachlicher Hinsicht scharfe Trennung zwischen den unteren und den oberen Schichten angenommen. Deutsche Lehnwörter aus dieser Periode sind aber in das Friulanische aufgenommen worden, auch wenn sie nicht sehr zahlreich sind (Francescato & Salimbeni 1977, 99–100, 108–109). Für das Resiamische wird die Anwesenheit einer alten deutschen Lehnwortschicht neben den oben genannten sozialen Verhältnissen noch den bis 1420, dem Jahr des entgeltigen Siegs Venedigs, intensiven wirtschaftlichen Beziehungen zum deutschsprachigen Raum zugeschrieben (Ramovš 1928, 109).

Unter diesen historischen Verhältnissen ist es nicht abwegig, eine deutsche Quelle für unseres Lexem zu vermuten. Wir wollen hier vorschlagen, es mit ahd. *herro* 'Herr' in Zusammenhang zu stellen, und zwar aus folgenden semantischen und phonologischen Gründen. Dieses althochdeutsche Lexem mit der Primärbedeutung 'höher' gilt als im 8. Jahrhundert entstandene Lehnübersetzung des im romanischsprachigen Raum gebräuchliche *senior*, das das lateinische *dominus* als Titel und ehrenvolle Bezeichnung ersetzte. Der Abt Notker (um 950–1022) benützt *herro* sowohl für weltliche als religiöse

Herrscher (Eggers 1991, 115–116). Im Laufe der Zeit breitete der Anwendungsbereich des Lexems sich immer mehr aus und deutete schließlich u. a. Geistlichen im allgemeinen an, z. B. bai. *ein Herr werden* 'Geistlicher werden' (Grimm 1877, 1127). Schon ziemlich früh sei es auch eine Bezeichnung für Mönche gewesen, eine Bezeichnung, die erst später, unter dem Einfluß der Bettelorden, durch 'Bruder' ersetzt worden sei¹⁰. Die Gründung der Benediktinerabtei zu Moggio geht dem Entstehen der Bettelorden im 13. Jahrhundert zeitlich voraus, und deshalb ist es gut möglich, daß die Mönche damals noch mit dem Lexem *herro* angedeutet wurden.

Lautlich läßt *jěru* sich sehr gut aus *herro* erklären. Die Korrespondenz anlautendes ahd./mhd. *h* ~ slov. *j* ist in der Position vor vorderen Vokalen mehrmals belegt. Wahrscheinlich hatte dieser Lautwandel als Zwischenstufe *h* → *ø*, wonach vor vorderen Vokalen *j*-Prothese eintrat (Striedter-Temps 1963, 59)¹¹. Zu den Vokalkorrespondenzen, die in den deutschen Entlehnungen unterschiedlicher Lehnstschichten und ihren deutschen Quellen bestehen, liegt für das Resianische zur Zeit keine eingehende Untersuchung vor¹², aber das Paar *herro* ~ *jěru* läßt sich vergleichen mit Paaren wie ahd. *seġanon* ~ res. *žěgnat* SG 'segnen' und ahd. **ketina* ~ res. *kětina* SG, G *kětinā* O 'Kette', alten Lehnwörtern, die ebenfalls in betonter nichtfinaler Silbe die Vokalkorrespondenz ahd. *e* ~ res. *ě* aufweisen¹³. Die resianischen zentralisierten mittleren Vokale sind wohl erst nach dem 14. Jahrhundert entstanden (vergl. Vermeer 1987, 252). Die Korrespondenz ahd. *rr* ~ res. *r* erscheint problemlos, weil ja doppelte Konsonanten im Slowenischen nicht zugelassen werden.

Obwohl auch die Korrespondenz ahd. *o* ~ res. **O* (s. Abschnitt 3) unkompliziert erscheint, macht sie doch eine Einschränkung der Hypothese notwendig. In der ältesten germanischen Lehnwortschicht im Slawischen wird ahd. *-o* mit *-o* wiedergegeben, wie z. B. in ahd. *pfaffo* → aks. *popъ*. Mit dem Anfang des 10. Jahrhunderts setzt ein Verfall der althochdeutschen auslautenden Vokale ein, der vom Fränkischen ausgeht, mit einem Schwund der Oppositionen und Zusammenfall in *-e* als Endergebnis (Braune & Mitzka 1961, 55–57). Auf der slawischen Seite wird das Schwinden von schwachen Jers im Auslaut für das Slowenische schon in der Mitte des 9. Jahrhunderts belegt (Ramovš 1995, 35). Obwohl es also nicht unlogisch ist, daß das resianische **O* jetzt als Entsprechung erscheinen würde, hätte zur Zeit der Entlehnung ins Resianische wohl kein *-o* mehr vorgelegen im deutschen Sprachraum. Eine Ausnahme wird aber gebildet von dem südwestlichen, alemannischen Bereich dieses Sprachraums. Hier haben sich die Oppositionen zwischen den auslautenden Vokalen länger

gehalten, wie auch indirekt aus urkundlichen Quellen des 13. Jahrhunderts hervorgeht. Für die morphologische Kategorie der schwachen Deklination der männlichen Substantive, wozu auch *herro* gehört, gibt es mehrere Belege, z.B. alem. *grauo* 'Graf', *heinrich der zwiherro* 'Heinrich der *Zwiherro*' (Boesch 1946, 135)¹⁴. In den Urkunden aus dem alemannischen Raum gilt die graphische Unterscheidung der Endvokalen im 13. Jahrhundert als archaische Schreibkonvention, der eine moderne Konvention mit uniformer *-e*-Schreibung gegenübersteht. Auf der Seite der gesprochenen Sprache widerspiegeln die graphische Unterscheidung ein feierliches Verlesen der in den Urkunden enthaltenen Texten. Unter anderen Umständen enthalte die gesprochene Sprache der gehobenen Schichten solche Oppositionen zwischen den auslautenden Vokalen wohl nicht mehr, dies im Gegensatz zu der damaligen Umgangssprache der niedrigen Schichten, die Erhalt dieser Oppositionen zeigten (Boesch 1946, 61–62, 135).

7. Abschluß

In Hinblick auf die Gründungsgeschichte des Klosters von Moggio nehmen wir an, daß eine alemannische Formvariante mit erhaltenem *-o* die deutsche Grundlage für die Entlehnung ins Resiansche gebildet hat. Diese Annahme entspricht den (jetzt auf Südwestdeutschland und die Schweiz einzuschränkenden) Hypothesen über die Herkunft der ersten Mönche und läßt sich sehr gut in den gegebenen Zeitrahmen einordnen. Somit ist das besprochene Lexem kein Denkmal der Aktivität griechischer Geistlicher unter den Resianern, wie Potocki vermutete, sondern eine Spur der Tätigkeit der Benediktiner von Moggio. Dies möge ein Trost sein für Antonio Battistella, der in Zusammenhang mit der Auflösung der Abtei schrieb: "E il mondo non s'accorse della sparizione di quest'abbazia, estintasi nella generale indifferenza e senza che lasciasse alcuna durabile impronta dell'opera sua né destasse nei contemporanei alcun sincero rimpianto di sé" (Battistella 1903, 91) 'Und die Welt bemerkte das Verschwinden dieser Abtei nicht, die erlöschte in allgemeiner Gleichgültigkeit und ohne daß sie eine dauerhafte Spur ihrer Arbeit hinterlassen oder unter den Zeitgenossen ein aufrichtiges Bedauern über sie hervorgerufen hätte' (unsere Übersetzung).

Verzeichnis der Abkürzungen

adj	adjectivum	L	Lipovaz
ahd.	althochdeutsch	Lsg	Locativus singularis
aks.	altkirchenslawisch	mhd.	mittelhochdeutsch
alem.	alemannisch	Nsg	Nominativus singularis
Asg	Accusativus singularis	Nsgn	Nominativus singularis neutrum
bai.	bairisch	O	Oseacco/Osojam
byz.	byzantinisch	poss	possessivus
Dsg	Dativus singularis	prä1pl	Präsens 1. Person pluralis
fr.	friulamisch	prä3pl	Präsens 3. Person pluralis
G	Gniva/Njiva	res.	resianisch
Gsg	Genitivus singularis	rus.	russisch
Gsgn	Genitivus singularis neutrum	S	Stolvizza/Solbica
Isg	Instrumentalis singularis	SG	San Giorgio/V Bili
ita.	italienisch	sk.	serbokroatisch

¹ Dabei wird die Hypothese aber Kopitar zugeschrieben, der Potockis unveröffentlichten Aufsatz übersetzt und kommentiert publizierte.

² Die Abkürzungen werden am Ende des Beitrags in einer Liste aufgeführt.

³ Zur Herkunft dieses *-n-*, s. Steenwijk 1990, 26–27.

⁴ Dies geht übrigens auch schon hervor aus Potockis Beleg. Der allgemeine Gebrauch der Einheiten des metrischen Systems folgt zeitlich nach dem Besuch des Polen in Resia.

⁵ Die glagolitische Schrift wurde anfangs in der Slawenmission von Kyrillos und Methodios benützt und erst später unter dem Einfluß der byzantinischen Kirche durch die kyrillische ersetzt (Diels 1963, 19).

⁶ Z. B. NAsg *městu* 'Ort' mit **-o* und Dsg *městu*, GDAsg *sinu* 'Sohn' mit **-u* (alles SG). Die wichtigsten Ausnahmen sind die Isg-Endung *-on* SG, G, S, *-ān* O der maskulinen und neutralen Substantive und die prä 1 pl-Endung *-mō* SG, G, O, *-mo* S.

⁷ Nach einer mündlichen Aussage von *don* Rinaldo Gerussi, Pfarrer von Stolvizza, dem mein Dank gebührt, nicht nur für diese Aussage, sondern auch für mehrere Literaturhinweise.

⁸ Eine *pieve* ist ursprünglich eine Pfarrei, die mehrere Filialkirchen umfaßt, eine *parrochia* eine Pfarrei, die nur eine Kirche hat. Die Vorsteher solcher Einheiten sind der *pievano* beziehungsweise der *parroco*.

⁹ Die Rechtschreibung des Zitats ist stark abgeändert worden.

¹⁰ Nach einer brieflichen Mitteilung von Pater Dr. Paul Schäfersküpper O. P. aus München, dem ich an dieser Stelle herzlich danke für seine freundliche Mitarbeit.

¹¹ Wir wagen es hier nicht zu entscheiden, ob die Gnivaer Formen *ejda* ← mhd. *heide* und *eru* die Unterlassung der *j*-Prothese zeigen (s. auch Abschnitt 2).

¹² Für eine Zusammenstellung deutscher Lehnwörter im Resianischen, s. Maticetov 1975.

¹³ Über die Qualität und Länge des ahd. und (eventuell) mhd. *e* schweigen wir uns hier bewußt aus.

¹⁴ Der Titel *Zwiherro*, wohl in Zusammenhang zu sehen mit dem amtlichen Floßkel *in wasen und in zwie* 'mit allem Zubehör' (Grimm 1922, 2278), verweist auf einen Besitzverhältnis. Für den Hinweis auf die Arbeit von Bruno Boesch bin ich Prof. Dr. Robert Hinderling aus Bayreuth zu Dank verpflichtet.

LITERATURVERZEICHNIS

- Battistella 1903 — Battistella A. L'Abbazia di Moggio. — Udine: G. B. Doretta, 1903.
- BdC 1875a — Бодуэн де Куртенэ И. А. [= Baudouin de Courtenay J. N.] Опыт фонетики резьянскихъ говоровъ. — Варшава/Петербургъ, 1875.
- BdC 1875b — Бодуэн де Куртенэ И. А. [= Baudouin de Courtenay J. N.] Резьянскій катихизисъ. — Варшава/Петербургъ, 1875.
- BdC 1895 — Бодуэн де Куртенэ И. А. [= Baudouin de Courtenay J. N.] Материалы для южнославянскои диалектологии и этнографии. I: Резьянскіе тексты. — Санктпетербургъ, 1895.
- Bezljaj 1976 — Bezljaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika. I: A–J. — Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.
- Boesch 1946 — Boesch B. Untersuchungen zur alemannischen Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. — Bern: A. Francke, 1946.
- Bratož 1990 — Bratož R. Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. — Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1990.
- Braune & Mitzka 1961 — Braune W. Althochdeutsche Grammatik. Bearbeitet von W. Mitzka. — Tübingen: Max Niemeyer, 1961¹⁰.
- De Vitt 1983 — De Vitt F. Pievi e parrocchie della Carnia nel tardo medioevo (secc. XIII–XV). — Tolmezzo: Edizioni Aquila, 1983.
- Diels 1963 — Diels P. Altkirchenslavische Grammatik. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1963.
- Eggers 1991 — Eggers H. Deutsche Sprachgeschichte. Bd. 1: Das Althochdeutsche und das Mitteldeutsche. — Reinbek bei Hamburg: Rowohlt's Enzyklopädie, 1991.
- Francescato & Salimbeni 1977 — Francescato G. & Salimbeni F. Storia, lingua e società in Friuli. — Udine: Casamassima, 1977².
- Grimm 1877 — Grimm J. & W. Deutsches Wörterbuch. Bd. 4, Abteilung 2. — Leipzig: S. Hirzel, 1877.
- Grimm 1922 — Grimm J. & W. Deutsches Wörterbuch. Bd. 13. — Leipzig: S. Hirzel, 1922.
- Härtel 1995 — Härtel R. Die älteren Urkunden des Klosters Moggio (bis

- 1250). — Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985.
- Krahwinkler 1992 — Krahwinkler H. Friaul im Frühmittelalter. — Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 1992.
- Londero 1954 — Londero P. Penetrazione e diffusione del germanesimo in Friuli nei secoli XII–XIII. — *Ce fastu?*, 1954, 30/1–6, 120–124.
- Longhino 1984 — Longhino A. (Hrsg.) Jan Potocki 1761–1815: Brevi cenni sui resiam. Dati biografici. — San Giorgio Val Resia, Grassau, 1984.
- Matičeto 1975 — Matičeto M. Per la conoscenza degli elementi tedeschi nel dialetto sloveno di Resia. — *Grazer Linguistische Studien*, 1975, 2/2, 116–137.
- Madotto 1982 — Madotto A. La Val Resia ed i suoi abitanti. — Mariano del Friuli, 1982.
- Madotto 1985 — Madotto A. Resia: Paesi e località. — Udine: Designgraf, 1985.
- Marchetti 1985 — Marchetti G. Lineamenti di grammatica friulana. — Udine: Società Filologica Friulana, 1985⁴.
- Pleteršnik 1894 — Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar. I: A–O. — Ljubljana, 1894.
- Quaglia 1996 — Quaglia S. Secoli di vita autonoma. — *All'Ombra del Canin/Ta pod Canynowo sinco*, Udine, 1996, 69/4, 10.
- Ramovš 1928 — Ramovš F. Karakteristika slovenskega narečja v Reziji. — *Časopis za slovenski jezik, kulturo in zgodovino*, 1928, 7, 107–121.
- Ramovš 1995 — Ramovš F. Kratka zgodovina slovenskega jezika. I. — Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995.
- Russo 1991 — Russo A. Quel vento di cielo che spira per Moggio. — Udine: Campanotto, 1991.
- Scalon 1979 — Scalon C. La biblioteca arcivescovile di Udine. — Padova: Antenore, 1979.
- Skok 1927 — Skok P. La terminologie chrétienne en slave: l'église, les prêtres et les fideles. — *Revue des études slaves*, 1927, 7/3–4, 177–198.
- Steenwijk 1990 — Steenwijk H. The nominal declension of Friulian loans in the Slovene dialect of Val Resia. — *Slovene Studies*, 1990, 12/1, 23–31.
- Striedter-Temps 1963 — Striedter-Temps H. Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. — Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963.
- Valente 1868 — Valente S. Sul linguaggio Slavo della Valle di Resia in Friuli. — *Giornale di Udine*, 1868, 3/293.
- Vasmer 1944 — Vasmer M. Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen. — Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1944.
- Vermeer 1987 — Vermeer W. Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih. — *Slavistična revija*, 1987, 35/3, 237–257.

Rosanna Benacchio
Padova

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ АРТИКЛЕ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ: РЕЗЬЯНСКИЙ ГОВОР*

*Славянская диалектология — словенская диалектология —
резьянский диалект — типология — синтаксис — категория
определенности — определенный член*

1. Как известно, славянские языки не знают определенного артикля. Исключением являются болгарский и македонский языки, имеющие постпозитивный определенный артикль, который считается одной из главных характеристик балканского языкового ареала. Известно также, однако, что во многих славянских языках можно обнаружить “следы” определенного артикля — иногда в постпозиции, как в русском языке (т.е. как в балканских языках), а иногда в препозиции, как в других, неславянских, языках. Следы эти, правда, не касаются современных стандартных языков, они заметны скорее или на разговорном уровне, как в польском (Wróbel 1984), в чешском (Mathesius 1947, Schneiderová 1993), в серболужицком (Lötzsch 1970), или на диалектном уровне, как, например, в севернорусских говорах, или же, наконец, в литературных памятниках прошлых веков как зачатки, не получившие потом развития, как, например, в некоторых произведениях древнерусской (Элсберг 1967; Йорданиди 1970; 1973) и древнехорватской литературы (Reichenkron 1966).

Если не принимать во внимание разницу в позиции (энклитической или проклитической), то явление совершенно идентично для всех вышеуказанных языков: одна и та же местоименная форма (а именно — указательное местоимение, восходящее к общеславянскому местоимению “для средней дистанции” *тъ, та, то*), постепенно утратившая чисто дейктическую семантику, превра-

* Эта работа представляет собой переработанный вариант статьи *L'articolo nel dialetto resiano: sulla questione della determinatezza nelle lingue slave*, опубликованной в сб. *Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave* (Problemi di morfosintassi delle lingue slave, 5), a cura di R. Benacchio, F. Fici e L. Gebert, Padova: Unipress, 1996.

тилась в своего рода артикль¹, т.е. в форму, имеющую функцию обозначать тот факт, что референт, к которому относится имя (или именная группа) с артиклем, считается знакомым, известным как для говорящего/пишущего, так и для слушающего/читающего. Такого рода эволюция, кстати, наблюдается и в других индоевропейских языках, в которых категория определенного артикля развилась до конца, например, в языках романской и германской групп.

По нашему мнению, даже признавая вклад вышеуказанных работ, все же нужно сказать, что присутствие следов определенного артикля в славянских языках до сих пор не привлекало достойного внимания исследователей. Более того, оно в основном трактуется как явление периферийное, связанное с контактом с неславянскими языками (чаще всего с германскими), имеющими категорию артикля.

Яркий пример в этом смысле представляет собой словенский язык, в котором обнаруживаются как в прошлом (прежде всего в текстах протестантской эпохи, но также и XVII и XVIII вв.) (Kolarič 1960; Orožen 1972), так и теперь, на диалектном и даже разговорном уровне (Kolarič 1961 — 1962), многочисленные следы определенного артикля, которые принято объяснять воздействием германского языкового ареала².

Однако германское влияние не дает рассматриваемому явлению исчерпывающего объяснения и, в частности, его проявлений в резьянском говоре — словенском диалекте долины Резья (области Фриули—Венеция—Джулия) в северной Италии, на границе со Словенией. В этом говоре, подверженном не немецкому, а скорее итальянско-фриульскому воздействию, обнаруживаются явные следы определенного артикля, а именно — клитические формы указательного местоимения *te, ta, to; ti/te*³, употребляемые (хотя и не без исключений и колебаний) как проклитики.

Конечно, и это явление можно рассматривать как феномен интерференции, конкретно — как результат воздействия романской языковой группы. Однако, как мы увидим в дальнейшем, лингвистические особенности, характеризующие употребление артикля в этом говоре, заставляют думать об этом явлении как о явлении в основном “своем”, развившемся в соответствии с законами словенской — и вообще славянской — языковой системы (хотя не подвергается сомнению тот факт, что итальянско-фриульское воздействие смогло оказать немаловажную “вспомогательную” роль в распространении формы артикля, прежде всего увеличивая частоту ее употребления).

Это мы попытаемся доказать в данной работе прежде всего на материале самого древнего дошедшего до нас резьянского письменного текста — а именно так наз. “Резьянского Катихизиса” [так!] XVIII в.⁴ Полученные данные будут сопоставлены с данными других резьянских текстов, более поздних по времени.

2. При анализе определенного артикля в Резьянском катехизисе (как и вообще при его изучении в любом языке) можно выделить два основных случая его употребления: случай, когда определенность (известность) референта, сигнализируемая артиклем, вытекает из самого текста, и случай, когда она определяется экстралингвистической ситуацией. В первом случае перед нами анафора, или “повторное называние”: имя (или именная группа), перед которой стоит артикль, появляется не впервые в тексте, а является повтором уже названного antecedента. Анафорическое отношение не обязательно связано только с повтором antecedента, но осуществляется и тогда, когда референт может быть легко извлечен из предыдущего контекста. В обоих случаях референт обязательно знаком, известен обоим собеседникам, одним словом, определен. Именно такое употребление встречается чаще всего в нашем Катехизисе. Этот факт совсем не удивителен, если иметь в виду, что анафора играет большую роль в становлении определенного артикля как такового не только в славянских, но и вообще во всех индоевропейских языках, развивших эту категорию (Толстой 1962, Renzi 1976). Кроме того, надо иметь в виду и характер самого текста, который построен в основном на вопросах и ответах. Приведем несколько примеров: — *Kiliku so virtut?* — *So sædan, try teologal, anu štiri kardinal.* — *Ričite mi te try teologal* (48); — *Kire to so se tri peršune?* — *Ta parwa, ka tō jœ Ot'a etem.* — *Anu ta sehont peršuna?* — *Ta sehont peršuna, ka tō jœ Syn* (60).

Подобных примеров можно было бы привести множество: как уже было сказано, сама структура анализируемого учебного текста, в котором рассматривается ограниченное число тем, многократно повторяемых, благоприятствует появлению анафорического отношения.

Второй случай, который мы рассмотрим, можно определить как случай “общих сведений”: он касается тех фактов появления артикля, когда определенность референта, в отличие от случая анафоры, не зависит от предшествующего контекста, но связано с внетекстовыми факторами, а именно — с предположением говорящего/пишущего, что слушающий/читающий располагает теми же экстралингвистическими сведениями, что и он сам. Этот

второй тип является более значительным для нашего анализа, поскольку из него, а не из анафорического отношения, вытекают те значения (resp. функции) определенного артикля, которые можно считать или близкими к настоящему, полностью развитому артиклю, или уже им самим. Другими словами, в то время как случай анафоры занимает, так сказать, первую ступень в процессе становления артикля, то случаи, связанные с "общими сведениями", представляют собой уже более развитую стадию.

Важный факт, вытекающий из нашего текста при анализе появления артикля в случаях определенности референта по "общим сведениям" (но это замечание касается и вышеуказанных случаев анафоры), состоит в том, что имя, перед которым стоит артикль, очень часто (практически почти всегда) сопровождается определениями, выполняющими ограничительную функцию, выделяя обозначенный ими предмет из ряда однородных и тем самым индивидуализируя его.

Среди различных типов присубстантивных определений, присутствующих в Резьянском катехизисе и способствующих идентификации референта, наиболее частым является предложно-падежная форма существительного в род. пад. с предлогом *od*: *ta šoštanca od krüha* (45); *tapod tæmi špečjami od krüha anu od vyna* (*ibid.*); *s tæmi bisidami od svete konsekracijum* (46); *te žihnani sat od wašaha žwota* (52); *tow to oro od naše smarti* (51); *ta na ti desni od Böha* (*ibid.*?); *zas wsæmy tæmy svetimi öd næbæške kompanyje* (59); *Ta sveta Cirkow od Ježu Krištuša* (75).

Реже определительную функцию выполняют предложно-падежные формы имен с другими предлогами, как например, *w* и *na*: *ta sehont paršuna tow^s Santišmi Trinidadadi* (62); *te din na Pernahti* (63); *te din na sveti Petak* (65); *Te din na Vylyko nut'* (66).

Определительная функция выполняется также причастиями: *tow kiri parti od te zlõmn'ane oštje žwõt ostaje?* (46); *Kiri so ti miništarji, puštini anu nahani od Ježu Krištuša* (76); *te hračje, barane tow Paternoštre* (70).

Определениями, входящими в состав именной группы, перед которой стоит артикль, могут выступать порядковые, а также количественные числительные: *Te parvi mišterih* (43); *part ta parva* (54); *te parvi kapitul* (57); *te sehont kapytul* (59); *ta sehont peršuna* (60 ?); *ta tretna peršuna* (*ibid.*); *te štyrt'n æ baran'e* (70); *Te dwa mišteriha principal* (43); *Ričite mi te try teologal* (48); *Te štiri kardinal* (*ibid.*); *ti triji krajuvi* (63) и т.д.

Порядковые числительные часто появляются и в эллиптических конструкциях, в которых существительное опущено, но при

этом подразумевается: *ta sehond* (44); *te parvi* (69); *Kiri je te tretn i'* (*ibid.*) и т.д.

Другой вид определения, который встречается часто в рассматриваемом тексте, — это прилагательное, выполняющее ограничительную функцию и, следовательно, способствующее идентификации референта. Прилагательное может появляться и в превосходной степени: *te princīpal naš prošim* (74); *tæh vylykih malatyjah mortal* (79); *ta vœr bontat od wsiha* (99); *te najvinči veškul od Rima* (76); *Te najbujši rimječ* (80).

Довольно часты, однако, случаи, когда прилагательное выполняет функцию не ограничительную, а скорее описательно-распространительную: определяемое существительное получает лишь дополнительную, часто оценочную, характеристику, которая никак не способствует идентификации предмета речи: *doelat te sveti funcjum* (500); *te uštinane œbrœje* (64); *pridit'at to sveto fædo* (76); *zas to vœr dütryno* (77); *w ti sveti Cerkwœ* (*ibid.*).

Этот факт представляет несомненный интерес, так как он показывает, что в Резьянском катехизисе присутствие артикля не обязательно мотивируется семантически. Выбор артикля может соответствовать чисто синтаксическим факторам, отдающим предпочтение конструкциям с прилагательными. И, действительно, можно сказать, что в нашем тексте присутствие в именной группе прилагательного как такового, независимо от его способности идентифицировать предмет речи, является исключительно важным элементом для появления артикля.

Сказанное подтверждается еще и тем, что, подобно тому, что было отмечено по поводу порядковых числительных, прилагательные часто появляются в эллиптических именных группах, лишенных ядра-существительного, что видно из примеров: *an je wstal od tih martvih* (51); *od tu an tœ prit judikat te žyve anu te martve* (*ibid.*); *te superbjow, te mvidjows* (64); *od mtrečešjuni od an ulow anu od teh svetih* (71); *Wsi jüdi öd svœta, döbri anu ti hüdi* (74)*.

Надо обратить внимание и на тот факт, что в вышеуказанных примерах артикль выполняет обобщающую (resp. генерализующую) функцию, обозначая целый “класс” референтов. Присутствие данной функции в Резьянском катехизисе имеет особое значение, поскольку она, как известно, является важнейшим этапом в становлении категории определенного артикля. По

* По крайней мере в первом, втором и четвертом примерах речь идет о субстантивированных прилагательных. — Примечание редактора.

мнению некоторых ученых, эта функция является единственным показателем наличия в языке данной лингвистической категории⁶. Нужно, однако, уточнить, что в Резьянском катехизисе обобщающая функция появляется с некоторыми ограничениями. Во-первых, артикль с обобщающим значением встречается только в случаях, описанных выше, т.е. перед прилагательными в именных группах, лишенных существительного-ядра. Мы не встретили случаев употребления определенного члена с генерализующей функцией перед существительным. Во-вторых, эта функция реализуется только при множественном числе, что обозначает более низкий уровень абстракции, менее развитый этап разработки логической категории "класса" предметов. Другими словами, примеров, подобных болгарскому *Човекът е цар на зверовете*, в нашем тексте нет.

Надо, наконец, отметить последний, очень частый случай появления артикля перед именем (или именной группой) в Резьянском катехизисе, т.е. случай, когда выделительно-ограничительную функцию играет придаточное присубстантивное определительное предложение: *ti triji krajuvi, ka so paršli* (63); *an jœ mœl tow kompannyji wse te dobre düšyce, ka an je bil vižital tow Lymbi* (66); *Kire je to sehont baran`e, ka mamö zdœlat?* (69); *te hracje, ka zawöjo naš kolpe sömö bili zübili* (*ibid.*); *Kiri so ti sakramintuvi, ka wsaki krištjan mara je ričovat?* (80).

Интересно отметить, что артикль появляется и тогда, когда придаточное определительное предложение имеет не ограничительную функцию, а распространительную: оно лишь добавляет избыточные, необязательные (для потребностей идентификации) признаки. Можно сказать, что в данном случае придаточное предложение определяет именную группу лишь постольку, поскольку оно занимает синтаксическую позицию определения, — как в выше рассмотренном случае прилагательных с распространительной функцией. Здесь определенный артикль также появляется перед именными группами, чьей идентификации не способствует никакая вспомогательная информация. Содержащаяся в тексте: *ta sehond peršuna, ka tö jœ Syn* (43); *teh svetih, ka so tow Paravyžœ* (71); *medjant teh svetih sakramintow, ka mi je ričowamö* (68).

3. Из приведенного выше анализа можно сделать некоторые выводы. Во-первых, как уже было отмечено, в Резьянском катехизисе XVIII в. артикль появляется с большей частотой перед именными группами, в состав которых входят прилагательные,

которые могут появляться также сами по себе, при опущении существительного, т.е. в эллиптических конструкциях. Случаи употребления артикля в именных группах, в состав которых не входят прилагательные, несомненно, более редки.

Во-вторых, нужно отметить, что в рассматриваемом нами тексте артикль представлен во всех падежных и родовых формах как в ед., так и во множ. числе. Большей частотностью отличаются случаи им. пад., что может объясняться и характером самого текста, в котором имеется множество заголовков.

Нужно обратить внимание еще и на то, что, как было отмечено вначале, описанное до сих пор употребление определенного артикля в Резьянском катехизисе, при общей своей "регулярности", однако, представляет исключения. Срав. следующие примеры, в которых артикль не употребляется, несмотря на наличие перечисленных выше благоприятных условий для его появления: |Buh je| Kreatör anu hospudin öd næba anu od zemn`e (44); öd næbæške kompanyje (59); t`oe od dišepulow od Ježu Krištuša (75); zas sakraminti ot Ježu Krištuša (77); od svete Cerkve (ibid.); Pokaj da Buh nan je dal sveti šantišim Sakrament of Eukerištyje? (78).

Особый интерес представляют случаи колебания в употреблении артикля без видимой причины, даже в рамках одного и того же предложения: *tuw kompanyje od an`olow anu od teh svetih* (47); и аналогично: *od interčešjuni od an`ulow anu od teh svetih* (71)⁷; *wsi jüdi öd svæta, döbri anu ti hüdi* (74); *part tretn`a* (55) при *Part ta parva* и *Part ta sehont* (54) и т.д.

4. Как явствует из приведенных выше примеров, язык Резьянского катехизиса XVIII в. отражает неоспоримое романское влияние, что объясняется и тем, что текст является переводом (или пересозданием) с итальянского (или фриульского)⁸. Влияние это, особенно сильно проявляющееся в лексике, не могло не коснуться и столь яркой морфосинтаксической категории, как определенный артикль, прежде всего увеличивая частотность его употребления. И, действительно, как мы увидим далее, в современных резьянских текстах артикль появляется реже, чем в Резьянском катехизисе, хотя и в случаях, подобных вышеописанным (т.е. с той же синтаксической дистрибуцией). Однако, по нашему мнению, определенный член в Резьянском катехизисе — это феномен, коренящийся во внутренних законах исследуемой языковой системы. Это подтверждается множеством случаев употребления артикля в контекстах, отличных от контекстов его употребления в романских языках. Имеются в виду, например, такие

выражения, как *ta dolč naša šperanča* в молитве "Salve Regina" (51), где определенный член употребляется перед звательным падежом, или такие, как *vy ste ta dubruta infinit* (53), которые совсем не характерны для романского языкового окружения.

Самыми интересными в этой связи являются случаи употребления артикля в заголовках, прежде всего в названиях глав или частей, обозначенных порядковым числительным. Можно утверждать, что употребление артикля в этих контекстах является в нашем тексте почти нормой, не имеющей никакого соответствия ни в итальянском языке, ни во фриульском: *Part ta parva* (54); *Part ta sehont* (*ibid.*); *Te parvi kapitul* (57); *Te sehont kapitul* (59); *Te tretn`i kapitul* (60)⁹.

5. Все эти особенности (и, в частности, выделенная тенденция предпочитать употребление определенного члена скорее при прилагательных, чем при существительных), встречаются также в других резьянских текстах, следующих по времени нашему катехизису. Например, другой катехизис, составленный Й. Крамаро в начале нашего века, дает подтверждение собранным нами до сих пор данным, что видно из следующих примеров, явно напоминающих процитированные выше и демонстрирующих ту же частотность артикля: *to ögö od naše smrti* (6); *te žignani sad od tvojsa žuota* (7); *te gračije ka muran mēt* (8); *vse te tuarte, ka sen rečevou* (*ibid.*); *Te dva mišteriha prinčipal* (9); *te tri pršune svete Trinitadi* (24); *te vsakdinji kruh* (5); *ta sveta Cirku* (7); *od tih mrtvih* (5); *an ce prit judikat te žive anu te mrtve* (5); *Te prvi je sveti krst* (10).

То же самое можно сказать по поводу другого резьянского текста религиозного характера, опубликованного Бодуэном де Куртенэ в 1913 г. и содержащего проповеди, написанные в середине XIX в.: *od teh defsat Boshjih Sapuvedu* (3); *od teh sedan svetih Sacramintou* (*ibid.*); *ta sveta Oštja* (3); *pokasat to pravo pot* (4); *ti mali, anu ti veliki, ti mladi anu ti stari* (2); *mamo delat to dobre* (3).

Единственное отличие от предыдущих текстов состоит в том, что здесь определенный артикль встречается реже. По всей вероятности, это связано с устным характером данного текста, менее тесно связанного с предшествующими письменными романскими моделями.

Подобным же образом резьянские сказки, собранные М. Матичетовым (Матичетов 1973; 1987), демонстрируют употребление артикля, идентичное тому, что мы встречали в Резьянском катехизисе, хотя и не столь частое: *tuw ti štačune, ka je čanar* (1973: 45);

Na *ta* zadnji din (1973: 44); *ta* drugi krej (1973: 45); ko na na vidala *to* prvo lönico (1973: 50) (*ibid.*); *ta* segond gotrica (1987: [2]); *te* vesoke pete (*ibid.*); *ta* bo dobri (1987: [17]); *ta* nejbujše, ka na mela (1987: [10]); *to* ma met *te* maje (1973: 50); *ta* druga... *ta* tretnja (*ibid.*).

То же и в сборнике текстов современных резьянских авторов, составленном Б. Петрисом: Sveta Mati binidijte vis *te* Rosajanski Dul (45); Po *ti* prve ano pa po *ti* sa hond uere (63); *t'* stari nu *t'* mladi (19); *Ti* rosajanski (45); *ta* mlada (53); *te* gluhi (55); *te* romi (*ibid.*).

И, наконец, среди устных текстов, записанных Х. Стенвэйком, находим подобные же примеры: *te* lípe máškire (205); po *ti* nóvi módi (220); *te* stáre žané (209); za *te* mártve (199); *ti* stári ně *ti* mládi (205).

6. Очевидно, что самая значительная особенность резьянских текстов (как Резьянского катехизиса XVIII в., так и всех последующих), — это предпочтение определенного артикля для адъективной формы и, в особенности, для субстантивированных прилагательных.

Особенность эта была хорошо выделена словенскими лингвистами (Ogožen 1972, 108; Kolarič 1961–1962, 170–174) на основе, соответственно, литературных словенских текстов в основном XVII и XVIII вв. и современных словенских диалектов (отличных от резьянского).

По нашему мнению, естественно заключить, что резьянский говор, как и другие словенские говоры (а также более ранние стадии словенского литературного языка)¹⁰, демонстрируют тенденцию к сохранению общеславянской модели выражения определенности путем местоименной формы, маркирующей прилагательное. И, действительно, в старославянском языке, как известно, категория определенности, выраженная путем указательно-анафорического местоимения *-jь, -ja, -je*, касалась только прилагательного, к которому местоимение присоединялось в постпозиции. Следовательно, эта категория не проявлялась тогда, когда существительное не сопровождалось каким-либо прилагательным (Vaillant 1942; Толстой 1957; Иванов 1979).

Все это хорошо согласуется, кстати, с гипотезой Коларича (Kolarič 1960, 196), согласно которой определенный член начал развиваться в словенском языке после нейтрализации противопоставления членного (*resp.* полного) и нечленного (*resp.* краткого) склонений прилагательного, т.е. после исчезновения специального склонения прилагательного для определения уже известного

предмета¹¹: с целью компенсации данной потери указательное местоимение, потеряв свою чисто дейктическую семантику и став клитикой, взяло на себя функцию “древнего” указательно-анфорического местоимения, сохраняя следы его тенденции к маркированию прилагательного.

Итак, судя по данным как резьянского говора, так и всей остальной части словенского ареала (с учетом и диахронического плана), можно говорить об употреблении одной формы для определенного члена, которая развилась, прежде всего следуя внутренним законам собственной языковой системы. Иноязычная (романская или германская) интерференция несомненно повлияла на ее укоренение и распространение. Однако форма определенного артикля и способы его употребления подсказывают нам скорее глубокие аналогии с эволюцией других индоевропейских языков, развивших артикль, в том числе романских и германских¹².

На наш взгляд, следовало бы углубить изучение проблематики развития артикля (параллельно с проблематикой эволюции определенной формы прилагательного) в общеславянской перспективе. Такой сравнительный анализ, направленный не только на стандартные языки, но также на их разговорный уровень, на различные диалекты в разные исторические периоды, мог бы привести к новым интересным результатам и более обширно охватить сложную проблему выражения категории определенности в славянских языках.

¹¹ Поскольку это форма, находящаяся на пути перехода в новое грамматическое качество и не получившая еще полной грамматической оформленности, то уместнее было бы говорить не прямо об “артикле”, а скорее об “артиклоиде”, как принято, например, среди романских лингвистов для гибридного употребления местоимений *ipse* и *ille* в позднем латинском языке (см. Renzi 1976). В этой статье мы будем употреблять общепринятый (более узуальный) термин “артикль” (или член), отметив, однако, что перед нами — как в связи с резьянским, так и другими славянскими говорами и языками, в которых проявляются “следы” (или “зачатки”) артикля. — нет строго кодифицированной (как в болгарском) категории: употребление артикля — не регулярное, с исключениями.

¹² О том, как развивалась такая толкующая и нормативная традиция, вследствие которой, начиная уже с начала XVIII в., формы определенного артикля были вытеснены из стандартно-литературного языка как “германизмы”, см. подробно Venacchio 1996.

³ Надо добавить, что резьянский говор — как и многие другие словенские диалекты, а также стандартный язык — знает и другой способ выражения определенности, касающейся, однако, лишь только категории прилагательного и появляющийся на данном этапе исторического развития только при им. пад. муж. р. (где прилагательное имеет окончание *-i* вместо *-Ø*). Напомним здесь также, что в резьянском говоре присутствует не только определенный, но и неопределенный артикль, т.е. клитические формы числительного *din'ni, na, no ni, ni'ne* (Steenwijk 1992, 126). Естественно, полное исследование должно было бы охватить обе категории. В данной работе, однако, мы ограничимся рассмотрением только определенного артикля.

⁴ Подробнее о палеографических, текстуальных и иных особенностях этого документа, найденного Бодуэном де Куртенэ и опубликованного не один раз (1875, 1894 и 1895), см. Benacchio 1996. В данной работе мы будем пользоваться итальянским изданием 1894 г., в котором сам автор применил упрощенную графическую систему. Укажем, что при цитатах как из Резьянского катехизиса, так и из других, более поздних, текстов, мы будем употреблять графическую систему, которая используется Бодуэном де Куртенэ.

⁵ По поводу употребления частицы *ta* при выражении обстоятельств пространства и времени (здесь она слита с предлогом в форме *tow*) в резьянском говоре см. Benacchio 1994.

⁶ Н. И. Толстой (1962: 127), напр., пишет: «Генерализующая функция — красная черта на шкале соответствий, разрешающая спор о наличии или отсутствии члена в конкретной грамматической системе». Напомним, что в той же работе автор, следуя этому принципу, т.е. опираясь на присутствие артикля с генерализующей функцией, ставит словенские диалекты наравне с другими славянскими языковыми идиомами, которые полностью развили категорию артикля, а именно (кроме стандартных болгарского и македонского языков) с разными болгарскими и македонскими диалектами, а также с северными русскими говорами.

⁷ В этих двух примерах можно было бы объяснить колебание тем, что второй элемент (тот, который получает артикль) принадлежит к категории прилагательных, в то время как первый является существительным.

⁸ См. подробнее об этом Бодуэн де Куртенэ 1875, 17–26; см. также Benacchio 1996, 5–6.

⁹ Указанные случаи можно рассматривать как проявление так наз. “гипертрофического употребления артикля”, о котором пишет Pellegrini 1995, 210, анализируя широкое употребление определенного члена в названиях книг и отдельных глав в румынском и албанском языках.

¹⁰ Сюда можно было бы добавить и разговорный вариант современного словенского стандартного языка, на котором говорят в Любляне.

¹¹ Коларич добавляет, что это связано также с появлением так наз. “современной гласной редукции”, вследствие которой многие словенские диалекты не стали различать определенную и неопределенную

форму прилагательного даже в муж. р. им. пад. Однако, как мы уже увидели (см. примечание 3), такое фонетическое изменение не касается резьянского говора.

¹² Особенно в германских языках наблюдается интересная аналогия со славянской тенденцией определенного артикля примыкать скорее к прилагательному, чем к существительному, см. Ramat 1986, 103, где подчеркивается аналогия между определенным (resp. членным) склонением прилагательного в славянской и в балтийской группах, с одной стороны, так наз. слабым склонением прилагательного в германских языках, с другой. По мнению Рамата, и в германских языках определенный артикль развился постепенно по мере того, как "слабое склонение" теряло свою исходную индивидуализирующую функцию. Интересные замечания по этому поводу можно найти и у Parenti 1995.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Baudouin de Courtenay 1894 — Baudouin de Courtenay G. Il catechismo resiano. Con una prefazione del G. Loschi. — Udine, 1894.
- Baudouin de Courtenay 1913 — Baudouin de Courtenay J. Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. III. Resianisches Sprachdenkmal «Christjanske uzhilo». — St.-Petersburg, 1913.
- Kramaro 1927 — Kramaro J. To kristjanske učilo po rozoanskeh. — Gorica, 1927.
- Matičetov 1973 — Matičetov M. Zverinice iz Reziže. — Ljubljana, Trst, 1973.
- Matičetov 1987 — Matičetov M. Tri lesičice gotrice. — Ljubljana, 1987.
- Petris 1984 — Petris B. Autori resiani. — Udine, 1984.
- Иванов 1979 — Иванов В. В. Сравнительно-исторический анализ категории определенности-неопределенности в славянских, балтийских и древнебалканских языках в свете индоевропеистики и ностратики. — Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М.: Наука, 1979, 11–63.
- Йорданиди 1970 — Йорданиди С. И. Постпозитивное *-m* в языке сочинений протопопа Аввакума (в сравнении с языком писем царя Алексея Михайловича, былин и с севернорусскими говорами). АКД. — Тбилиси, 1970.
- Йорданиди 1978 — Йорданиди С. И. Из наблюдений над употреблением постпозитивного *-m* в русском языке XVII в. (на материале сочинений Аввакума). — Исследования по исторической морфологии русского языка. М.: Наука, 1978, 168–184.
- Толстой 1957 — Толстой Н. И. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке (на материале евангельских кодексов). — Вопросы славянского языкознания, 2. М.: Изд. АН СССР, 1957, 43–122.
- Толстой 1962 — Толстой Н. И. Опыт типологической характеристики славянского члена-артикля. — Всесоюзная конференция по славянской филологии, 17–22 дек. 1962. Программа и тезисы докладов. Л., 1962, 125–127.
- Элсберг 1967 — Элсберг И. Я. Значение и употребление постпозитив-

- ного указательного местоимения *тъ* (*тотъ*) в русском литературном языке XII–XVII вв. (на материале описаний хождений и путешествий русских людей). — Ученые записки Латвийского гос. ун-та, 1967, т. 83, 33–47.
- Benacchio 1994 — Benacchio R. Peculiarità morfosintattiche del dialetto resiano. — Problemi di morfosintassi delle lingue slave. 4. Padova: Unipress, 1994, 223–243.
- Benacchio 1996 — Benacchio R. A proposito dell'articolo determinativo in sloveno: la testimonianza del Catechismo resiano del Settecento. — Studi slavistici in onore di Nataliano Radovich. Padova: Cleup, 1996, 1–16.
- Kolarič 1960 — Kolarič R. Določna in nedoločna oblika slovenskega pridevnika. — Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1960, 5, 185–197.
- Kolarič 1961–1962 — Kolarič R. Določni in nedoločni spolnik v slovenščini. — Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1961–1962, св. 4–5, 170–174.
- Löttsch 1970 — Löttsch R. Zur Typologie grammatischer Interferenzerscheinungen im Bereich des Nomens. — Lëtöpis Instituta za serbski ludospyt, r. A, Budyšin, 1970, 17/1, 30–36.
- Mathesius 1947 — Mathesius W. Přivlastkové "ten, ta, to" v hovorové češtině. — Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, 1947, 185–189.
- Orožen 1972 — Orožen M. K določnemu členu v slovenščini. — Slavistična revija, 1972, let. 20, 105–114.
- Parenti 1995 — Parenti A. Osservazioni sulla storia dell'aggettivo determinato lituano. — Studi linguistici per i 50 anni del Circolo Linguistico Fiorentino. Firenze: Olschki, 1995, 197–214.
- Pellegrini 1995 — Pellegrini G. B. Concordanze balcaniche nell'uso dell'articolo determinativo. — Studi rumeni e romanzi. Omaggio a F. Dimitrescu e A. Niculescu. A cura di C. Lupu e L. Renzi. Padova: Unipress, 1995, 201–218.
- Ramat 1986 — Ramat P. Introduzione alla linguistica germanica. — Bologna: Il Mulino, 1986.
- Reichenkron 1966 — Reichenkron G. Anfänge einer Artikelausbildung im Serbokroatischen? — Die Welt der Slaven, Bd. XI, 1966, H. 4, 337–352.
- Renzi 1976 — Renzi L. Grammatica e storia dell'articolo italiano. — Studi di grammatica italiana. A cura dell'Accademia della Crusca, V. Firenze, 1976, 5–42.
- Steenwijk 1992 — Steenwijk H. The Slovene dialect of Resia: San Giorgio. — Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1992.
- Schneiderová 1993 — Schneiderová E. K užívání zájmena *ten* (v přivlastkové pozici) v mluvených projevech. — Naše řeč, 1993, 1, 31–37.
- Vaillant 1942 — Vaillant A. L'article en vieux slave. — Revue des études slaves, 1942, 20, 5–12.
- Wróbel 1984 — Wróbel H. Funktions of the demonstrative pronoun "ten" in spoken Polish. — Polish text linguistics. Uppsala, 1984, 41–51.

Marek Cybulski
Gdańsk

FAZOWÉ CZASNICZI W KASZĚBIZNIE

Кашубский язык — фазовые (фазисные) глаголы — глаголы со значением начала и конца действия

W kaszëbiznie — jak w polaszëznie i gwësno w jinëch slawiańszcich mowach — czasmk jakno predikat to je nôwôzniëszci dzël zdamego. Równak biwô i tak, że w jednym zdanim chcemë rzec o wicy jak o jedny dzejnoce. Tedë w taczim zdanim mómë wicy jak jeden czasnik, choc le jeden je w persónowi formie, a drëdżi nôczâszczy wëstapiwô w infinitiwie.

Tak tãż je tej, czedë je mowa o fazowëch czasnikach, to je tedë, czedë czasnik, co wskôzywô na początk abo kuńc dzejnotë, je w persónowi formie, a drëdżi, co pôkôzywô tã drëgã dzejnotã, stoi w infinitiwie. Uczali piszą, że ten infinitiw to je obiekt (Klemensiewicz 1957), choc dzysô w nowëch gramatikach sã utrziwô, że oba czasniczi robiã za złożony predikat (Saloni, Świdziński 1985).

W mojim dokazu o syntakse kaszëbszczëch czasników malënczi dzël przedstôwiô prawie ta sprawa. Sã tu tedë w persónowëch formach czasniczi początkã i kuńcã, a w infinitiwie te, co nama dôwają wiedzã o ti drëdżi dzejnoce. Przëkladë na to sã wëjãtë z całëgo *Słowôrza* Sëchtë (Sychta 1967–1976) le z czasmkowëch cëchów, bo le te cëchë móm analizowónë; jezlë to je jiny cëch jak analizowóny czasnik, to go podôwóm kole przëklada.

Autor *Słowôrza* ostawił przë mechtërnëch zôpisach informacjje, z jaczëgo tekstu nen przëklôd je, skãdka pochôdzy abo jesz jinë. Jô wëpisôł je tak, jak one sã podónë w *Słowôrzu*, to je po polsku. Dlô naszi robotë one nie sã jaż tak wôżné, choc w niechtërnëch mólach (np. 57) baro sã przëdôwają.

Czasniczi początkã

1. joc `zacząc` — ...jôł... wřëšćec (II 110)
zacęc `zacząc`
2. ...zacęłë holëc (pd, rzadziej śr) (jarmolec, VII 105)
3. ...zacina v persax holëvac (I 55)
4. ...zacęł... bïc (skoknoc, V 53)

5. ...są začqlē bic (štridovac są, V 304)
6. ...začina... naddavac (równac są, IV 344)
7. ...začqlē dergac (I 202)
8. [začql] dēšec (opow.) (moc, III 93)
9. ...začql drėvovac (Hel) (I 240)
10. Začinalo dŕhēc (Dziemiany) (VII 55)
11. ...začnq fugovac šopq (I 288)
12. ...začql gadac (kerovac, II 318)
13. ...začql są golēc (mėdlēc, III 66-67)
14. ...začne groxotac (I 365)
15. ...začne gŕac (paskovac, IV 241)
16. To začina pogŕmotovac (Lipusz, Dziemiany, Czarlino, Węsiory, Stężyca, Mściszewice) (VII 86)
17. ...začinö są gvözdovac... (rada, Lisewo) (I 394)
18. ...začnq hėrlėkac (II 11)
19. ...začql xrapac... (opow.) (moc, III 92-93)
20. ...začina xusc (II 58)
21. ...začql... xvirac (Wejherowskie, zwł. okolice Przetoczyna, Szemuda) (II 63)
22. [žeto]... začina jqdŕhēc (VII 106)
23. ...začina jėblotac (śr) (II 90)
24. ...začināmė (pn) || začinómė jesc... (żegnac są, VI 285)
25. ...začina karkac (Raŕb, Otałzyno, Pomieczyno) (II 138-139)
26. ...začqlö są klęc (pn) (VII 118)
27. ...gösqatka začqlē są naklėvac (prawie og.) (VII 118)
28. ...začinajo klukac (z prz., Kępa Żarn.) (II 171)
29. ...začql obkladac (II 173)
30. ...začql... okladac (prz., Tuchlino) (II 173)
31. ...začina są kopónkovac (Przymorze) (II 204)
32. ...začne krajac (żegnac, VI 285)
33. ...začql krańcovac (II 236)
34. ...začina kropic (II 258-259)
35. ...začina krukac... (z prz., Kępa Żarn.) (II 171)
36. ...jė serce začqlö latac (ńepokojic są, III 242)
37. ...začql go lėkaŕęc (dbac, I 192)
38. ...začne lėfórkovac... (Bór) (II 345)
39. ...začql... le mıc... (pn, śr) (II 351)
40. ...začqlē lėpic (II 356)
41. ...začinajo są... lokovac (VII 154)
42. ...začql lago.żec (III 5)
43. Začql są... lasęc (III 9)
44. To są ju z vėčora začqlö málńic (Wejherowskie) (III 45)

45. ...začqlo sꞗ mꞗcēc (III 62)
 46. ...začqła... męc (III 66)
 47. ...začqł zmęcac (III 84)
 48. ...začĩnā milkovac (III 83)
 49. ...začĩnā movic... (wierz.) (III 119)
 50. *Ju začĩna mroęc* (III 125)
 51. ...začñemě murovac (III 141)
 52. ...začqła zamatac (III 163)
 53. ...začqł... mꞗgolęc (III 152)
 54. *Záčqła mĩknqç*... (III 166–167)
 55. ...začqł mĩtęc (III 168)
 56. ...začqł... novaęc (III 223–224)
 57. ...začĩnaja (pn) || *začĩnóm ħedo ví 3ec* (VII 188)
 58. ...začqł padac (komu3ęc sꞗ, VII 126)
 59. ...začqł palęc (IV 15)
 60. *Záčñeš partovac svóy māl* (IV 35)
 61. ...sꞗ... začñq pěrdołęc (Kępa Swarz.) (IV 58)
 62. ...začĩnaja pěrkotac (pn) (VII 223)
 63. ...začqł véle pęskovac (jꞗxꞗc, II 71)
 64. ...začñe pleskotac... (pn, śr) (IV 76)
 65. ...začĩnā... plestac (pn, rzadziej śr) (IV 76)
 66. ...začqł plešec (IV 72)
 67. ...začñe plęzdrac (pd) (IV 78)
 68. ...začqła... plakac (mĩtęc, III 168)
 69. ...začqł po vadac (plakac, IV 84)
 70. *Záčĩnā priskac* (IV 168)
 71. ...začqł prosęc... (pn) (mĩknqç, III 166–167)
 72. ...začĩnā sꞗ psęc (IV 209)
 73. ...začĩnā pęskovac (pn, śr) (IV 263)
 74. ...začqł ręcac (skoknqç, V 53)
 75. ...začĩnā vęraqpac (pn) (IV 304)
 76. ...to sꞗ... začqło robic (nęcac, III 203)
 77. ...sꞗ začñe robic bālĩ (šlipsovac, V 270)
 78. ...začqłę obrabac (mocęc, III 95)
 79. ...začñe... rosc (IV 341)
 80. *Záčqł... uręcac*... (IV 371)
 81. ...začqło... rżñqç (vęc, VI 66)
 82. ...začqł... sec (štręcac, V 302)
 83. ...začĩnā... odsęcac (VII 285)
 84. *Záčĩnā smārkac* (Chalupy, Kuźnica) (V 94)
 85. *Záčĩnā sꞗ smroęc* (śr) (V 103)
 86. ...začĩnā strašñec (V 174)

87. ...začql střelac... (puscēc, VII 254)
 88. *Začina svítac* (V 205)
 89. ...začqla šarpac... (V 223)
 90. ...začina šaręc (V 221)
 91. [začńe]... šęc (cěxcovac, VII 34)
 92. ...začqlo šlagac (pn) (VII 262)
 93. ...začina šnikutac (Puckie, zwł. pn-zach) (VII 314)
 94. ...začqlě štrěxac... (V 301)
 95. *Začina tajac* (V 315)
 96. ...začina... utěpovac (V 410)
 97. ...začina... tkvac (Kępa Żarn.) (V 354)
 98. ...začql fõhovac (Przymorze) (VII 325)
 99. ...začina... tupkac (V 410)
 100. [začql] udavac (opow.) (moc, III 92–93)
 101. ...začinajõ sq... rozvíjac (VI 147)
 102. ...začńemě vozęc... (sěkovac, V 245)
 103. ...začńe vřěšęc... (mon. ok. Lini) (żeńic, VI 290)
 104. ...to... začinalo zmařkac (Hel, zwł. Kuźnica) (VI 240)
 105. ...začq[la] .. žęgnac (śr) (VI 284)
 106. ...sobe začinõ žlobic (VI 304)
 107. **počqc, počęnac** `rozpocząć` — ...tępac počinajõ (“3ęvčą i me3a”, 34) (V 409)2

Czasniczi kuńca

108. **dokõńęc** `dokończyk` — ...jã dokõńęc vřic rąka vřice (II 200)
skõńęc `skończyk`
 109. *Skõńčemě scęnac...* (kõrovac, II 208)
 110. *Ne skuńčiš... faflõnic* (Zabory) (VII 62)
 111. *Ne skuńčiš tẽ gągolęc* (Brusy, Czarnowo, Kosobudy, Czyczkowy) (VII 75)
 112. ...skuńčiš ohmėvac... (čõrxac, VII 40)
 113. *Žebės... skõńčil skřepolęc...* (pn) (V 66)
 114. ...skõńčelě vęcęřovac (VI 127)
 115. *Ne skuńčiš tẽ žabřovac?* (Zabory) (VII 378)
 116. ...jã skõńčą žalõbic... (VI 270)
 117. **ńęxac** `zaprzestawać czego` — ...ńęxã pic (III 236)
přestac `przestac`
 118. ...přestål gadac (sapic sq, V 21)
 119. ...přestańi kuřęc (II 308)
 120. *Přestõń lākac...* (II 330)
 121. ...přestań mamlotac (III 45)
 122. ...přestańi pępac (Puckie) (VII 222)
 123. *Přestań pińtolęc...* (Zabory) (IV 276)

124. *Přestaňi repetovac...* (pn) (IV 323)
 125. *...přestaňi retěškovac* (Puckie) (IV 325)
 126. *Přestaňi rěkac* (IV 317)
 127. *...va sã ñe přestaňita šarpac* (V 223)
 128. *Přestaň šixolęc...* (Zabory) (VII 310)
 129. *Přestaň taraxovac* (Zabory) (V 325)
 130. *...přestaňi trelovac* (V 385)
 131. *...přestal... pozdrařac* (VI 203)
opřestac 'przestac'
 132. *...opřestõne bolęc...* (vzic, VI 118)
 133. *...opřestal bręęc* (Zabory, rzadziej Gochy, śr) (VII 20)
 134. *...opřestõn fajronic* (Zabory) (I 277)
 135. *Žebęs... opřestõl flabotac* (pn, śr) (I 282)
 136. *...žebëm opřestal gadac* (mrugnęc, III 129)
 137. *...opřestal krãvcovac* (II 240)
 138. *...opřestõne lecec...* (Puckie) (lužknęc, VII 156)
 139. *Opřestaň... maglac* (III 64)
 140. *To opřestalo mžękovac* (sporad. śr) (III 148)
 141. *...opřestõneš paplac* (IV 25)
 142. *...opřestõne plakac* (žalovac, VI 270)
 143. *...opřestac robic* (xitnęc, II 29)
 144. *...opřestale provaęc* (IV 175)
 145. *...opřestala skajac do sebe* (Gochy, rzadziej Zabory) (V 46)
 146. *...opřestaňta sã smukac* (V 103)
 147. *...opřestal ščekac* (lãgõęc, III 5)
 148. *...opřestõneš šepelęc* (Wejherowskie) (V 250)
 149. *...opřesta šnarovac* (Puckie) (VII 314)
 150. *Ñe opřestõneš... švęktac* (V 311)
 151. *...opřestõnita* (pn) || *opřestõnta... tačac...* (V 364–365)
 152. *Ñe opřestõne to žis vřõsęc* (pn) (VI 112)
přestaňkac — dem. od *přestac*
 153. *...přestaňkãj ajac...* (VII 1)
 154. *Přestaňkãj stãkulkac* (śr) (V 158)

Westrzõd konstrukcějow z czasnikama poczãtka sã trzẽ czasniczi: *řęc, začęc, počęc* i tuwo nõwicy (106) przẽkladõw mõmẽ z *začęc*, a z zaostalima po jednym.

Ježlẽ jidze o czasniczi kuńca, to mõmẽ jich szesc: *dokõńęc* i *skõńęc* pochõdajã z jednego dърżenia, a *přestac*, *opřestac* i *přestaňkac* z drůdzęgo; westrzõd nich *ñexac* ostõwõ jãkno sõm le z jednym przẽkladã.

Cekawẽ, znõnẽ niẽ le w kaszëbiznie je zjawiszcze zdrobmenięgo

czasników (Kreja 1978, 61–71; Wrocławska 1974, 121–125) z przekładã *přestaŋkac* (153, 154). To wëstapiwô w taczych formach, jak infinitiw i rozkôzownik, co je baro dobrze widzec w przekładze 154.

Jinszô sprawa to formë czasników w ternym czasie ze scygniãcym abo bez niego. Stôrë formë, bez scygmãcô (57: *začínajq*) są znónë na nordze Kaszëbów, a scygniãté (57: *začínóm*) — jak w polaszëznie — sã spotikô na westrzédnych i pólniowëch Kaszëbach, co *Słowôrz* Sëchtë nama pokôzywô.

Dalszô kaszëbskô znanka to formë rozkôzownika w drëdzi persónie obu lëczbów z dôwnym kunoszkowym *-i||-ë* abo bez niego. Te stôrë z *-i||-ë* są zachowónë przede wszëtczim na nordze, co tëż w przekładach je widzec (np. 151: *opřestoŋita||opřestoŋta*, 119–126).

Słowôrz ks. dra B. Sëchtë je znóny i wenerowóny w slowiańszcim swiece uczalëch z bogatëgo i prôwdzëwëgo obraza kaszëbsczï mowë. Je to baro dobrze widzec tëż i w przëpôdku konstrukcjów z fazowima czasnikama, a przë leżnoscë moze tëż w nim nalezc tipowë dlô kaszëbiznë zjawiszcza.

Spisënk skrodzënow

Këpa Swarz. — Këpa Swarzewska	og. — ogólnie ogłowo
Këpa Żarn. — Këpa Żarnowiecka	opow. — opowiadanie opowiadanië
pd — południe pólnie	prz. — przysłowie przysłowië
pn — północ norda	sporad. — sporadycznie czasã
śr — środek westrzôdk	wierz. — wierzenie wierzenië
zach — zachód zôpód	zwl. -- zwiãszcza przede wszëtczim

SPISËNK PISMIENIZNE

- Klemensiewicz 1957 — Klemensiewicz Z. Zarys składni polskiej. — Warszawa, 1957.
- Saloni, Świdziński 1985 — Saloni Z., Świdziński M. Składnia współczesnego języka polskiego. -- Warszawa, 1985.
- Sychta 1967–1976 — Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. I–VII. — Wrocław, 1967–1976.
- Kreja 1974 — Kreja B. Czasowniki zdrobniałe na *-k-* w dialektach polskich oraz innych językach slowiańskich. — Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. Seria 5. Warszawa, 1978, 61–71.
- Wrocławska 1974 — Wrocławska E. Kaszubskie czasowniki hipokorystyczne. — Studia z filologii polskiej i slowiańskiej. Warszawa, 1974, t. 14, 121–125.

Hanna Popowska-Taborska
Warszawa

SŁOWIŃSKIE KRZYWANIE JAKO JESZCZE JEDEN PRZYKŁAD PRZECIWIENSTW BINARNYCH

*Leksykologia — leksyka kaszubska — wyraz "krzywanie" w Małym
Katechizmie M. Pontanusa (1643) — etymologia — semantyka*

W bogatym dorobku zmarłego niedawno Profesora Nikity Iljicza Tolstoja znajdują się dwa artykuły omawiające szeroko rozpowszechnioną binarną opozycję *prawy-lewy* (Толстой 1965; 1987). Zgromadzony w tych artykułach materiał ilustruje różnorakie znaczenia pozytywne związane z pierwszym członem tej opozycji i negatywne przypisywane członowi drugiemu. Zjawisko to, charakterystyczne nie tylko dla kultury indoeuropejskiej i znajdujące również odzwierciedlenie w folklorze, mitologii, wierzeniach i obrzędowości poszczególnych społeczeństw, rozpatrywane jest przez badaczy różnych kręgów kulturowych (o czym bardziej szczegółowo w cytowanych wyżej pracach).

N. I. Tolstoj uwagę swą koncentruje na opisie tego zjawiska w Słowiańszczyźnie i wyznacza cały szereg par w rodzaju *męski-żeński*, *zachodni-wschodni*, *górnny-dolny*, *przedni-tylny* niezmiennie funkcjonujących w języku i kulturze badanych społeczności. W przedstawionym poniżej artykule pragnę pokazać, jak bardzo owe etnolingwistyczne badania i płynące z nich wnioski stać się mogą pomocne w pracy etymologa szukającego właściwej genezy poszczególnych wyrazów i pragnącego wyjaśnić ich nie zawsze przejrzyste znaczenia.

W pochodzącym z roku 1643 Małym Katechizmie Michala Pontanusa, pastora w słowińskiej wsi Smoldzino, napotykamy taki oto tekst niemiecki i jego tłumaczenie na język "Wandalski ábo Słowięski":

Item / der Catechismus soll mit fleis getrieben vnnnd alle Quartal repetiret werden etc. Auff daß. NB. die Herzen von segenen / bo*ten / Wicken / Warfagen / Zauberey / vnnnd der gleichen Teufffischen Beyglauben zur Gottesfrucht vnd zu rechtem vertrawen zu Gott / gewehnet werden.

Item: Catechism pilnie ma byc uczon y nã kãzdy Quartal y czwierz Roku powtorzon / áby fercã ludzke od żegnãnia / krziwãnia / wochwiania / czarzenia y tym podobny Dyabelsky Przywierze do

Bogoyncsi y práwe nádzeje w Bogu milym obrocone byli. (Pontanus 1643, 5).

Uwagę zwraca owo *krzywanie*, którym M. Pontanus zastąpił w tłumaczeniu niem. *bo^oten* i *Wicken*. F. Ślowski — zgodnie ze znaczeniem memieckiego wyrazu *Wicken* — tę izolowaną na gruncie słowiańskim formę opatruje znaczeniem 'zamawianie, czarowanie' i pisze, co następuje:

krzywanie 'zamawianie, czarowanie' dawne dial. kasz. — słowiń., wyjątkowo w Małym Katechizmie Pontanusa, r. 1643 [...] jako odpowiednik śrdniem. *wicken* 'wróżyć, zamawiać, czarować'. — Utworzone od przym. **krivъ* (p. *krzywy*) czasowniki **kriviti*, **krivati* wykazują w poszczególnych językach słowiańskich także znaczenia przenośne 'fałszywie tłumaczyć, zmeksztalceć, wypaczać' (p. *krzywić, krzywać*), por. też ros. dial. *krivlatъ* 'łgać, kłamać'. Wyjątkowe *krzywanie* to zapewne więc pierwotne nomen actionis od *krzywać*, nie zaświadczonego jednak w znaczeniu 'zamawiać, czarować'. O należącem najprawdopodobniej także do tej samej rodziny lit. *krivis* 'pogański kapłan' p. Fraenkel LEW 300, Buga RR I 170–9 (tu też o *kriwe* 'najwyższy kapłan pogańskich Prusaków', p. Frischbier Preuss. Wb. I 432) (Ślowski 1966–1969, 245).

Dodatkowe bardzo istotnie światło na genezę formacji *krzywanie* rzuca niedawno opublikowana praca F. Hinzego (Hinze 1991). Badacz ten — w związku z odwołaniem się F. Ślowskiego do nawiązań bałtyckich — zwraca uwagę na dającą wiele do myślenia wypowiedź W. N. Торогова: "Мотив кривизны (или его варианта — левизны) постоянно встречается с темой гадания, предсказания как непрямого выбора (ср. типологические параллели употребления в этих случаях кривой палки или вообще предмета неправильной формы). Сами основатели традиции нередко обозначаются по принципу *кривой, левый*, ср. мифологизированного прародителя кривичей *Крива*" (Топоров 1984, 214).

F. Hinze nie ma więc wątpliwości, że użyty przez M. Pontanusa wyraz łączyć należy z ps. **krivati*, utworzonym od ps. adi. **krivъ* 'krzywy'. Kontynuant ps. **krivati* istnieje zresztą do dziś w północnych dialektach kaszubskich w znaczeniach bardzo wyspecjalizowanych i odległych od pierwotnego: *křevac* 'macać kurę, czy ma jajko', 'wybierać ryby z sieci'. Hinze — polemizując ze wcześniejszymi etymologiami (por. Варбот 1979) — przekonujące wskazuje genezę owych wtórnych znaczeń, opisując szczegółowo sposób, w jaki odbywa się owo macanie kury i wybieranie ryb z sieci. — W obu wypadkach czynności polegają na skrzywianiu (kurzej głowy, końca więcierza), interesujące nas verbum kaszubskie sprowadza się zatem

w tych konkretnych przypadkach do podstawowego znaczenia 'krzywić, czynić krzywym'.

Jakie jednak znaczenie przypisać należy verbum *krzywać*, od którego utworzona została forma *krzywanie* występująca w Małym Katechizmie M. Pontanusa? Metoda zaprezentowana w pracach N. I. Tolstoja każe nam szukać w tym wypadku przejrzystej opozycji *krzywy - prosty* i obserwować sposoby, w jakich opozycja ta funkcjonuje w języku. Łatwo spostrzec, że — podobnie jak w wypadku zaprezentowanych przez Tolstoja pojęć *lewy-prawy* — wokół członu pierwszego (*krzywy*) grupują się znaczenia negatywne, przeciwstawane tym, które niesie człon drugi (*prosty*). Por. w związku z tym: stpol. *krzywy* 'fałszywy, nieprawdziwy, niegodziwy, zły', 'winny, zasługujący na karę' oraz stpol. *prosty* 'prawy, sprawiedliwy, szlachetny, słuszny, właściwy', 'niezawisły', 'rozumiały', 'szczerzy, otwarty'. Analogiczne przykłady odnajdujemy we wszystkich językach słowiańskich. Z dialektów kaszubskich poświadczono jest ponadto *prosto* adv. w użyciu rzeczownikowym 'słuszność, racja': m'ec *prosto* 'mieć rację' (Syhta 1976, 242–243). Ten właśnie ostatni przykład skłama do zastanowienia się, jakie faktycznie znaczenie miało *krzywanie* użyte (bądź utworzone) przez Michała Pontanusa. Czy rzeczywiście — zgodnie z tekstem niemieckim — opatrzyć je należy znaczeniem 'zamawianie, czarowanie', czy też — zgodnie z ogólną tendencją obserwowaną w językach słowiańskich — należy dopatrywać się tu próby określenia czynności negatywnych, odbiegających od ogólnie przyjętych norm? Zauważmy, że pięciu wyrazom występującym w tekście niemieckim / *fegenen* / *bo'ten* / *Wicken* / *Warfagen* / *Zauberey* / w tekście tłumaczenia odpowiada zaledwie cztery / od żegnania / krzywiania / wochwiania / czarzenia /. Tym więc bardziej prawdopodobne staje się przypuszczenie, że Pontanus — w braku ścisłych odpowiedników wyrazów niemieckich — wprowadził ogólniejsze pojęcie *krzywanie* jako określenie czynności niesłusznych, a dotyczących "diabelskiej Przywiary", pozostających w opozycji do kaszubskiego wyrażenia *m'ec prosto*, które mówi o czynnościach słusznych i godnych poparcia. Przy takiej interpretacji w formacji *krzywanie* nie należałoby dopatrywać się archaicznego terminu związanego z dawnym magicznym światem słowiańskim (nie poświadczonego przecież w żadnym innym źródle językowym), lecz widzieć określenie utworzone w ten sam sposób jak całkiem już współczesne funkcjonujące w języku polskim *skrzywienie* / *wypaczenie*, *odchylenie* / *ideologiczne*. Te właśnie ostatnie przykłady wskazywałyby na powtarzalność niektórych procesów językowych, na którą w swych pracach zwracał tak pilną uwagę Nikita Iljicz Tolstoj.

LITERATURA

- Варбот 1979 — Варбот Ж. Ж. Лехитские этимологии. — Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1979, 317–328.
- Толстой 1965 — Толстой Н. И. Из географии славянских слов. 3. *правый-левый*. — Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965, 133–141.
- Толстой 1987 — Толстой Н. И. О природе связей бинарных противопоставлений типа *правый-левый, мужской-женский*. — Языки, культуры и проблемы переводимости. М., 1987, 169–183; przedruk w: Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М., 1995, 151–166.
- Топоров 1984 — Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. — М., 1984.
- Hinze 1991 — Hinze F. Keine Etymologie ohne Onomasiologie. Dargestellt an einigen Fällen von Sinnwandel in pomoranischen und baltischen Ausdrücken für den Bewegungsbergriff 'wenden, biegen, drehen'. — Natalicia Johanni Schröpfer octogenario a discipulis amicisque oblata. Festschrift für Johannes Schröpfer zum 80. Geburtstag. München, 1991, 201–212.
- Pontanus 1643 — Der kleine Catechißmus D. Martini Lutheri. Deutsch vnnnd Wendisch gegen einander gesetzt. Mit anhangе der Sieben Bußpsalmen König Davids. Danzig 1643. Nachdruck besorgt von R. Olesch. — Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1958.
- Slawski 1966–1969 — Slawski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. III. — Kraków, 1966–1969.
- Sychta 1976 — Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. VII. — Wrocław, 1976.

Roland Marti
Saarbrücken

WUWIŚE DOLNOSERBSKEGO PŚAWOPISA W 20. STOLEŚU¹

Западнославянские языки — нижнелужицкий язык — развитие правописания в XX в. — нижнелужицкие швабах и латиница — принципы правописания — нерешенные проблемы

0. Pisna rěc jo waźny źěl kuźdeje rěcy, a za standardnu rěc wona pśedstajijo glownu formu. Togodla su rozestajenja wo rěcach cesto rozestajenja wo jeje pisnej formje. To plaši za nutśikownorečne a teke mjazyrěčne diskusije. Glownu rolu pśi takich diskusijach grajo kodifikacija pisneje rěcy, to groni pśawopis.

Pśawopis jo glowna forma rěčneje kodifikacije. Za standardnu rěc jo pśawopis notny, mjaztym aź možo kodifikacija drugich aspektow rěcy felowaś. To plaši wosebnje za ortoepiju, kotaraž kodifikujo se cesto pozdźej abo wostanjo bžeze kśuteje kodifikacije.

Mjazy pisneju a wustneju formu rěcy wobstoj wěsty zwisk, a na podložku tego zwiska dajo se pśawopis klasifikowaś.² Možomy potakem rozeznawaś někotare pśawopisne principy. Pśi *fonetiskem* abo *fonologiskem* principje wobtłyščuju pśawopis zuki abo fonemy wustneje rěcy.³ Pśi *morfologiskem* principje jo rownina, kotaraž se reprezentuju, ten morfem.⁴ Pśi *historiskem* principje wobchowa pisna rěc formy, kenž su něga wotpowědowali wustnej rěcy (zukam abo morfemam), ale wuwiša wustneje rěcy dla ten zwisk wěcej njewobstoj.⁵ Toś te principy njejsu rownopšawne: za wśykne zukowe pisma jo fonetiski abo fonologiski princip zakladny. Morfologiski pśawopis potakem wotpowědujo we mlogim fonologiskemu; jano we wěstych padach pśeměnijo morfologiski princip fonologiske pisanje.

Na zachopjenku jo byl zwisk mjazy pisneju a wustneju formu rěcy jadnobočny: pisna rěc jo wotwisala wot wustneje; wśak jo se wutworila na jeje podložku. Dokulaž pisna rěc žmsa grajo wětšu rolu, možomy wobglědowaś teke hynakšu wotwisność: pisna rěc wobwliwujo wustnu formu. Pśiklad toho wuwiša jo wugronjenje po pśawopisu (w engelskej rěcy tomu se groni "spelling pronunciation").

Pśawopis njewupolmjo jano rěčny, objektivnje trěbny nadawk, ale won ma teke symboliski wuznam. Rěc, kenž jo kodificerowana, stakim dopokazujo swoju samostatność.⁶ A sama forma pśawopisa (a teke

pismikow) možo daš pśidatne symboliske informacije. Gaž pšawopis jadneje rěcy se wutworijo po pśiklaže kodifikacije drugeje rěcy, pokazuju to, až mjazy tyma rěcoma wobstoj wěsta bliskosć abo wotwisnosć (rěčna, politiska, kulturalna, nabožna). Gaž, nawopak, pšawopis jadneje rěcy se rozdzělujo wot kodifikacije drugeje, z njeju na někaku wizu zwězaneje rěcy, pšeražijo to žycenje za wobgranicowanim wot teje drugeje rěcy. To plaši mc jano za wutworjenje pšawopisa: teke pśi reformach možo symboliska funkcija wjeliku rolu graś.⁸

1. Pśi pšepytowanju wuwěša dolnoserbskego pšawopisa w 20. stolěšu musymy wuchozjiš wot starego (šwabachskego) pšawopisa, dokulaž jo šwabachski pšawopis mocnje wobwliwowal dokońcne wutworjenje analogiskego pšawopisa z latoryńskimi pismikami.

Dolnoserbski šwabachski pšawopis jo byl zwězany z nimskim pšawopisom na jadnom boce a z pšawopisnymi systemami susednych slowjańskich ludow (českego a polskego) na drugem boce. Předny wliw jo k wizenjeju pśi pisanju tych zukow, kenž se namakaju teke w nimskej rěcy, a drugi tam, zož nimska rěc njejo měla podobne zuki. Toš ten dwojaki wliw namaka se južo pla Jakubice w přednem pśelozku Nowego testamenta. Šwabachski pšawopis jo se dalej wuwijał w slědujucych stolěšach a jo se wudospołml. Dokońcnu formu jo won nabył pšez Tešnarja a Šwjelu we drugej polojcy 19. stolěša.⁹

Dwojaki wliw jo dal slědujucy system za dolnoserbski šwabachski pšawopis¹⁰ — gl. tabl. na s. 101.

Dwojakego pochada dla zawostajijo šwabachski pšawopis zašišć njejadnotnosći. Glicholan jo won godny wurazniš wšykne zukowe wosebnosći dolnoserbskeje rěcy; na to pokazuju fakt, až možo se šwabachski pšawopis pšetwariš na analogiski bžeze pśidatnych informacijow. Dokulaž su žiši wuknuli w (mmskorěcnej) šuli šwabachske pismiki, jo wužywanje toš tych pismikow teke za serbsčinu wolažcylo nadawk kantorow a fararjow. Měmm, až jo se togodla mogal šwabachski pšawopis tak dlujko žaržaš (do zakaza serbskorěcnych kniglow a casnikow w tšizasetych lětach a w cerkwinych kniglach až do žinsajšego).¹¹

2. Analogiski pšawopis, wužywjucy latorynske pismiki (antiqua), jo akle w 19. stolěšu nastal. Zwahr jo drje ako předny wužywal latorynske pismiki, a to za dolnoserbsku rěc, ale won jo hyšći wobchowal stary pšawopis.¹² Potom stej Smolař a Haupt přednu wariantu analogiskego pšawopisa wužywalěj we jeju wudašu serbskich ludowych pšesnjoj, a to ned za gorno- a dolnoserbske pšesm.¹³ Po nim jo se analogiski pšawopis skońcnje ředował za gornoserbsku standardnu rěc (Pfuhl 1848, gl. teke Faßke 1984, 875–876).

pšawopis			
šwabachski			analogiski
pismik(i)	pšikład		
	nimski	slowjański	
č / c̄		p.: cz / č.: č	č
c̄		p.: cz / ć	ć
č / ċ		č.: ě	ě
ł		p.: ł	ł
ó		p.: ó	ó
f / ø	f / ø		z
ß	ß		s
fch	fch		ś
fch	(fch)		š
ð	ð		c
ž / ž̄		č.: ž	ž
ž̄		p.: ž	ž

Zawiny za zawježenje analogiskego pšawopisa z latýnskimi pismikami su skejrej byli symboliske: šwabachske pismiki su byli znamje zvežanosti Serbow z Nimcami (abo wotwisnosći wot nich): latýnske pismiki su byli neutralne. Wužywanje diakritiki jo podšmarnulo bliskosć wosebnje z českeju tradiciju. A analogiski pšawopis jo zvežal Serbow z drugimi slowjańskimi ludami: pšez "etymologiske" pisanje su se serbske slova pšibližyli wotpowědujucym słowam w drugich slowjańskich rěcach.

3. Ten pšawopis jo se "po analogiji" teke wužywal za rěc dolnych Serbow; jano za typiske dolnoserbske zuki su se zawjadli wosebne pismiki (<ś> a <ž>). Pši tom jo se glědalo na to, aby rozdžěl mjazy gorno- a dolnoserbskim pšawopisom byl minimalny (princip "jadnakoserbskosći").¹⁴ Togodla su se teke naražili a wužywali pisanja, kenž njejsu wotpowědowali tradicijam šwabachskego pšawopisa. Glowne problemy su nastali we tšich slědujucych dyckach:

— Pisanje *tr, *kr, *pr. Gornoserbski pšawopis jo how wužywal

pismik <ř>, kenž pšeražijo etymologisku zwězanosć ze zukom /r/. Dolnoserbška šwabachška tradicija jo pisała <řš>/<řš>, <řš>/<řš>, <řš>/<řš> we wotwisnosći wot slědujucego wokala.

— Etymologiske pisanje. Gornoserbski pšawopis jo wobchował zuki, kenž se wěcej njejsu wugronili, po analogiji ze susednymi słowjańskimi rěcami. We dolnoserbških tekstach se take “nime” zuki za wětšy part wěcej pisali njejsu (gl. *neđ, 3o, cu, lcf*). Tej dwě wosebnosći stej zwězanej z tym, až wotpowědujo dolnoserbški šwabachški pšawopis wěcej fonologiskemu principoju nježli gornoserbski analogiski, kenž pšeražijo wětšy wliw morfologiskego a wosebne historiskego principa.

— Změknjenje. Gornoserbski pšawopis jo wšuži wobznamjenil změknjenje pšez <j>. ¹⁵ We dolnoserbškim šwabachškim pšawopisu stej se wužywałej smužka (abo dypk) a <j>, a to po wěstych pšawidłach (gl. Šwela 1896 a 1903: 24–26): (1) smužka stoj na końcu morfemow; pšed <c> pši wšykných konsonantach z wuwžešim <f> a <g>; pšed <a>, <o>, <u> pši <n> a <r>; (2) <j> se pišo pšed <a>, <o>, <u> po , <f>, <g>, <f>, <m>, <p>, <w>. Zawina za wužywanje smužki abo <j> jo była fonetiska: tam, žož [j] jo wěcej k słyšanjeju, změknjenje se wobznamjenijo pšez wosebny pismik <j>, a w drugich padach, žož měkosć lažy wěcej w konsonantach, pšez smužku.

4. Pši pisanju dolnoserbškeje standardneje rěcy z łatyńskimi pismikami a analogiskim pšawopisom su se te problemy na zachopjeńku rozwězali na wšaku wizu. Dłujko jo se pisało <kr>, <pr>, <tr>, změknjenje jo se wšuži wobznamjenilo pšez <j>, ¹⁶ a “nime” zuki su se na wětšy part pisali. ¹⁷ To co groniš, až dolnoserbški analogiski pšawopis jo wotpowědował gornoserbskemu: na taku wašnju jo se dojspiła jadnakoserbskosć.

Akle na zachopjeńku 20. stolěša stej Bogumił Šwela a Arnošt Muka naražilej dokońcnu kodifikaciju dolnoserbškego analogiskego pšawopisa. Pši tom wěcej nejstej wuchojžilej z principa jadnakoserbskosći, ale stej slědowalej principoju “jadnakodolnoserbkosći”: ¹⁸ dolnoserbški analogiski pšawopis z łatyńskimi pismikami ma wotpowědowaš dolnoserbškeje šwabachškeje tradiciji (a stakim dolnoserbškimu wugronjenju). ¹⁹ Togodla jo dolnoserbški analogiski pšawopis wužywał <kš>/<kš>, <pš>/<pš>, <tš>/<tš> (a nic <kr>, <pr>, <tr>), změknjenje jo se pisało z <j> abo ze smužku po spomnjetych pšawidłach, a “nime” zuki njejsu se zwětšego pisali. Ta jednotnosć mjazy šwabachškeju tradiciju a analogiskim pšawopisom jo se wobchowała až do końca wužywanja šwabachških pismikow. ²⁰

5. Po drugej swětowej wojnje njejo se šwabachška tradicija wěcej wotnowiła. Na zachopjeńku su se šišćali jano gornoserbske knigły,

casopisy a casniki, a to po pšawidlach analogiskego pšawopisa, wużywaneho w Mašicnych spisach, w kulturnych casopisach a změstymi teke w casnikach. Šišć dolnoserbških publikacijow jo zachopil pozdžej, a to w Budyšinje. Tam su wot końca lěta 1947 šišćali *Dolnoserbški casnik* ako pšilogu *Noweje doby*. Zazdašim jo to byla předna dolnoserbška publikacija po wojnje, a wona jo hyšći slědowała pšawidlam kodifikacije Šwjela/Muki.

W přednych lětach jo se kněžyla wěsta njejasnošć we pšašanjach pšawopisa dolnoserbškeje standardneje rěcy. Ta njewěstosć jo se pokšušila, dokulaž su se wobnowili pominanja pšibliženja mjazy gorneju a dolneju serbšćinu. Wo tom jo se pisalo w casniku (Jenč 1948), a z tymi pšašanjami su se teke zaběrali wědomnostne institucije (gl. Geskojc 1995).

Serbska rěcywědna komisija jo na posejženju dnja 18.7.1950 wobradowała pšašanje “Mamy delnjoserbšćinu w přichodže wobhladować jako samostatnu rěč abo jako narěč?” a jo rozsužila “... zo so tuchwilu prašenje, hač samostatna rěč abo narěč, njeda rozrisać, zo može tuž tuchwilu z najwažnišej a přenjeje kročelu jeno być, zo so znajmjenša w prawopisu zjednočimy. Z tym ma so zaběrać wosebita komisija... Na Serbski zarjad zapoda se scěhowace wobzamknjenje: Zo bychmy dóšli k někajkemu zjednočenju w poměrje hornjoserbšćiny k delnjoserbšćinje, namjetuje rěčespytna komisija, zo by so štož móžno delnjoserbšćina pisala po prawidlach hornjoserbskeho prawopisa.” (SKA, ISL X.5 D b. 3). Spomnjeta komisija jo se na posejženju dnja 26.7.1950 zaběrala z pominanim Serbskeho zarjada, až “hornjo- a delnjoserbski prawopis mataj so zbližić. Zinjechčenje zwukow ma so na jednotne wašnje woznamjenječ”, ale wot tšich clonkow jo se jano jaden wugronil za take pšeměnenje (SKA, ISL X.5 D b. 5). Potom jo se rěcywědna komisija na posejženju dnja 19.9. wugronila za slědujuće: “Delnjoserbšćina je samostatna rěč a ma jako tajka samsne prawa kaž hornjoserbšćina. ... Zjednočić so wobě rěči njehodžitej” (SKA, ISL X.5 D b. 9).

Mjaztym su se pšašanja pšawopisa rozsužili *de facto* pšez to, až jo nakladnistwo zawjadło nowy pšawopis. Pšeměnenja pšeskiwo staremu analogiskemu pšawopisoju su byli slědujuće:

- a. Wobznamjenje změkjenje pšed wokalom wšuzi pšez <j>. ²¹
- b. Wužywanje <w-> město <h-> na zachopjenku morfemow w tych padach, žož <h-> jo wotpowědował etymologiskemu wokalnemu nazukowu a žož w gornoserbskej rěcy stoj <w>. ²²
- c. Wužywanje <o> město <ó>. ²³
- d. Zaměnenje <i> pšez <ě> we slowach <gniw>, <nimski>, <nimy>, <spiw>, <žinsa>, <žiši> a we wotwoženjach.

Ta reforma *de facto* njejo wotpowědowała rozsuženjam komisije a njejo se přesajžila bžez wopěranja. Zajmowane luži z Dolneje Łužycy su pšiglosowali reformje jano z wuměnenim.²⁴ 6. Pšez reformu (wosebnje dypki a., b. a d.) jo se dolnoserbski pšawopis pšibližyl gornoserbskemu. Symboliski to jo dejalo podšmarnuš jadnotnošć Serbow Gorneje a Dolneje Łužyce. To jo šim wěcej bylo tak, šym mocnej jo gornoserbska standardna řeč wobliwowala dolnoserbsku. A to jo wotcuzbnilo žěl nosarjow dolneje serbsčiny wot standardneje řečy: woni su drje dalej wužywali swoj dialekt a su cytali prjatkarske knihly a bibliju, ale njejsu nawuknuli no wy pšawopis a su se wotwobrošili wot publikacijow we dolnoserbskej standardnej řečy.

Což nastupa pšawopisne principy, jo reforma pšeměnila system dolnoserbskego pšawopisa. Do kněžecego fonologiskego a morfologiskego principa jo pšistupil historiski princip, dokulaž we stawiznach dolneje serbsčiny jo se praslowjański wokaliski nazuk nejpjerwej pšeměnil na [w-] a potom na [h-] resp. na wokaliski nazuk. To samske plaši za pšeměnenja o/ó a ě/i we spomnjetych slowach. Togodla njejo pšawopis dolnoserbskeje standardneje řečy po reformje wěcej wotpowědalo wugronjenju we tych padach.

Te pšeměnenja we pšawopisu su měli njewocakowany wuslědk,²⁵ kenž jo byl zwězany ze šěžkim položenim serbsčiny ako mjenšynowa řeč na jadnom boce a z wotcuzbnjenim nosarjow řečy wot standardneje řečy na drugem. Pšez pšenimcowanje a wotcuzbnjenje jo dolnoserbska standardna řeč zgubila žywy podložk, zwisk z dialektami, a jo se stala "kumštna" řeč. Dokulaž wona jo glownje wobstojala w pisnej formje, jo pisna forma teke wobliwowala wugronjenje. To jo wjadlo k wugronjenju po pšawopisu (spelling pronunciation), což jo dolnoserbsku standardnu řeč hyšći wěcej zdalowało wot dialektow.²⁶

7. Do politiskego pšewrošenja se wo tych pšašanjach wjele diskutowało njejo. We wopisanjach fonetiki dolnoserbskeje standardneje řečy jo se pokazalo na problemy o/ó (Janaš 1984, 37–38, Starosta 1991, 23) a w-/h- (Janaš 1984, 52), ale pšecoj jo se dopuščalo (abo samo pominalo) wugronjenje [o] resp. [w-].

Po pšewrošenju jo se pšašanje dolnoserbskego pšawopisa pak stajilo na dnjowny porěd, dokulaž su zagronite za zdžaržanje a spěchowanje dolnoserbskeje řečy rozměli, až jo jedna ze zawinow za wotebėranje licby nosarjow dolneje serbsčiny rozdzěl mjazy dialektami a standardneju řeču. Pšez pšawopisnu reformu by se mogal ten rozdzěl pomjenšyš. Togodla jo se nowozaložona dolnoserbska řečna komisija [DSRK] Mašice Serbskeje²⁷ zabėrala z možnošću pšawopisneje reformy, kotaraž by pšibližyla dolnoserbsku standardnu řeč dialektam (a stakim pjerwejšym regulam a principam). Předny wuslědk toho

pšepytowanja jo bylo wobzamknjenje DSRK dnja 11.2.1995, slědk wzeš dypk d. reformy. Wot tego casa se pišo zasej <gniwaš>, <nimski>, <nimy>, <spiwaš>, <žinsa>, <žiši>. Dokulaž jo to wubužilo mocnu diskusiju we zjawnosći, jo DSRK dalšne možne reformy wobradowala wjelgin wobglědniwy a jo se pšiwobrošila k wšyknym zajmowanym wužywarjam dolnoserbskeje standardneje rěcy. Pšedwižonej dypka reformy stej bylej pisanje <h-> a <ó> (dypka b. a c.)²⁸ DSRK zazdašim njejo kšěla pšeměniš dypk a. (jotowanje). Za reformu stej powědalej žyćenje pomjeňšyš rozdžěl mjazy powědaneju a pisaneju rěcu (jadnakodolnoserbskosć)²⁹ a starša tradicija (do lěta 1933), pšesiwo reformje mlodša tradicija (wot lěta 1949) a žyćenje wobchowaš wěstu bliskosć mjazy gorneju a dolneju serbsčim (jadnakoserbskosć). Po dlujkich wobradowanjach jo komisija wotpokazala dalšnu reformu.³⁰

To co groniš, až z wuwzešim pisanja <i> we spomnjetych slowach pšawopis dolnoserbskeje standardneje rěcy se pšeměnil njejo. A weto jo ta diskusija wjadla k pšeměnjenjam w dolnoserbskej standardnej rěcy. Ortografija njejo se pšeměnila: pšeměnišo se ortoepija. Komisija jo rozsužila, až wugronjenje dolnoserbskeje standardneje rěcy dej se pšibližyš wugronjenju dialektow. Togodla ma se stary wokaliski nazuk, kenž se w pismje wobznamjenijo pšez <w>, wugroniš ako [h] abo pak z wokaliskim nazukom. A <ó> se wugromjo ako [e] abo [y]. Na taku wizu jo se wobchowala jadnakodolnoserbskosć (mjazy standardneju rěcu a dialektami) na rowninje powědaneje rěcy a jadnakoserbskosć (mjazy dolneju a gorneju serbsčinu) na rowninje pisneje rěcy.

8. Gaž glědamy slědk na stawizny dolnoserbskego pšawopisa w 20. stolěšu, možomy zwěšćiš slědujuce wuwise. Na zachopjenku stolěša jo se dolnoserbski pšawopis (šwabachski a analogiski) skońcnje rědował, a to glownje po fonologiskem a morfologiskem principje pši wobchowanju jadnakodolnoserbskosći. Pšez pšawopisnu reformu z lěta 1949 jo se to pšeměnilo, dokulaž nowe pšawidla su zawjadli mocnjejšy wliw historiskego principa, a jadnakoserbskosć jo wotměnila jadnakodolnoserbskosć. Reforma jo teke rozdžělila pisanje wot wugronjenja. Dalšne wuwise jo pak pšibližyło wugronjenje pšawopisoju (spelling pronunciation). Na taku wašnju jo se pak pšesajzil fonologiski a morfologiski princip, ale dolnoserbska standardna rěc jo se wěcej wotcuzbnila wot dialektow. Wopytanje reformy pšawopisa 1995/1996 njejo bylo wuspěšne (za wuwzešim jadnogo dypka). Ale pšez reformu wugronjenja dolnoserbskeje standardneje rěcy jo se dojšpil wěsty kompromis. Wobchowalej stej se jadnakodolnoserbskosć a jadnakoserbskosć. Plašizna za ten kompromis jo njejadnotnosć pšawopisa: k fonologiskemu a morfologiskemu principoju jo se pšicynil historiski princip.

Stawizny dolnoserbskego pšawopisa pokazuju, až reformy pšawopisa su wjelgin šěžke pšedewzeše. Gaž se reforma pšewježo na demokratsku wašnju, su jano male kšace možne, a reforma bužo njedospolna a njesystematiska. Gaž, nawopak, reforma se postajijo, grozy tšach, až wužywarje rěcy reformu njepšiwježu abo se wotcuzbniju wot reforměrowaneje rěcy.

¹ Žekujom se A. Pohončowej-Geskoje za pšiposlanje archiwnych materialow a wužytne pšispomnješa a P. Janašoju za rěčne poražowanje a za korekturu.

² Klasifikacija, kenž se how wužywa, plaši jano za zukowe (abo alfabetiske) pisma; druge pisma (wosebnje logografiske, na pšiklad chinske pisino) slěduju drugim principam.

³ Pšiklad jo serbiska rěc: princip jo "piš tak, ako groniš". Togodla se pišo Србија, српски; wotpowědujuce zuki su [b] a [p].

⁴ Gl. na pšiklad rusojkska rěc: princip jo "piš morfem abo slovo pšecej na samsku wašnju". Togodla se pišo Сербия, сербский; zuki su te samske, ako w serbiskej rěcy: [b] a [p].

⁵ Toš tomu principoju slědujo na pšiklad engelska rěc: princip jo "piš tak, ako su nęga pisali". Togodla engelska rěc ma wjele pšikladow, žož jadnomu pisanju wotpowěduju nękotare wašnje wugronjenja a nawopak: gl. leaf, bread, steak ([i:], [ε], [ei]) abo see, sea, me ([i:]). Možomy how pokazaš na wobtwarženje spisowašela G. B. Shawa, až by se slovo "fish" po "pšawidlam" engelskego pšawopisa mogalo teke pisaš <ghoti> (<gh> we slowje <laugh>, <o> we slowje <women>, <ti> we slowje <nation>).

⁶ Stare rěcywědne gronidlo "a language is a dialect with an army and a navy", možomy pšeměniš: "rěc jo dialekt z pšawopisom".

⁷ Dobry pšiklad za tej tendency jo pšawopis a alfabet makedonskeje standardneje rěcy. Won jo se wutworil po pšiklaže pšawopisa a alfabeta serbiskeje standardneje rěcy a wotblyščujo politiske položenje Makedonskeje we wobluke Jugoslawjańskeje po końcu drugeje swětoweje wojny. Z teju kodifikaciju jo se makedońska standardna rěc wotgranicowala wot bulgarskeje standardneje rěcy, lěcrownož stej bulgarščina a makedońščina strukturalnje wjelgin bliskej.

⁸ Pšawopis slowakskeje standardneje rěcy, wužělany wot L. Štura, jo se bejnje rozeznawal wot českego. Reforma, naražona wot Hodžy a Hattaly, jo pak pšiblišyla slowakski pšawopis českemu. Podobne položenje wobstoj we stawiznach běloruskeje standardneje rěcy. Wěcej samostatna kodifikacija, wužywana wot lěta 1917, jo se w tšizasetych lětach, w casu "socializma w jadnom staše", pšiblišyla ruskemu pšawopisoju.

⁹ Stawizny dokońcnego wutworjenja dolnoserbskego šwabachskego pšawopisa se how wopisaš njamogu; za wuwise gl. Šwela 1903, 3–11.

¹⁰ Podložk za tabelu jo pšawopisny system Tešnarja a Šwjele (gl. Muka 1891, 18). Pšedchadajuće systemy su wěcej slědowali nińskemu pšawopisoju.

¹¹ Pšiklad jo Dolnoserbska liturgija 1991, žož se paralelnje wužywatej

šwabachski a analogiski pšawopis. Zajmne jo, až šwabachski pšawopis jo ziněšany, dokulaž won slědujo pšawidlam reformy z lěta 1949 (gl. dolojce).

¹² Gl. Zwahr 1989/1847. Slownik jo wujšel po wudašu Smolarjowych pěsnjow, ale won jo južo byl gotowy do toho, a wudawař njejo mogal a teke njejo kšel swoj pšawopis pšiměriš systemoju Sinolarja (gl. pšedslovo Faski w Zwahr 1989/1847. 11–12).

¹³ Pši tom se wiži wěsta njejadnotnošć (ale skerzej wuwiše systema) we pisanju dolnoserbških pěsnjow (gl. Šwela 1903, 19–20).

¹⁴ Su se teke starali wo pšibliženje wobeju rěcowu, a to nic jano na poli pšawopisa; gl. na pšiklad Hórník 1880.

¹⁵ Jadnučke wuwzeše jo položenje pšed /i/: how <i> pokazujo na měkosc pšedchadajuće konsonanta, a <y> na twardosc.

¹⁶ Manyjaden pšiklad hynakšego rozwězanja: wudaše Kosykoweje basnje *Pšerada markgrofy Gera* (Kósyk 1882), žož jo basnik wšuži wobznamjenil změknjenje pšez smužku.

¹⁷ Hórník 1869, 42 jo to wuraznje pominal: “Po pšikladže Hornjoluzičanjaw dyrbja tež Delnjolužičenjo bóle etymologiscy pisać, dyžli so to dotal stawa. Derje by bylo, hdy bychy tež hižo w němskoserbskim prawopisu wosebje m j e h k o s ć wšudžom po našim wašnju woznamjenjeli (...) a potom k o r j e ň s k e p i s m i k i dospolnišo pisali.”

¹⁸ Dalokož wěm, njewobstoj ten wuraz we wědomnostnej literaturje. Won wotpowědujo slowu “jadnakoserbskosć” a wobznamjenijo procowanje wo jadnotnošć dolnoserbškeje rěcy we wšykných formach realizacije.

¹⁹ Gl. Šwela 1903, 21: “... ale wón [ten analogiski pšawopis, R. M.] musy tež we zjadności wostaš z nětejšym d.-s. šwabachskim pismom a nšmějo togodla žedne pšeměneňa huwjasc, kótarež neby na šwabachskem pšawopisu tež mōžne a lužytne byli.”

²⁰ Zboka Mašicy jo se ta kodifikacija wobgledala ako definitiwna, gl. pšispomnješe redaktora we Rocha 1908, 123, žož won groni wo “definitivnje znornalisowanym a powšitkownje přijatym delnjoserbskim prawopisu”. We casnikach a kniglach, to se wě, namakaju se wotchyljenja wot tych pšawidlow, ale teoretiski jo kodifikacija byla dokońcna a dospolna.

²¹ Toš to pšeměnenje jo se zawjadlo w lěše 1952. (Žěkujom se A. Pohončowej–Geskojc za tu informaciju.) Do toho jo se wužywal modifcěrowany analogiski pšawopis. Prědna dolnoserbška gramatika, kotaraž jo wujšla po wojnje (Šwela 1952), jo změknjenje wobznamjenila pšez smužku (z wuwzešim <gj> a <kj>). To samske plaši za wucbnicu dolnoserbškeje rěcy za nosarjow gornoserbskeje rěcy (Nowak–Nječorński 1952). Zazdašim stej to bylej slědnej publikaciji, kotarež njejstej wotpowědowalej nowemu pšawopisoju. Jano Šwela 1958 jo wobchowal stary pšawopis.

²² Měšk wupšawja to z tym, až “die südlichen Niederlausitzer Dialekte und das ältere Schrifttum hier gleichfalls das w haben” (Šwela 1952, VIII–IX). Historiski argument how njeplaši, dokulaž [h] jo nowe zjawjenje, kotarež njejo wobstojalo wob cas staršego pismowstwa.

²³ Měšk pokazujo na njejadnotne wugronjenje toho zuka w dialektach

(Šwela 1952. VIII). Warianty wugronjenja su byli [y], [e], [ó] a [o] (gl. SRA 13. korse 20 a 22). Problem jo. až to pšitrjefijo jano za stary <ó>, nic za <o>. a po reformje njejo cytajucy wěcej wěžel. lěc nowy jednotny <o> wotpowědujo staremu <o> a musy se stakim wugroniš ako [o] abo staremu <ó> a musy se wugroniš hynacej.

²⁴ We wozjawjenju rěcywědneje komisije dnja 14.2.1951 stoj: "Im Hinblick darauf, dass seit 2 1/2 Jahr die Veränderungen aus dem Jahre 1949 in Drucken und Schriften bereits durchgeführt werden, sollen aus praktischen Gründen diese vier grundsätzlichen Veränderungen auch weiterhin Gültigkeit behalten. ... Diese Übereinstimmung bezieht sich zunächst grundsätzlich auf die praktische Kulturarbeit im Niedersorbischen." A jaden ze zastupnikowu z Dolnje Lužyce jo jano podpisał "aus taktischen Gründen" (SKA ISL X.5 D, b. 12). Wozjawjenje pšeražijo, až su clonkow znuzowali na podpisanje. Gl. teke pšispomnješa k tomu w Nowotny 1995.

²⁵ Na njewocakowanosc togo wuslédka pokazujo teke Geskojc 1995, 438: "Cwibljom na tom, až su wše, kenž su to [gorjejece spomnjete wozjawjenje dnja 14.2.1951, R. M.] podpísali, wěželi, kake wustatkowanje změjo toš ta ortografiska reforma na ortoepiju."

²⁶ Wot glědanišća rěcneho systema musy se to wuwise wujasniš tak, až jo se drje pšesajzil fonologiski princip, ale tenraz we wopacnem směrje ("groñ tak, ako pišoš"). K reformje gl. teke kritiske pšispomnješa Janaš 1995.

²⁷ Wona jo pokšacowala žělabnosć dolnoserbskeje rěcneje podkomisije serbskeje rěcneje komisije pši Akademiji wědomnosćow NDR (za podkomisiju gl. Starosta 1984, za komisiju Starosta/Spiess 1994). Což nastupa pšawopis (a wugronjenje), postajijo rěčna komisija slědujuće: "Žělabnosć DSRK ma poražujucy a nic postajajucy charakter, z wuwěšim ortografiskich, ortoepiskich a interpunkciskich pšawidlow, kotarež su po wobzamknjenju za wšych wěžuce." (Starosta/Spiess 1994, 421)

²⁸ Rěčne položenje jo se how pšeměnilo wot casa reformy lěta 1949, dokulaž jo se wjeliki žěl dolnoserbskego rěcneho wobłuka pšenimcyl. Žinsa <ó> se wugroni ako [y] abo [e], ale nic wěcej ako [ó]. Togodla by był pismik <ó> znamje za wugronjenje, kenž se rozeznawa wot wugronjenja pismika <o>.

²⁹ Reforma by teke podšmarnula samostatnosć dolnoserbskeje standardneje rěcy. Procowanje wo (relatiwnu) samostatnosć Dolnych Serbow nainakajo swoj wuraz teke na drugu wašnju: za dolnu serbšćinu se wužywa w Bramborskej nimske slowo "niedersorbisch" a rownopšawnje teke "wendisch" (gl. teke wustawa Bramborskeje par. 25: "Rechte der Sorben (Wenden)"; we wustawje Sakskeje se wužywa jano "Sorben"; Verfassung 1992 a 1992a).

³⁰ Jano we wucbmicach možo se wužywaš <ó> ako pomoc za pšawe wugronjenje. Za šulu jo se dalej postajilo, až možo se w zachopnej wucbje pisaš w- (informacija P. Janaša).

BIBLIOGRAFIJA

- Dolnoserbska liturgija 1991 — Dolnoserbska liturgija. — Budyšin: LND, 1991.
- Faßke 1984 — Faßke H. Zur Herausbildung einer einheitlichen Graphik und Orthographie des Obersorbischen im 19. Jahrhundert. — Zeitschrift für Slawistik, 1984, Bd. 29, 872–878.
- Geskojc 1995 — Geskojc A. Wěcej tolerantnosći! — Rozhlad, 1995, lět. 45, 435–438.
- Hórnik 1869 — Hórnik M. Wudospolnjenje delnjolužiskeho prawopisa. — ČMS, 1869, 22, 42–44.
- Hórnik 1880 — Hórnik M. Wutworjenje našeje spisowneje rěče a jeje zblizenje z delnjoserbskej. — ČMS, 1880, 33, 155–164.
- Janaš 1984 — Janaš P. Niedersorbische Grammatik. — Bautzen: Domowina, 1984.
- Janaš 1995 — Janaš P. Ortoepija a ortografija — wužytne a škodne postajenja. — Rozhlad, 1995, lět. 45, 206–210.
- Jenč 1948 — Jenč R. Chcemy-li jednotnu serbsčinu. Něšto wo reformje serbskeho prawopisa. — Nowa Lužica, lět. 2, 1948, 4 (9) a 5 (19).
- Kósyk 1882 — Kósyk M. Přerada markgrofy Gera. — Budyšin, 1882.
- Muka 1891 — Muka K. E. Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. — Leipzig, 1891.
- Nowak-Njehorňski 1952 — Nowak-Njehorňski M. Wuknimy dolnoserbski. — Budyšin: Domowina, 1952.
- Nowotny 1995 — Nowotny P. Přispomnjenja k Mětskovej spisownej reformje dclnjoserbsčiny — Rozhlad, 1995, lět. 45, 321–322.
- Pfuhl 1848 — Pfuhl C. T. Hornolužiski serbski prawopis s krótkim ryčničnym přehladom. — ČMS, 1848, 1, 65–127.
- Rocha 1908 — Rocha-Tufaňski F. Wěnašk dolnoserbskich pěšnow. — ČMS, 1908, 91, 122–131.
- SKA — Serbski kulturny archiw.
- SRA — Serbski rěčny atlas. 13. — Budyšin: LND, 1990.
- Šwela 1896 — Šwela B. Kak pišomy změkneće samozukow a palatalne "r" w delnoserbsčine? — ČMS, 1896, 49, 29–33.
- Šwela 1903 — Šwela G. Dolnoserbski pšawopis. — Budyšin 1903.
- Šwela 1952 — Šwela B. Grammatik der niedersorbischen Sprache. 2. Auflage. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. Frido Mětsk. — Bautzen: Domowina, 1952.
- Šwela 1958 — Šwela B. Die Flurnamen des Kreises Cottbus. — Berlin: Akademie-Verlag, 1958.
- Starosta 1984 — Starosta M. Ze žěla dolnoserbskeje rěcneje podkomisije. — Rozhlad, 1984, lět. 34, 45–47.
- Starosta 1991 — Starosta M., Niedersorbisch schnell und intensiv 1. — Bautzen: Domowina, 1991.

- Starosta/Spiess 1994 — Starosta M., Spiess G. Zasady a směrnice želabno-
sci Dolnosěrbskeje rěcneje komisije. — Rozhlad, 1994, lět. 44,
421–423.
- Verfassung 1992 — Verfassung des Landes Brandenburg. — Potsdam, 1992.
- Verfassung 1992a — Verfassung des Freistaates Sachsen. — Dresden, 1992.
- Zwahr 1989 / 1847 — Zwahr J. G. Niederlausitz-wendisch-deutsches
Handwörterbuch. — Bautzen: Domowina, 1989 (original: Sprem-
berg: Säbisch 1847).

ОНДРА ЛЫСОГОРСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛЯШСКИЙ ЯЗЫК

К выходу сочинений поэта на ляшском и немецком языках

Литературные микроязыки — поэт Ондра Лысогорский — ляшский литературный язык (литературная ляштина) — полное издание ляшских произведений О. Лысогорского и их переводы на немецкий язык — образец ляшского текста

Феномен Ондры Лысогорского еще предстоит осмыслить, расшифровать. Его существо, как нам представляется, удачнее всего выражает формула *один язык — один человек*. О. Л. и создатель такого языка, и его единственный носитель, реализатор, выразитель. Язык, вместивший почти все поэтическое творчество О. Л. Имя этого языка — *ляшский литературный язык, литературная ляштина* (лингвоним в оригинале: *literaturny lašsky jazyk, laščina*).

Ондра Лысогорский (Ondra Łysohorsky, настоящее имя — Egwin Goy) родился 6 июля 1905 г. во Фридеке, в Силезии, где говорили на местном диалекте, но знали также немецкий язык. Первые стихи О. Л. писал по-немецки. В самом начале 30-х гг. он обратился к родному диалекту, который совмещает в себе признаки чешского и польского языков, и поставил перед собой задачу поднять его до уровня литературного языка. Первое поэтическое произведение (всего в 5 строк) на ляшском под названием “Пролог” появилось в 1931 г. В 30-е гг. О. Л. пытается организовать движение за создание ляшского литературного языка (общество *Laško perspektywa*), однако Вторая мировая война прерывает этот процесс. Во время войны О. Л. находится в эмиграции в Советском Союзе, а после войны возвращается в Чехословакию, в Братиславу, где преподает в университете. Сторонники его идеи ляшского языка и ляшского народа перешли на чешский литературный язык, и О. Л. остается один, продолжая творить по-ляшски свою поэзию до конца жизни. Так возникает феномен *один язык — один человек*, аналога которому в современном мире, пожалуй, нет.

Его первый ляхский поэтический сборник вышел в 1934 г. — “*Spiwajuso piasć*” (“Поющий кулак”), затем последовали небольшие сборники “*Hłos hrudy*” (“Голос земли”, 1935), “*Wybrane wiersze*” (“Избранные стихи”, 1936; 2-е изд., 1937). После войны О. Л. долго не печатали. Сам поэт в письме от 20 марта 1976 г. к автору этих строк определил официальное отношение к себе, как *лингвоцид* — *linguocyd*. Тем не менее он продолжал писать. В 1958 г. в Праге вышел, наконец, его большой сборник “*Aj laške řeky plynu do moře*” (“И ляхские реки текут к морю”). Более же всего О. Л. переводят и издают на других языках — русском (вышло 4 сборника), английском, немецком и т.д. В 1970 г. его даже выдвигали на соискание Нобелевской премии.

Его литературный язык основывается на смешанном силезском диалекте, однако это не просто литературный диалект. О. Л. модернизировал его, постоянно обогащая элементами двух крупных литературных языков — чешского и польского, содавая и вводя новые слова и новые формы. Так постепенно был сформирован литературный язык, создатель которого заботился о его эволюции, гибкости и достаточности его системы. О. Л. упрекали в “лингвистическом сепаратизме”, называли его язык диалектом, искусственным кабинетным экспериментом и т.д. Смеем утверждать, что ляхтина О. Л. — это литературный язык, обладающий, как и другие, необходимыми признаками: он имеет кодифицированную графику и орфографию, определенную диалектную основу, лексико-словообразовательные, морфологические и синтаксические нормы, достаточно последовательно воплощенные в текстах поэзии. Как литературный язык, он используется в основном в поэтическом творчестве и реже в других сферах и для других нужд, например, в личной переписке: автору этого текста О. Л., начиная от первого письма от 6 июля 1974 г. и по декабрь 1985 г., писал в основном по-ляшки. Конечно, любой литературный язык имеет определенную социолингвистическую базу, которую формируют поколения, культивирующие такой язык в разных сферах жизни. В случае с ляхтиной этого как раз и нет: был один человек, который заменил собою целое поколение. И в этом специфика и уникальность явления.

Кодифицирована грамматическая система литературной ляхтины в основном текстуально, т.е. поэтическими произведениями О. Л., а также в кратких примечаниях к его книгам. О. Л. не написал грамматику своего языка, однако из ответа на предложение автора настоящих строк такую грамматику написать видно, что поэт размышлял об этом: “*S boleścu Wóm něška pišu,*

že muším, jak wela druhych wěcy, wyskérchnuc ze swojého žiwotneho planu aj wědecku robotu o literaturnym lašským jazyku, o kěru mě prośíce. Potřebowol bych k tymu take šily, kěrech ešče mjěl před ataku w leće 1981 [речь идет об избииении поэта незнакомыми людьми у дома, где он жил]. Už dhihe roky mjělch před očami takowu seryjoznu naučnu robotu o laščiŋe..." (письмо от 25 апреля 1982 г.). Однако надо было собрать все поэтические произведения и подготовить их к изданию — поэт давно мечтал о полном собрании своих ляшских произведений. И этому было отдано все оставшееся время.

Собрание сочинений О. Л. появилось в двух томах благодаря усилиям и энтузиазму вдовы поэта Ольги Кухтовой, профессора славистики Боннского университета Ханса Роте, издающего известную серию "Трудов Комитета Федеративной Республики Германии по содействию славистическим исследованиям", и, разумеется, славистам Йиржи Марвану (работавшему в ту пору в Монашском университете в Австралии), Павлу Гану и Фелицитас Родер (Геттингенский университет), которые подготовили тексты О. Л. к изданию.

Первый том вышел в 1988 г.: "Öndra Łysohorsky. Łašsko poezyja. 1931–1977. Hrsg. von Jiří Marvan und Pavel Gan. (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien. Hrsg. von Hans Rothe. 12/1). — Köln/Wien: Böhlau Verlag, 1988. — (8), 852 s. Второй том — это переводы на немецкий язык: Öndra Łysohorsky. Łachische Poesie 1931–1976 in deutschen Übersetzungen und Nachdichtungen. Hrsg. von Pavel Gan, Jiří Marvan und Felicitas Rohder. (Schriften... 12/11). — Köln/Wien: Böhlau Verlag, 1989. — 841 S. Оба тома вышли под эгидой Международной Ассоциации исследования и распространения славянских культур ЮНЕСКО.

В первом томе собраны почти все ляшские произведения, написанные с 1931 по 1977 г. После 1977 г. О. Л. по-ляшски практически не писал (исключая переписку, о чем речь шла выше). Тексты расположены хронологически. Книге предпослано введение Й. Марвана на английском языке, затем — небольшое введение по-ляшски самого О. Л., далее следуют краткие данные об изданиях произведений О. Л. В приложении к тому даны: послесловие к сборнику "Поющий кулак", в котором излагается ляшская идея и особенности ляшского языка (с. 816–824), после этого следуют два ляшских письма О. Л. — первое, написанное 8 декабря 1932 г. Петру Безручу (с. 825–827), и второе, написанное

24 января 1985 г. Й. Марвану в связи с изданием тома и предложением реформы ляхской графики.

Второй том содержит немецкие переводы ляхских произведений О. Л. В основном они сделаны самим поэтом. Много переводов принадлежит Эвальду Озерсу (псевдоним Вальтер Харт), на немецкий О. Л. переводили также Х. Хупперт, Э. Вайнерт и другие поэты. При этом в томе помещаются разные переводы одного и того же произведения. Так, "Пролог" помещен в книге в переводе самого О. Л. и еще двух поэтов — Рудольфа Фукса и Вальтера Харта (Эвальда Озерса). Расхождения в составе томов незначительны. Во втором томе, например, нет перевода на немецкий язык последнего ляхского произведения О. Л. "Ostatni zbohém" ("Последнее прощай"). К книге предпослано предисловие П. Гана (с. 6–14), а в конце помещены воспоминания Э. Озерса о О. Л. (по-английски, с. 813–821).

Это фундаментальное издание вышло при жизни О. Л. Оно явилось бесценной наградой поэту, однажды избравшему свой путь и шедшему по нему до конца своей жизни. Автор этих строк был последним из ученого мира людей, который виделся с О. Л. и беседовал с ним. Это происходило 7–13 октября 1989 г. в Братиславе, когда поэт был тяжело болен, после ряда операций он лежал в постели, но говорить и вспоминать еще мог. Прощаясь, я надеялся еще раз увидеться с ним. Однако запланированная на 6 декабря 1989 г. вторая поездка в Братиславу не состоялась, а через неделю, 12 декабря, Ондры Лысогорского не стало. Он не дожид до своего 85-летия полгода.

С уходом Ондры Лысогорского завершается одна необычная и до конца еще непонятая нами эпопея жизни и творчества О. Л. творил язык и поэзию на нем. Он создал язык и утверждал его своей поэзией. Много ли мы найдем в истории цивилизации прецедентов подобного рода?! По крайней мере, для нашего времени — это уникальное явление.

Чтобы читатель имел представление о ляхском литературном языке Ондры Лысогорского, помещаем здесь небольшое его стихотворение, написанное в 1942 г.

K slóncu

Rozespjéwalo slónce uzke ścény.
 Jazykém čišicročnym pèlni chwilu.
 W tym samym slóncu zdřaly w swět Athény
 a zašeptaly pérwši wélny Nilu.

Władca, kěreho wólu wšeckeró žije,
jak ćichy je! Iskřy še izba malo.
Hledź! Kwjětko, kěre wčera w pupňu spalo,
kělichém rudym pěrwi rano pije.

Po buřce wesna zóstolch ćichym sluhu,
wysoke slónco, jasnych isker twojich
w pėlnoće zdrálych plodów našěj zěmě.

W zowratne dalky wěřyc w hustym dymě,
kořeńe w hrudže, zřak ku widnokruhu,
w chwili zřec wěčność — zokón roków mojich.

(Laško poezyja 1931–1977, s. 519).

А. Д. Д.

II. ЯЗЫКИ НОВЫЕ...*

Vojislav Nikčević
Cetinje/Цетиње

CRNOGORSKI JEZIK

Южнославянские языки — идея черногорского языка в ее истории — особенности на фонологическом, морфонологическом, морфологическом, лексическом и фразеологическом уровнях — алфавиты (кириллица и латиница) — лингвоним — дискуссии о правовом статусе

P o j a m. — Crnogorci zbere i pišu crnogorskim jezikom kao samoizražavajućim vidom svojega postojanja. To nije sistemski, genetskolingvistički, nego sociolingvistički, etnojezički, kulturološki, stilistički, emocionalno (psihološki) i životno (pragmatički) posebit jezik. Termin *crnogorski jezik* jedan je od četiri naziva kojim Crnogorci imentuju svoj dio varijantno polarizovanog nejedinstvenoga štokavskog dijalekatskog sistema. Kao zasebit jezik opstoji na isti način kao srpski, hrvatski i bosanski jezik. Njegov termin, u stvari, pokriva tzv. novoštokavski folklorni koine (opšti tip jezika) ijekavskog izgovora koji je Vuk Karadžić u osnovi uveo u najužu osnovicu srpskoga književnog jezika. Oni su stvorili ta jezik u procesu vlastitoga nastanka i razvitka kao samobitan narod i samonikla nacija u posebitijem prirodnim i povijesnijem uslovima. Pošto isključivo postoji po Crnogorcima, prema njima ga je, kao njegovome tvorcu i predstavniku, jedino moguće imentovati.

Poblize, jezik crnogorski predstavlja sredstvo za njihovo usmeno i pisano (pečatano) sporazumijevanje, ali i za samoformiranje. Kao takvi, obuhvata govorni i književni (standardni) pojavni oblik. Govorni

* Помещаемые в настоящем разделе тексты посвящены новейшим экспериментам создания литературных языков на местной диалектной основе. Печатаая их, мы преследуем чисто научные цели. Таким образом, ни о какой поддержке языкового и этнического сепаратизма нет и речи. — Примечание редактора.

mu realizacijski oblik sadrži idiolekte, mjesne govore, dijalekte i nad(inter)dijalekat kojima zборе Crnogorci u raznijem krajevima Crne Gore i izvanj nje. A njegov standardni lik nije ništa drugo do književni jezik što ga upotrebljavaju u javnomu životu kao najvažnije orude njihove duhovne i materijalne kulture. Naziv *crnogorski* proizilazi iz prirodnoga prava svakoga naroda i nacije da jezik kojijem zборе i pišu, što su ga oni sazdali, kojim se služe i što njima služi, nazovu sopstvenijem narodnim i nacionalnijem imenom.

I s t o r i j a. — Shema periodizacije crnogorskog jezika izgleda ovako:

Predistorijsko razdoblje (od artikulacije govora praljudi do sredine IX. vijeka): 1) doslovenski period (na Balkanu zaključno do početka VII. stoljeća): 1. ilirska etapa (do 167. godine prije nove ere); 2. rimsko-vizantijska etapa (od 167. godine stare ere do početka VII. vijeka) i 2) slovenski period (do kraja seobe starijih Slovjena iz Polablja-Pomorja današnje istočne Njemačke početkom VII. stoljeća): 1. praslovenska etapa (u pradomovini — istočni dio Njemačke) i 2. južnoslovenska etapa (na Balkanskom poluostrvu od početka VII. do sredine IX. vijeka);

Istorijsko razdoblje (od sredine IX. stoljeća do danas): 1) dukljanski period (od polovine IX. vijeka do 1183. godine); 2) zetski period (1183.–1360.); 3) predvukovski period (1360.–1830.): 1. etapa pisanog jezika (od 1360. godine do sredine XVIII. stoljeća); 2. etapa nekodifikovanoga književnog jezika (od polovine XVIII. vijeka do 1830. godine); 4) prijelazni period (od 1830. godine do kraja XIX. vijeka) i 5) vukovski period (od početka XX. stoljeća do sada): 1. beličevska etapa (između dva svjetska rata) i 2. savremena etapa (od 1944. godine do danas).

U predistorijskom razdoblju, nakon doseljenja iz Polablja-Pomorja istočne Njemačke (Rotković 1995, 1–326) i stalnoga nastanjivanja starijih Slovjena u Duklju, kao njihovu novu domovinu, dolazi do susreta, dodira i prožimanja njihovoga slovenskog jezika s ilirskim, latinskim, grčko-vizantijskim i ostalim jezicima kojima su zborili i pisali balkanski starosedioci. Tokom trajanja istorijskog razdoblja dolazi do samoformiranja i razvoja crnogorskog jezika zavisno od postanka i razvoja Dukljana/Zučana/Crnogoraca kao naroda od polovine IX. vijeka i postupnog nastajanja nacije (Brković 1974, 1–267; Adžić 1995, 1–291) u neprekidnoj odbranbenoj i oslobodilačkoj borbi kao građanskoj revoluciji od konca XV. stoljeća (Kulišić 1980, 1–100). Ta se etnička i jezička simbioza i asimilacija uglavnom završava do svršetka XV. vijeka. U tečaju cijele povjesnice (Živković 1989, 1–469; Živković 1992, 1–617; Rotković 1996, 1–279) država

i s njom uskladena crkva prvorazredno su djelovale na sjedinjavanje crnogorskoga jezika.

U dukljanskom periodu književni jezik se uobličava prirodno i spontano: na podlozi govornog jezika. Još tada na njemu nastaju dva znamenita beletristička i historiografska djela: "Život dukljanskog kneza Vladimira" anonimnog autora iz Krajine u drugoj polovini XI. v. i "Kraljevstvo Slovjena" (Regnum Sclavorum) moguće Grgura Barskog (Peričić 1991, 1–370) sto godina dočnije. Oba su pisana latinicom. Na tome istom i latinskome jeziku nastaju i brojni dokumenti pravne prirode u javnoj dvorskoj kancelariji dinastije Vojislavljevića i tvorevine crnogorske usmene (narodne) književnosti.

Medutijem, pošto je Raška ratom pokorila Zetu (1183.–1189.), za vlade dinastije Nemanjića (1189.–1360.), u njoj se prekida dotadašnji prirodni razvojni tok: mjesto narodnog jezika (Dukljanskih Slovjena) i latinice upotrebljavao se staroslovenski (Makedonskih Slovjena) književni jezik zetske (crnogorske) redakcije, glagoljica i cirilica za potrebe širenja pravoslavlja. Na njemu cirilicom glavni zetski pisar Varsameleon u nemanjićkoj dvorskoj kancelariji u Kotoru (1186.–1190.) prepisao je gotovo u cjelosti s glagoljskog predloška makedonskoga ohridskog podrijetla čuveno *Miroslavljevo jevanđelje*, po ukrasima najljepši slovjenski kodeks. U toj kancelariji na razmeđu XII. i XIII. stoljeća prepisani su i glagoljski spomenici: *Marijinsko (Marijino) jevanđelje*, *Grškovičev i Mihomovičev odlomak apostola*. Na tijem i drugim spomenicima temelji se pravopis zetske redakcije s trijema glavnim izgovorno-pravopisnim elementima: *e* (jest), *ĕ* (jat) i *ǣ* (derv) u glasovno-ortografskoj vrijednosti: (*i*)*je* te *j*, *a*, *ja*, *je*, *ije*, *i*, *e* i *ċ* i *ď*. Proširenjem u Rašku, Hum, Bosnu i u Dubrovnik slovjenske pismenosti iz Kotora zetska redakcija je oplodila srpsku i bosansku redakciju starocrkvenoslovenskoga književnog jezika.

Po oslobođenju Zete ispod srpske vrhovne vlasti (1360.) sve do polovine XVIII. vijeka crnogorski govorni jezik upotrebljava se kao pisani jezik u poslovnome (administrativnom) i beletrističkome stilu usmene i pisane renesansne i barokne književnosti. Ta jezik se standardizuje kao koine prema isto takvome jezičkom obrascu usmene literature. A od polovine XVIII. stoljeća u primorskomu i u kontinentalnome (slobodnomu) dijelu Crne Gore, u veoma razvijenoj crnogorskoj usmenoj i pisanoj književnosti, upravi, administraciji i nauci u jedinstvu usmenosti i pismenosti, već se spontano ponovo samooblikuje nekodifikovani crnogorski književni jezik, ponajviše u djelima klasika Petra I. i Petra II. Petrovića.

No, još od početka tridesetih godina XIX. vijeka i navlastito od sredine šezdesetih godina istog stoljeća, Vukova reforma jezika i pravo-

pisa. u osnovi utemeljena na crnogorskoj prednjegoševskoj književnojezičkoj tradiciji, dovela je do upotrebe prijelaznoga tipa standardnog jezika — mješavine tradicionalnoga crnogorskog i novoga "srpskog jezika". Ta "srpski jezik", kao vještačka nadnarodna i nadnacionalna konstrukcija, uglavljena je na Kopitarovoj zabludi o tome da su gotovo svi južnoslovljenski štokavci, tj. Srbi, Crnogorci, Hrvati, Bošnjaci, Makedonci i dobar dio Bugara, "Srbi svi i svuda" tri vjerozakona (grčkoga, rimskog i turskoga) samo zato što se služe štokavskim dijasistemom.

U međusobnoj utakmici, od početka XX. stoljeća, pobjedu je izvojevao Karadžićev "srpski" književni jezik. Njegov vještački model, oslobadajući ga u još većoj mjeri od crnogorskih jezičkih sadržaja (crnogorizama), između dva svjetska rata inovirao je A. Belić "srpsko-hrvatskom" književnojezičkom kodifikacijom. I u savremenoj etapi jezik crnogorski se arhaizuje, obezličava, denacionalizuje i asimiluje dugotrajnom i sistematskom primjenom nenaučnijih Karadžić-Belićevih unifikatorskih etničkih i jezikoslovnih postavki o navodno gotovo svijem štokavskim Južnjem Slovljenima kao "Srbima-Srbohrvatima". Na tjem postavkama je zasnovana njihova pogrešna kodifikovana standardnojezička norma, koja je gotovo u potpunosti razurila jezik crnogorski (Nikčević 1993, 1–400).

O b i l j e ž j a n o r m e. — Kodifikacija crnogorskoga književnog jezika temelji se na trima njegovijem glavnim pravilima iz predvukovskoga i prijelaznog perioda što mu obezbjeđuju izvornost, autohtonost i autonomnost: 1. *Piši kao što zboriš, a čitaj (zbori) kako je napisano!* 2. *Drži se upotrebne norme crnogorske "općene pravilnosti"!* i 3. *Tuđe piši kao svoje!* Pod ta tri pravila svrstane su sve najvažnije posebite systemske jedinice iz 2. sloja jezika crnogorskog što pošeduju pretežnu (i)li opštu kolektivnu, interdijalektalnu upotrebnu vrijednost, koje zajedno sa strukturama južnoslovljenskoga i praslovljenskog podrijekla zajedničkim Crnogorcima, Srbima, Hrvatima i Bošnjacima iz njegova l., podumijentnoga (fundamentalnog) sloja čine sadržaj crnogorskoga književnog jezika. Te strukture, za razliku od elemenata što u naddijalekatskom tipu crnogorskog jezika predstavljaju dijalektizme i provincijalizme i kao takvi mogu imati samo stilsku, poetološku vrijednost, u njegovome standardnom realizacijskomu obliku pošeduju neutralnu vrijednost (Nikčević 1993, 1–87). Ta oblik sadrži pun, izrazito markiran sociolingvistički identitet i individualitet zahvaljujući tome što "Crnogorci imaju toliko svojih naročitih osobina, da se mogu bez pretjerivanja ubrojiti među najoriginalnije i najinteresantnije narode u Europi čija se originalnost i interesantnost utoliko više ističe, što su oni jedan malobrojan narod:

etnička i etička veličina koncentrirana na zbijenom prostoru" (Perić 1940, 17).

Crnogorski književni jezik, za razliku od srpskoga s 31 te bosanskog i hrvatskoga jezika s po 32, ima 34 fonema. Na fonološkome nivou karakterišu ga sljedeći crnogorizmi:

trofonemski slijed *i-j-e* (dvosložno *ije*), različito od hrvatskoga i bosanskog dvoglasnoga *ie* (*ie*) u dugijem slogovima: *mlijeko, bijelo, sijeno; je* u kratkim slogovima: *vjera, pjena, pjeva*:

i ispred *o, j, lj* de je u položajima mjesto staroga slova *jat* dobiveno *i*: *vidio, šedio, biljeg*:

t, d, c + je (u poziciji *jata*) = *će, đe*: *čerati, ćedilo, Ćetna, Ćetko, Ćetković, Ćetanski pod, ded, nedelja, devojka, Nedeljko, Mededović, Međede*:

postojanje fonema *š* i *ž*, nastalijem tzv. novim ili jekavskijem jotovanjem i jednačenjem po mjestu tvorbe: *šever, šutra, šen, izesti, izelica, koži te* u odmilicama (hipokoristicima): *Šata, Pešo, Šaka* i u imenima mjesta: *Pašeglav, Prešeka, Šenokos(i), Žaga* (odmilica), *Koževići, Glavica koža, Koži brijeg* (toponimi) "samo na teritoriji Crne Gore" (Majić 1933, 19) i tamo de su ih Crnogorci seobama raznijeli: po njima najbliži "tome da se izdvoji kao poseban jezik nije hrvatski nego crnogorski" (Škiljan 1996, 41);

postojanje staroga slovenskog fonema (afrikata) *z* (*dž*) u apelativima: *biza, zinzula, zipa te* u antroponimima: *Žano, Borozan, Burzan(ović)* i u topomimima: *Malenza, Bronzina*;

u morfofonološkoj (morfonološkoj) ravni prisustvo veoma izrazite prevage, često i bez alternative analoških nastavaka s *i*, tzv. tvrde (o deklinacije) zamjerno-pridjevske promjene za genitiv, dativ, instrumental i lokativ mn. na *-ijeh, ijem* tipa *našijeh, dobrijeh, tijeh, ovijeh* i *našijem, dobrijem, tijem, ovijem, onijema, lijepijema, tijema* i drugo.

Na morfološkom planu srijeću se sljedeći posebiti morfemi:

imenica *kamen* u nom. i akuz. jd. zadržala je stari oblik *kami* i od njega skraćeno *kam* (često se upotrebljava priloški, u značenju "jedno, slabo"): *Kami mu je bolje, Kami je zaradio, Kami mu je rodilo*;

deklinacija osobnijeh imena tipa *Savo, Sava, Savu... Savov* (muški rod) i *Sava, Save, Savi... Savin* (ženski rod); *Dobrica, Dobrice, Dobrici* (samo za ženski rod);

dosljedna izmjena odmilica tipa *Božo, Boža, Božu... Božov; B(r)ano, B(r)ana, B(r)anu... B(r)anov* (muški rod); *Brana, Brane, Brani... Branin* (jedino za ženski rod); *zeko, zeka, zeku... zekov; seka, seke, seki... sekin* (ženski rod);

redukovani su i oblici tipa imenica *plam, pram, grum*;

stara imenica *pol* zadržala se kao *poli* (*polu*) *jada* (u značenju polovina) i *na poli* (*Imam kravu na poli*);

odsustvo **G** mn. imenica tipa *torbi* i *molbi*;

stari zamjenički oblici **D** i **L** jd. na *e* kao alternativni s likovima na *i*: *mene, tebe, sebe*: *meni, tebi, sebi* (*Daj mene tu knjigu*; *Dajem tebe tu knjigu*; *Uzmi sebe tu knjigu*);

enklitički oblici ličnijeh zamjenica u **D** *ni* i *vi*, odnosno u **A** *ne* i *ve* mn. (*Rekli smo vi da ne zovete. Rekli ste ni da ve zovemo*, u pozdravu: *Pomaga vi Bog!* i odgovoru: *Dobra vi sreća!*);

zamjenički lik *ta* i za muški i za ženski rod (nego u *ta* sahat isti);

lične zamjenice žen. roda *ju* svuda se redovno upotrebljava (*On ju pazi da ju ne pogaze*);

stari oblici *ovi* i *oni* (*Ovi narod je vrijedan*; *Oni prostor je ogroman*);

oblici *ovakvi, takvi, onakvi, nikakvi, nekakvi* (*Ovakvi je dan najtopliji*; *Nikakvi su za rad*; *Onakvi ni automobil nedostaje*);

stari lik za muš. rod *vas* < od stsl. *vasь*; **G**. jd. zamjenice *što* glasi *česa* (prema stsl. *česo, čьso*), a *nekakvi* je *nečesov* i *nikakvi* glasi *ničesov*;

riječi koje neposredno stoje ispred brojeva: *dva, tri* i *četiri* — dakle ne u predikatu — poseduju oblik plurala: *Koliko bi mogli ovi tri konja dočerati? Uzmi i natovari one tri konja, I dva grada nešetana i dva konja nejahana*;

u prezentu *mnim, mniš, mni* ... od glagola *misliti*; *ijem, iješ, ije* ... od glagola *jesti*; *nijesam, nijesi* ... odrični oblik prezenta glagola *jesam*; ostatak starijih oblika u prezentu *velju* i *viđu*, odnosno imperativ *viđi*;

u priložima, adverbijama *kleče, leže, stoje* i u infinitivu *donesti, ponesti, dešti* (mjesto *donijeti, ponijeti, djesti*), *smjestiti, ostaviti, skloniti*;

redukcija infinitivnog završetka ili potpuno gubljenje nastavačkog morfema, odnosno supinski oblici infinitiva: *reć, peć, doć, radit, učit, pisat*;

prilozi *degod, ne(g)de, ni(g)de, tušte, navlaš*;

prijedlog *su* uz brojeve i druge količinske izraze, riječi i uz **I** zamj. što: *Viđi vraga su sedam binjišah, su dva mača i su dvije krune* (Njegoš);

veznici *de, nako* 'osim, izuzev'; *e* u značenju 1. 'jer' (*e je brukla i sramota*) i 2. 'da' (*Ema kad čuh e ode u Turke, eda u značenju 'da bi, ne bi li' (eda kako vi to pretečete), eja 'da': eja bi se kako obratili, ema: 1. 'ali' (ema bi se moglo doslutiti) i 2. 'a, a da' (Ema što se družu s krvnicima), jera 'zašto': Jera ubi svoga gospodara, jere: 1. 'jer' (jere vidi porođenje) i 2. 'da' (jere turska vojska nije), jerbo 'jer': jerbo su ni sve ove litice itd.*

U **sintaktičkoj ravni** posebitosti se najviše ispoljavaju u poremećenom slovjenskom padežnom sistemu i njegovome uprošćavanju pod uticajem starosedilačkoga balkanskog supstrata:

upotreba genitiva množine mjesto lokativa, tj. prijedloga *o, po, pri* u distributivnom značenju: *Stiže o poklada; Sije seme po dolina; Penje se pri vrhova;*

upotreba akuzativa mjesto lokativa uz prijedloge *u, na* (alternativno): *Živi u selo; Stoji na Cetinje; Radi u Nikšić* i slično.

Izrazite osobenosti postoje i u **rječničkom blagu i frazeologizmima**: *bi jelā, ē* 'očna bolest, glaukom'; *vāren, vārena, vāreno* 'kuvan'; *vēljī, ā, ē* 'veliki'; *vī še* 'iznad'; *vī štī, ā, ē* 'veći'; *golēmo* 'mnogo'; *dlāka*: u *mālū dlāku* 'zamalo'; *žnjčtva, ē* 'žetva'; *navlāstito* 'namjerno'; *kažčvati, kažujēm, kaživati, kažujēm* 'kazivati, pričati'; *lāža, ē* 'laž, lažljivac'; *obijati, obijām; mīcati, mīčē; narēditi, narēdīm* 'spremiti'; *objēručno* 'objeručke'; *ògranuti se, nēm se* 'oveseliti se'; *obrljati, obrljām* 'uprljati, okaljati' i sl. (Simeon 1969, 185; Nikčević 1990, 30–45; Nikčević 1996, 91–101).

P i s m a. — Crnogorski jezik se danas piše dvama ravnopravnijem pismima: Karadžićevom reformisanom ćirilicom (azbukom) iz 1818. god. (vukovićom) i Gajevom reformisanom latinicom (abecedom) ili gajicom. Iz sljedeće strukture tih pisama se vidi da u crnogorskoj verziji uz njihove grafeme postoje i dodatni: *z, š i ž* (u abecedi) i *s, č i ž* (u azbuci), tj. po 33 grafema za 33 fonema + */r/*: */r/* za minimalni fonemski par u primjeru *Istro* (vok. od *Istra*): *istro* (glag. pridjev prošli od *istrti*) = 34 grafema za 34 fonema.

Crnogorska abeceda izgleda ovako:

1 Aa, 2 Bb, 3 Cc, 4 Čč, 5 Ćć, 6 Dd, 7 Dž dž, 8 Dd, 9 Ee, 10 Ff, 11 Gg, 12 Hh, 13 Ii, 14 Jj, 15 Kk, 16 Ll, 17 Lj lj, 18 Mm, 19 Nn, 20 Nj nj, 21 Oo, 22 Pp, 23 Rr, 24 Ss, 25 Šš, 26 Šš, 27 Tt, 28 Uu, 29 Vv, 30 Zz, 31 žž, 32 Žž, 33 Žž.

Crnogorska azbuka ima sljedeći oblik:

1 Aa, 2 Бб, 3 Вв, 4 Гг, 5 Дд, 6 Ђђ, 7 Ее, 8 Жж, 9 Џџ, 10 Зз, 11 Ss, 12 Ии, 13 Јј, 14 Кк, 15 Лл, 16 Љљ, 17 Мм, 18 Нн, 19 Њњ, 20 Оо, 21 Пп, 22 Рр, 23 Сс, 24 Тт, 25 Ћћ, 26 Уу, 27 Фф, 28 Хх, 29 Цц, 30 Чч, 31 Џџ, 32 Шш, 33 Ћć.

Latinicu su u Crnu Goru donijeli Rimljani nakon 167. godine prije nove ere, a glagoljicu i ćirilicu Rašani poslije 1183. godine n.e.

Kako su Dukljani/Zečani kao ranosrednjovjekovni preci Crnogoraca od crkavnoga raskola (1054.) bili katolici, latinica je njihovo najstarije pismo. A s prodorom pravoslavlja krajem XII. vijeka pridružuju joj se ćirilica i glagoljica. Glagoljica se povlači do kraja srednjeg vijeka. Iza 1711. godišta u Crnoj Gori se upotrebljavao i ruski tip gradanske ćirilice kakvi je stilizovan za Petra Velikog. Vukovica se u Crnogoraca sporadično javlja već oko 1830. godine, a sistematski i neprekidno od školskog 1863./64. godišta u Cetinjskoj školi te od 1865. godine zajedno s gajicom u kalendaru i almanahu "Orlic" i drugdje. U Boki se ošeaao uticaj tal. latinice.

P r a v o p i s. — Podumijentno pravilo za pisanje crnogorskoga jezika ispoljava se u njegovoj posve slobodnoj, prirodnoj, spontanoj upotrebi, oličenoj u već citiranom l. fonološkom načelu. To načelo stoji u potpunomu saglasju sa slobodnijem životom što su ga Crnogorci manje-više pošedovali tečajem cijele povjesmce. Na ta način su njihovi najstariji preci Dukljani pisali već u najranijemu — dukljanskome periodu njihove najstarije prošlosti. Medutijem, u zetskom periodu Zečani ne pišu onako kako zbore, već službenom kodifikovanom normom staroslovljenskoga književnog jezika zetske, pa i raške redakcije, koju su im naturili Srbi kao njihovi gospodari.

U predvukovskome periodu nastaje zaokret: ponovo se pisalo onako kako se zborilo. Prvo takvo teorijsko nastojanje pravopisnoga kodifikovanja jezika crnogorskog izvršio je dr. Ivan Nenadić u "Nauku krs-tjanskom" (1768.). A prvi pokušaj pravopisne kodifikacije toga jezika za školske potrebe uradio je Dimitrije Mlaković u "Srbskoj gramatici, sastavljenoj za crnogorsku mladež" (Čast prva, Cetinje, 1838.). U njoj je ustrojio *opšta pravila* važeća za sve Srbe i *osobita pravila* za Crnogorce s nekim od pokazanijeh crnogorizama.

U prijelaznome i, poglavito, u vukovskomu periodu još jednom dolazi do prijekida povijesne pravopisne neprekidnosti u Crnogoraca. Ta prijekid je prouzrokovan opštom Karadžićevom, Belićevom i ostalih jezikoslovaca zabludom o tome da su uglavnom svi štokavski Južni Slovljeni, pa samim tijem i Crnogorci, "Srbi-Srbohrvati" isključivo poradi toga što se navodno služe samo jednijem i tobože jedinstvenim štokavskijem "srpskim/srpskohrvatskijem jezikom"! Na tijem postavkama sve do danas uglavljena je čak ukupna pravopisna kodifikovana standardnojezička norma iz Vukovijeh "Glavnih pravila za južno narječje" bečkoga *Književnog dogovora* iz 1850., Belićeva "Pravopisa srpskohrvatskog književnog jezika" (Beograd, 1923., drugo, preradeno izdanje 1929., treće, popravljeno izdanje 1934.) te opet Belićeva "Pravopisa srpskohrvatskog književnog jezika" (Beograd, 1950.), "Pravopisa srpskohrvatskoga/hrvatskosrpskoga

А Б В Г Д Ђ Е Ж З З С И Ј К

Dr. Vojislav Nikčević

Л
М
Н
Њ
О
П
Р
С
Т
Ђ
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Љ
Њ
Ћ

**PIŠI
KAO
ŠTO
ZBORIŠ**

CDNK
1993.

О П Р С Š Š Т У В Z З Ž Ž

književnog jezika” Matice srpske i Matice hrvatske (Novi Sad – Zagreb, 1960.) i ostalih djela normativnog karaktera. Svima njima se neosnovano nominalno i sadržajno poriče i zatire jezik crnogorski tako kao da nikada nije ni postojao. Zato se nametnula prijevremena potreba za njegovijem posebitim kodifikovanjem na podlozi rečenijeh triju pravila pravopisom koji obuhvata navedena obilježja njegove norme (Nikčević 1997).

N a z i v j e z i k a. — Pošto su Crnogorci pretežno slovjenskog podrijetla, prirodno je što je njihov jezik (dukljansko-zetskih Slovjena) u dukljanskomu i zetskomu periodu isključivo nazivan *slovjenskim* imenom kao opštom atribucijom. I u predvukovskom periodu i dalje se primarno zove tim nazivom. U tome periodu vrlo rijetko se srijeće nominacija *srpski jezik* za jezik Crnogoraca kao samoiluzivna izvedenica za neetničkoga i nenacionalnog pojma *srbi* kojim se ponekad sekundarno predstavljaju Crnogorci zato što su 1557.–1766. godišta pripadali srpskoj obnovljenoj Pečkoj patrijaršiji, što će reći nepostojećoj “srpskoj vjeri” ili “srpstvu”, koja se jednaci sa Srbima kao narodom. Iako se u prijelaznom i vukovskome periodu pod uticajem Karadžićevijeh i Beličevih pogrješnijeh etničkih i jezikoslovnijeh koncepcija crnogorski jezik službeno tretirao kao *srpski jezik* (oko 1830.–1923., 1944.–1960. te od 1992.) i *srpskohrvatski jezik* Crnogorci, izvanjci, odnosno jabanci ta jezik i tada neslužbeno zovu i kao *crnogorski jezik* (1923.–1944. i 1960.–1992.), često i *naški* (maternji, što znači crnogorski jezik, da bi ga kako-tako razlikovali od srpskog jezika). Ovo su njegovi osnovni nazivi što su najčešće zvanično i nezvanično upotrebljavani.

Ustavno-pravni status. — U 15. članu “Ustava Savezne Republike Jugoslavije” iz 1992. godine stoji da je u njoj “u službenoj upotrebi srpski jezik ekavskog i ijekavskog izgovora i ćirilično pismo, a latinično pismo je u službenoj upotrebi, u skladu s ustavom i zakonom”. Ova je odrednica obavezala Republiku Crnu Goru da i ona, kao federalna jedinica Savezne Republike Jugoslavije, u svoj “Ustav” iz 1992. godišta srpski jezik ijekavskog izgovora ozvaniči kao službeni. U tome se ogleda politička hegemonija i kulturna dominacija Republike Srbije, kao druge federalne jedinice, nad Crnom Gorom i Crnogorcima (Nikčević 1994. 36–47).

D i s k u s i j e. — U Crnoj Gori postoje dva osnovna polarizovana gledišta oko jezika Crnogoraca. Prvo je zvanično, koje polazi od toga kako je nesporno da je narodni jezik Srba, Crnogoraca, Hrvata i Muslimana jedan jezik — koji se različito realizuje — o čemu jasno govore dijalekti i govori. Znači, u pitanju je jedan sistem s više upotreba. I književni jezik njegov, koji se razvio na takvoj osnovici, takode je

jedan, ali i on se realizuje u svojijem različitostima preko varijanata i književnojezičkih izraza, podvarijanata... (Ostojić 1993, 25). O tome postoji i crnogorski pristup.

Kao što se iz izloženog vidi, jezik Crnogoraca se ovde tretira na osavremenjem tradicionalni — karadžičevsko-beličevski način: kao jedna od četiri varijante ili podvarijante, odnosno književnojezička izraza "srpskoga/srpskohrvatskog jezika" kao nadnarodne i nadnacionalne vještačke konstrukcije, izvedene iz istorijski nepostojećijih Vukovih i Beličevijeh [!] filološki i monogenetski shvaćemh "Srba/Srbohrvata" kao naroda i nacije na podlozi štokavskoga dijasistema (Nikčević 1996, 14). To gledište uvažava sistemski sadržaj crnogorskog jezika, ali ne postavlja zahtjev za njegovom kodifikacijom čak ni u sastavu toga naziva jezika. Uz to ga izmješta iz njegova narodnosnoga i nacionalnog bića i utapa u ta imaginarni jezik. Tako ga i nominalno i sadržajno ukida, asimiluje. Uostalom, od toga gledišta već su odstupili hrvatski i bošnjački jezik, pa nema nikakvoga razloga da to ne učini i jezik crnogorski. Budući da je naučno već dokazano kako još od sredine IX. vijeka zaista postoje Dukljani/Zečani/Crnogorci kao narod i od kraja XV. stoljeća kao nacija u procesu oblikovanja, sa sigurnošću se može prihvatiti da je odista zavisno od njihova postanka i razvoja u isto vrijeme formiran i dukljanski/zetski/crnogorski jezik kao samoizražavajući oblik njihova identiteta. Najšire genetički i tipološki posmatran, ta jezik nije ništa drugo do podsistem praslavenskog jezika kao sistema iz kojega su nastali svi slovjski jezici takode kao podsistemi raseljavanjem starih Slovjena iz njihove drevne pradomovine (Nikčević 1993, 24).

P e r s p e k t i v a. — Iako iza jezika crnogorskog još uvijek ne stoje snaga i autoritet države, i pored toga što se istina o njemu teško i sporo probija zbog tvrdokornosti naslijedemjeh zabluda, on ipak ima budućnost. Ime mu je već dosta široko prihvaćeno, a i svakim danom se sve više zbori i na njemu pišu i pečataju razne vrste tekstova iz svih sfera javnoga života i rada.

LITERATURA

- Adžić 1995 — Adžić N. Stvaranje i razvoj crnogorske nacije. — Cetinje, 1995.
- Brković 1974 — Brković S. O postanku i razvoju crnogorske nacije. — Titograd, 1974.
- Kulišić 1980 — Kulišić Š. O etnogenezi Crnogoraca. — Titograd: Pobjeda, 1980.
- Majić 1933 — Majić D. Starinske crte u govoru našega kraja. — Godišnjak

- nastavnika Podgoričke gimnazije, knj. IV., br. 4. za 1933., Podgorica, 1933.
- Nikčević 1990 — Nikčević V. Crnogorski jezik. I. Osnovne strukturne osobine crnogorskog jezika. II. Crnogorska pisma. III. Crnogorski pravopisi. — Elementa montenegrina, Cetinje, 1990, br. 1.
- Nikčević 1933 — Nikčević V. Samoizražavajući oblik identiteta. — Liberal, Podgorica, br. 33., 20. IV. 1933.
- Nikčević 1993 — Nikčević V. Crnogorski jezik. Geneza, tipologija, razvoj, strukturne odlike, funkcije. T. I. (Od artikulacije govora do 1360.). — Cetinje: Matica crnogorska, 1993; T. II. (Od 1360. do 1995.) (u knjigopečatnji).
- Nikčević 1993 — Nikčević V. Piši kao što zboriš. Glavna pravila crnogorskoga standardnoga jezika. — Podgorica: Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 1993.
- Nikčević 1994 — Nikčević V. Status i problemi crnogorskog jezika. — Doclea, Podgorica, 1994, br. 2., mart-april.
- Nikčević 1996 — Nikčević V. Vještačka nadnacionalna konstrukcija. — Liberal, Cetinje, serija III., 1996, br. 176., 17. maj.
- Nikčević 1996 — Nikčević V. Crnogorski jezik. Istorija crnogorskog jezika. Struktura crnogorskog jezika. Crnogorska pisma. Crnogorski pravopis. Naziv crnogorskog jezika. — Podšetnik o Crnoj Gori i Crnogorstvu. Cetinje: Dignitas-Elementa montenegrina, 1996.
- Nikčević 1997 — Nikčević V. Pravopis crnogorskog jezika. — Cetinje: Crnogorski PEN centar, 1997.
- Ostojić 1993 — Ostojić B. Velika nepravda. — Liberal, Podgorica, 1993, br. 33., 20. IV.
- Perić 1940 — Perić Ž. M. Crna Gora u jugoslavenskoj federaciji. — Ekonomist, Zagreb, 1940, br. 7-8.
- Peričić 1991 — Peričić E. Sclavorum regnum Grgura Barskog. — Ljetopis popa Dukljanina. Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.
- Rotković 1995 — Rotković R. Odakle su došli preci Crnogoraca. — Onomastička istraživanja, Cetinje: Matica crnogorska, 1995.
- Rotković 1996 — Rotković R. Kratka ilustrovanja istorija crnogorskog naroda. — Cetinje: Matica crnogorska, 1996.
- Simeon 1969 — Simeon R. Crnogorski jezik. — Simeon R. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. I (A - O). Zagreb: Matica hrvatska, 1969.
- Škiljan 1996 — Škiljan D. Moć jezika. — Vreme, Beograd, 1996, br. 304., 17. avgust.
- Živković 1989 — Živković D. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka). T. I. — Cetinje, 1989.
- Živković 1992 — Živković D. Istorija crnogorskog naroda (Razdoblje crnogorskog Principata/Vladikata od početka XVI. do sredine XIX. vijeka). T. I. — Cetinje, 1992.

Zbyšek Šustek
Bratislava

OTÁZKA KODIFIKACE SPISOVNÉHO MORAVSKÉHO JAZYKA

Западнославянские языки — идея литературного моравского языка — алфавит — морфология — парадигмы склонения и спряжения чешского и словацкого литературных языков в сравнении с предлагаемыми моравскими формами

Současnou jazykovou situací na Moravě a v Čechách charakterizuje nápadný paradox. Dominantní obyvatelstvo sice hovoří podle oficiálních názorů různými dialekty a jazykovými vrstvami jednotného, t.j. českého, jazyka s dlouhodobě ustálenou spisovnou formou spojující v tvarosloví typicky české prvky s některými moravismy, ale i nejvdělanější vrstvy českého národa se v posledních letech spontánně přiklánějí ve veřejném mluveném i písemném projevu k nespisovným tvarům společným pro značně unifikované interdialekty na území Čech. Naopak na Moravě se v soukromých hovorech převážně používá některý z početných a stále živých moravských dialektů, ovlivněný případně spisovnými tvary, kdežto ve veřejném projevu mluvčí více méně dodržují spisovnou normu.

Stále více se ukazuje, že spisovnou češtinu jako národní jazyk Čechů sami Češi de facto odmitají a vědomě se hlásí k (zatím) nespisovné nižší vrstvě jazyka oficiálně nazývané "obecná čeština", která však de facto je vlastní, tedy autentickou "českou" češtinou. V posledních desetiletích tato autentická čeština představuje, s výjimkou zpravodajských relací ve sdělovacích prostředcích a některých velmi oficiálních projevů, vlastně jediný, de facto neoficiálně kodifikovaný literární jazyk šířený s úplnou samozřejmostí nejen z pražského rozhlasu, televize, divadelních scén a filmu, ale v posledních letech i v psaném projevu.

Mluvčí, kteří si osvojili spisovnou češtinu anebo Moravany, kteří si zachovali vlastní jazykové podvědomí, tato situace znepokojuje a nejednou i uráží. Pokles oficiální jazykové kultury překvapuje mluvčí, kteří dlouho pobývali v zahraničí a přes svoji odloučenost paradoxně mají (z pohledu spisovné češtiny!) vyšší jazykovou kulturu jako převážná část domácího českého, nebo počeštěného obyvatelstva (např. spisovatel Milan Kundera, původem Moravan). Situace zachází tak

daleko, že i literatura věnovaná jazykové kultuře (Chloupek 1974) otevřeně přiznává, že spisovně hovoří převážně jen Moravané přicházející do Čech, aby tím zakryli společensky nižší prestiž svých (moravských) dialektů (sic!). Oficiálně skrývaná, ale objektivně existující jazyková divergence Moravy a Čech se projevila i tím, že herci moravského původu vystupující v českých filmech byli dabováni rodilými Čechy, protože mají pro české posluchače (v spisovném projevu!) nepřijatelnou výslovnost. Odklon od spisovného jazyka a agresivní prosazování autentické (obecné) češtiny se v Čechách přijímá jako přirozená samozřejmost, zatímco na Moravě převážně vyvolává nespokojenost a působí cize (Svěrák 1971).

Záporné reakce Moravanů na tento proces jsou různé. Někteří sledují tento proces lhostejně, jiní navrhuji, aby si Češi kodifikovali svoji obecnou češtinu a aby se na Moravě důsledně používala současná spisovná "čeština" (MSIC 1994). Pod vlivem známé odlišnosti britské a americké angličtiny zazněl v tisku hlas (Řehák 1994) volající po moravské češtině. Národně nejuvědomělejší Moravané začínají v posledních letech nahlas hovořit o moravštině (Kuběna 1988), resp. o kodifikaci spisovné moravštiny. Zatím jde o méně početné hlasy, což je způsobené zdánlivou neuskutečnitelností, objektivně velkou náročností této úlohy i zřejmou obtížností šíření myšlenky kodifikace spisovného moravského jazyka v atmosféře nynějšího intenzivního potlačování všeho moravského. Přesto tento proud sílí a vyúsťuje až do soukromých petičních akcí adresovaných ústředním orgánům (Opálka, os. sdělení). Nejednen skeptičtější Moravan by kodifikaci spisovné moravštiny přijal, pokud by se podařila uskutečnit. Je zřejmé, že kodifikace spisovné moravštiny by přiblížila spisovný jazyk používaný na Moravě přirozenému domácímu jazykovému substrátu a citění. Zároveň by poskytla příležitost k podstatnému zjednodušení pravopisu. Kodifikace spisovné moravštiny by v konečném důsledku pravděpodobně urychlila i vývoj v samotných Čechách směrem ku kodifikaci tam přirozené "obecné češtiny" na spisovný jazyk.

Příčiny toho, proč přes poměrně nedávnou kodifikaci moderní spisovné češtiny jako jazyka všech obyvatel Čech, Moravy a moravského Slezska dochází k uvedeným jevům, a proč v dnešní době vůbec uvažujeme o kodifikaci nového spisovného jazyka, spočívají v několika skutečnostech.

1. Historicky, přes téměř tisícileté sousedství Čechů a Moravanů v různých formách vyšších státních útvarů a vzájemný poměr obou zemí kolisající od úplné nezávislosti, popř. nezávislosti v rámci vyššího celku přes volnou konfederaci a diachrii až po současný typicky koloniální vztah se soustavnými českými ingerencemi do

moravských záležitostí jde stále od dva různé národy. Jejich samostatnost byla v minulosti udržovaná nepřístupnými oblastmi Českomoravské vysočiny. Od středověku až do let 1945–1946 funkci bariéry mezi českým a moravským etnikem plnily rozsáhlé ostrovy německých kolonistů. Svou úlohu sehrála i úplná celní hranice, která oddělovala Moravu od Čech až do roku 1755. Naopak geografické podmínky po celou historii Moravy podporovali gravitaci hospodářských styků do Dolního Rakouska a Uherska, resp. Slovenska a přes politické rozdělení tak udržovali styk státotvorného obyvatelstva jádra někdejší Velké Moravy.

2. Moravské dialekty mají mnohé znaky společné téměř se všemi ostatními slovanskými jazyky, avšak odlišné od autentické češtiny. Je to zvláště absence typicky české přehlásky *a* na *e* a *u* na *i* v deklinaci podstatných jmen. Tím je tvarosloví moravských dialektů oproti spisovné i obecné češtině přesnější. Je proto jen zdánlivě paradoxní, že většina těchto tvarů je sice rozchází s normou spisovné češtiny, ale zhoduje se spisovnou slovenštinou a dalšími slovanskými jazyky. Tato skutečnost je však při výuce spisovné češtiny na školách pečlivě skrývaná, případně, na základě izolovaného srovnání se starou češtinou, je vydávána za primitivní znak moravských dialektů.
3. Rozdílný jazykový substrát v Čechách a na Moravě a jiné tendence vývoje jsou zřejmě z rozšíření dialektů. V Čechách vývoj dospěl k vzniku v podstatě jediného interdialektu se třemi neostře oddělenými pásmy a malými enklávami zbytku původních dialektů. Na Moravě je výrazná diverzifikace několika dále bohatě členěných oblastí (Lamprecht et al. 1976). Rozmanitost dialektů na Moravě je, mimo mnohé lexikální a gramatické zhody, podobná situaci na Slovensku.
4. Jazyk na Moravě se označuje za český poměrně krátkou dobu. I mluvčí v moravském Slezsku původně označovali svůj jazyk za moravský (Bartoš 1886). V minulosti se na Moravě označoval jazyk domácího obyvatelstva i jako "jazyk přirozený na Moravě", popř. v minulém století jako slovanský, nikoliv však český. Pozoruhodné je, že slovenští obrozenci (Pavel Jozef Šafárik, Ľudovít Štúr) si všimli vysoké zhody slovenských a moravských dialektů s a naopak jejich společné rozdílnosti od dožívajících dialektů v Čechách. Oba byli první, kdo v zhodě s blízkostí krystalizačních center Velké Moravy (jihovýchodní Morava, jihozápadní Slovensko) nahlas vystoupili s myšlenkou národní a jazykové jednoty Slováků a Moravanů. Později byl jejím zastáncem malíř Jožka Úprka. V jiných

nápadných společenských souvislostech na tyto skutečnosti naráží i Kundera (1969) ve svém románu *Žert*.

5. Moderní spisovná čeština byla vytvořena do značné míry uměle. V XIX. století vedla otázka míry připuštění některých moravismu do spisovné normy k ostrým konfliktům mezi ortodoxními Čechy a osobnostmi tolerantnějšími vůči moravským odlišnostem. Nakonec o mnohém svědčí už samotná existence spisu "Hlasové o potřebě jednotného spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky" iniciované 1846 J. Kollárem a naměřené proti slovenským i moravským snahám o vlastní spisovný jazyk. I později si sám Bartoš (1886) stěžoval, že výuka spisovné češtiny ve školách je necitlivá k moravským nářečím a jejich nositelům.

Pokusy o kodifikaci spisovného moravského jazyka nejsou historicky nové. V XIX. století se o ni pokoušeli v Olomouci František Dobromysl Trnka a Vincenc Pavel Žák (paradoxně původem Češi, Pernes, 1996). Výmluvným důkazem oprávněnosti těchto snah je existence moravsko-českého slovníka, vydaného v XIX. století v Olomouci. Na stejnou úroveň možno klást i kodifikaci spisovné laštiny básníkem Ondrou Ľysohorským, který tak reagoval na evidentní nečeskost, ale i nepolskost lašského obyvatelstva. Je přitom příznačné, že spisovná laština, i když se zatím uplatnila jen v tvorbě O. Ľysohorského jako jeden ze slovanských mikrojazyků, resp. jazyků jedné osoby (Дуличенко 1981), je pro české úřady jako výrazný počin nabourávající fiktivní politicky a ekonomicky motivovanou obrozeneckou koncepci jednotného českého národa (Havlík 1993) hlavním důvodem faktického utajování této světoznámé osobnosti před domácí, hlavně moravskou a slezskou veřejností. Jako spisovný jazyk jedné osoby kvalifikoval Húsek (1972) literární použití slováckého dialektu Galuškom (1972) v jeho kmhách Slovácko sa súdi a Slovácko sa nesúdi.

Jestliže velká rozmanitost dialektů na Moravě a v moravském Slezsku je jedním z důkazů jazykové odlišnosti Moravanů a Čechů, stává se při praktickém kodifikování gramatiky spisovného moravského jazyka určitou překážkou. Její překonání je možné dvěma cestami.

1. Tam, kde se v některých tvarech (např. 3. osoba přítomného času množného čísla) nejvíce rozcházejí, připustit existenci alternativních spisovných tvarů a ponechat dalšímu vývoji jejich zachování nebo prosazení některého z nich.
2. Využít skutečnost, že východomoravské dialekty (valašské a slovácké, resp. moravkoslovenské) se části gramatických tvarů nejvíce přibližují spisovné češtině (i slovenštině), čímž vyhovují

části stereotypů získaných při školní výuce a používání spisovné češtiny, a vzít je za základ spisovného jazyka.

Pro posouzení pozice moravských gramatických tvarů mezi tvary spisovné češtiny a slovenštiny, popř. dalších slovanských jazyků a zároveň jako ukázky navrhovaných spisovných moravských tvarů slouží tabulky vzoru skloňování a časování uvedené v Příloze. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku jde však jen o jejich výběr některých paradigmat.

Ve stejném duchu jako gramatika spisovné moravštiny by měla být bidována její lexika, která měla uznávat spisovnost a rovnocennost všech výrazů používaných v některém moravském a lašském dialektu. Kromě vyhovění co nejširšímu okruhu mluvčích poskytuje tento přístup co nejširší výběr alternativ pro další rozvoj moravštiny jako spisovného jazyka.

Při kodifikaci pravopisu je potřebné v maximální míře respektovat vžitě zvyklosti a směřovat k jeho zjednodušení a snadnějšímu zvládnutí při výuce ve školách.

Moravská abeceda (návrh):

a, á, b, c, č, d, d', e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, m, n, ň, o, ó, p, q, r, ř, s, š, t, t', u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž.

Oproti spisovné češtině se v návrhu moravské abecedy vypouští grafémy *ü* a *ě*. Grafem *ü* se nahrazuje ve všech případech *u*, grafem *ě* nahrazuje podle výslovnosti psaním háčku nad předcházející souhláskou (např. *ňekteri*) nebo fonetické psaní skupiny je (např. *mjesto*). Psaní *y* a *ý* se zachovává jen po tvrdých souhláskách *d, t, n* (např. *dýchat, týrat*) a v nezdомácnělých cizích slovech, ve všech ostatních případech se od psaní historicky podmíněného psaní *y* a *ý* upouští. Písmena *q, w* a *x* slouží jen pro zápis cizích slov. V úvahu připadá i náhrada spřežky *ch* grafémem *x* (analogie čtení *x* v katalánštině), při které by se skupina hlásek *ks* v cizích slovech vypisovala foneticky (analogie chorvátštiny). Uvedenými úpravami je možné dosáhnout větší fonetičnosti pravopisu. Nejde přitom o úpravy úplně nové, ale do značné míry o kodifikaci úzu používaného při přepise nářečních textů.

Kodifikace spisovného moravského jazyka pravděpodobně bude částí obyvatel Moravy přijímaná s rezervou vyvolanou přirozenou lidskou nechutí k opouštění vžitých stereotypů. U Čechů pak jistě vyvolá velmi silný odpor a nepochybně bude i účelově zesměšňovaná. Je to jistě pokus, který přichází pozdě ve vztahu k potřebám národně citících Moravanů, ale ani zdaleka to není pokus anachronický, či dokonce protichůdný k současným vývojovým tendencím v západní Evropě. Právě tam se dnes s obdivuhodným úsilím a nadšením ožívují

dlouhodobě potlačované a zneuznávané jazyky. Věřím, že tak jako ve Španělsku je dnes běžná komunikace v katalánštině a galicijštině, jako se ve "francouzském" městě Rennes běžně prodávají učebnice bretonštiny, a jako z téměř úplného zapomnění vychází jazyky keltských obyvatel Britských ostrovů, vrátí se po tisíciletí ke svému vlastnímu spisovnému jazyku i Moravané — národ, který před 1134 lety programově stál u kolébky slovanského písemnictví.

LITERATÚRA

- Дуличенко 1981 — Дуличенко А. Д. Славянские литературные микро-языки. (Вопросы формирования и развития). — Таллин: Валгус, 1981.
- Bartoš 1886 — Bartoš F. Dialektologie moravská. První díl. Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské. — Brno, 1886.
- Galuška 1972 — Galuška Z. Slovácko sa nesúdí. — Praha, 1972.
- Havlík 1993 — Havlík L. V. Moravské letopisy. Dějiny Moravy v datech. — Brno, 1993.
- Húsek 1972 — Húsek J. [Doslov ke knize]. — Galuška Z. Slovácko sa nesúdí. Praha, 1972.
- Chloupek 1974 — Chloupek J. Knižka o češtině. — Praha: Odeon, 1974. — 322 s.
- Kuběna 1988 — Kuběna J. ... vyznání Moravské (z dopisu Mirku Holmanovi z 12. ledna 1988). — Střední Evropa (brněnská verze) Brno, 2/88 (samizdat).
- Kundera 1969 — Kundera M. Žert. — Praha, 1969.
- Lamprecht et al. 1976 — Lamprecht A. et al. České nářeční texty. — Praha, 1976.
- MSIC 1994 — Od Moravské a slezské informační centrum. Podpora — lidskost — bratrství, 82, (8). 23. 2. 1994, Texas.
- Mezihorák 1994 — Mezihorák F. Moravský extrémní regionalismus a pokus o Velké Slovensko. — Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 1994.
- Pernes 1996 — Pernes J. Pod moravskou orlicí. — Brno, 1996.
- Řehák 1994 — Řehák M. Moravská čeština. — Svobodné slovo, 3. I. 1994.

PŘÍLOHA

Porovnání některých příkladu skloňování a časování v spisovně češtině a slovenštině a navrhované spisovné moravské tvary (v některých případech jsou pro porovnání uvedeny i obecné české tvary).

1. Podstatná jména

1.1. Rod mužský

vzor *pán*, číslo jednotné

	spis. čeština	moravské tvary	spis. slovenština
N	pán	pán	pán
G	pán-a	pán-a	pán-a
D	pán-ovi, -u	pán-ovi	pán-ovi
A	pán-a	pán-a	pán-a
V	pan-e	pan-e	
L	pán-ovi, -u	pán-ovi	pán-ovi
I	pán-em	pán-em	pán-om

vzor *páni*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	páni, -ové, -ě	pán-i	pán-i
G	pán-u	pán-ú	pán-ov
D	pán-ům	pán-úm	pán-om
A	pán-y	pán-y	pán-ov
V	pán-i	pán-i	
L	pán-ech	pán-ech	pán-och
I	pán-y	pán-ama	pán-mi

vzor *muž*, číslo jednotné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	muž	muž	muž
G	muž-e	muž-a	muž-a
D	muž-i	muž-ovi	muž-ovi
A	muž-e	muž-a	muž-a
V	muž-i	muž-u	
L	muž-i	muž-i	muž-i
I	muž-em	muž-em	muž-om

vzor *muž*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	muž-i , -ové	muž-i	muž-i
G	muž-ů	muž-ů	muž-ov
D	muž-um	muž-ům	muž-om
A	muž-e	muž-e	muž-e
V	muž-i, -ové		
L	muž-ich	muž-i	muž-och
I	muž-i	muž-ama	muž-mi

vzor *hrdina*, číslo jednotné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	hrdin-a	hrdin-a	hrdin-a
G	hrdin-y	hrdin-y	hrdin-u
D	hrdin-ovi	hrdin-ovi	hrdin-om
A	hrdin-u	hrdin-u	hrdin-ov
V	hrdin-o	hrdin-o	
L	hrdin-ovi	hrdin-ovi	hrdin-och
I	hrdin-ou	hrdin-ó, -ů, -nem	hrdin-om

vzor *hrdina*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	hrdin-ové	hrdin-i	hrdin-ovia
G	hrdin-ů	hrdin-ů	hrdin-ov
D	hrdin-ům	hrdin-ům	hrdin-om
A	hrdin-y	hrdin-y	hrdin-ov
V	hrdin-ové	hrdin-i	
L	hrdin-ech	hrdin-ech	hrdin-och
I	hrdin-y	hrdin-ama	hrdin-amí

1.2. Rod. ženský

vzor *žena*, číslo jednotné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	žen-a	žen-a	žen-a
G	žen-y	žen-y	žen-y
D	žen-ě	žeň-e	žen-e
A	žen-u	žen-u	žen-u
V	žen-o	žen-o	žen-a!
L	žen-ě	žeň-e	žen-e
I	žen-ou	žen-ů, -ó	žen-ou

vzor *žena*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	žen-y	žen-y	žen-y
G	žen	žen	žien
D	žen-ám	žen-ám	žen-ám
A	žen-y	žen-y	žen-y
V	žen-y	žen-y	žen-y!
L	žen-ách	žeň-ách	žen-ách
I	žen-ami	žen-ama	žen-ami

vzor *ulica*, číslo jednotné:

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	ulic-e	ulic-a	ulic-a
G	ulic-e	ulic-e	ulic-e
D	ulic-i	ulic-i	ulic-i
A	ulic-i	ulic-u	ulic-u
V	ulic-e!	ulic-o!	
L	ulic-i	ulic-i	ulic-i
I	ulic-i	ulic-ú, -ó	ulic-ou

vzor *ulica*, číslo množné:

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	ulic-e	ulic-e	ulic-e
G	ulic	ulic	ulic
D	ulic-ím	ulic-ám	ulic-iam
A	ulic-e	ulic-e	ulic-e
V	ulic-e!	ulic-e!	
L	ulic-ích	ulic-ách	ulic-iach
I	ulic-emi	ulic-ama,-ami	ulic-iami

vzor *dlaň*, číslo jednotné:

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	dlaň	dlaň	dlaň
G	dlan-ě	dlaň-e	dlan-e
D	dlan-i	dlan-i	dlan-i
A	dlaň	dlaň	dlaň
V	dlan-i	dlaň-o	
L	dlan-i	dlan-i	dlan-i
I	dlan-i	dlaň-ú, -ó	dlaň-ou

vzor *dlaň*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	dlan-ě	dlaň-e	dlan-e
G	dlan-i	dlan-i	dlan-i
D	dlan-im	dlaň-ám	dlan-iam
A	dlan-ě	dlaň-e	dlan-e
V	dlan-ě!	dlaň-e!	
L	dlan-ich	dlaň-ách	dlan-iach
I	dlan-ěmi	dlaň-ama, -ami	dlan-iami

vzor *kost*, číslo jednotné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	kost	kost'	kost'
G	kost-i	kost-i	kost-i
D	kost-i	kost-i	kost-i
A	kost	kost'	kost'
V	kost-i!	kost'-o	kost'-o
L	kost-i	kost-i	kost-i
I	kost-i	kost'-ú, -ó	kost'-ou

vzor *kost*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	kost-i	kost-i	kost-i
G	kost-i	kost-i	kost-i
D	kost-em	kost'-ám	kost'-iam
A	kost-i	kost-i	kost-i
V	kost-i!	kost-i!	kost-i!
L	kost-ech	kost'-ách	kost'-iach
I	kost-mi	kost'-ama, -ami	kost'-aini

Cizí podstatná jména rodu ženského latinského původu zakončené na -ija

vzor *akcija*, číslo jednotné:

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	akc-ie	akc-ija	akc-ia
G	akc-ie	akc-ije	akc-ie
D	akc-ii	akc-iji	akc-ii
A	akc-ii	akci-iju	akci-iu
V	akc-ie!	akc-ijo	akc-iai
L	akc-ii	akc-iji	akc-ii
I	akc-ii	akc-ijú, -ijó	akc-iou

vzor *akcija*, číslo množné:

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	akc-ie	akc-ije	akc-ia
G	akc-ii	akc-ije	akc-ie
D	akc-iím	akc-ijám	akc-iám
A	akc-ie	akc-ije	akc-ie
V	akc-ie!	akc-ije!	akc-ie!
L	akc-iích	akc-ijách	akc-iách
I	akc-iemi	akc-ijama, -ijami	akc-iami

I. 3. Rod středni

vzor *srdce*, číslo jednotné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	srdc-e	srdc-e	srdc-e
G	srdc-e	srdc-a	srdc-a
D	srdc-i	srdc-u	srdc-u
A	srdc-e	srdc-e	srdc-e
V	srdc-e	srdc-e!	
L	srdc-i	srdc-i	srdc-i
I	srdc-em	srdc-em	srdc-om

vzor *srdce*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	srdc-e	srdc-a	srdc-ia
G	srdc-i	srdc-i	srđc
D	srdc-im	srdc-ám, -im	srdc-iam
A	srdc-e	srdc-a	srdc-ia
V	srdc-e!	srdc-a!	
L	srdc-ich	srdc-ách	srdc-iach
I	srdc-emi	srdc-ama, -ami	srdc-ami

vzor *visvředčení*, číslo jednotné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	vysvědčen-i	visvředčen-i	vysvedčen-ie
G	vysvědčen-í	visvředčeň-á, -ni	vysvedčen-ia
D	vysvědčen-í	visvředčen-í	vysvedčen-iu
A	vysvědčen-i	visvředčen-i	vysvedčen-ie
V	vysvědčen-i	visvředčen-i!	
L	vysvědčen-í	visvředčen-í	vysvedčen-i
I	vysvědčen-im	visvředčen-im	vysvedčen-ím

vzor *visvředčení*, číslo množné

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	vysvědčen-i	visvředčeň- á , - ni	vysvedčen-ia
G	vysvědčen-í	visvředčeň- i	vysvedčen-i
D	vysvědčen-im	visvředčeňim, - ňám	vysvedčen-iam
A	vysvědčen-i	visvředčeň- i , - ňá	vysvedčen-ia
V	vysvědčen-i!	visvředčeň- i , - ňá	
L	vysvědčen-ích	visvředčeň- ich	vysvedčen-iach
I	vysvědčen-imi	visvředčeň- ima , - ňáma	vysvedčen-iaimi

2. Přídavná jména

Přídavné jméno *dobrý*, rod mužský

	spis. čeština		obecná čeština	
	jedn. č.	mn. č.	jedn. č.	mn. č.
N	dobrý	dobří	dobřej	dobrý
G	dobrého	dobrých	dobrýho	dobřejch
D	dobrému	dobrým	dobrýmu	dobřejm
A	dobrý, dobrého	dobré	dobřej, dobrýho	dobrý
V	dobrý	dobří	dobřej	dobrý
L	dobrém	dobrých	dobrým	dobřejch
I	dobrým	dobřími	dobrým	dobřejma

	morav. tvary		spis. slovenština	
	jedn. č.	mn. č.	jedn. č.	mn. č.
N	dobrý	dobří, - ré	dobrý	dobří, - é
G	dobrého	dobrých	dobrého	dobrých
D	dobrému	dobrým	dobrému	dobřími
A	dobrý, dobrého	dobré	dobrý, dobrého	dobré
V	dobrý	dobří		
L	dobrém	dobrých	dobroim	dobrých
I	dobrým	dobřími, dobříma	dobrým	dobřími

3. Zájmena

ukazovací zájmeno *ten*

	spis. čeština		morav. tvary		spis. slovenština	
	jedn. č.	mn. č.	jedn. č.	mn. č.	jedn. č.	mn. č.
N	ten	ti	ten	tí	ten	tí
G	toho	těch	teho	tech	toho	tých
D	tomu	těm	temu	tem	tomu	tým
A	toho, ten	ty	teho, ten	ty	toho, ten	tých
V						
L	tom	těch	tem	tech	tom	tých
I	tim	těmi	tim	tema	tým	tými

ukazovací zájmeno *tá*

	spis. čeština		obecná čeština		morav. tvary		spis. slovenština	
	j. č.	mn. č.	j. č.	mn. č.	j. č.	mn. č.	j. č.	mn. č.
	N	ta	ty	ta	ty	tá	ty	tá
G	té	těch	tý	tých	té, téj	tech	tej	tých
D	té	těm	tý	tým	té, téj	tem	tej	tým
A	tu	ty	tu	ty	tú	ty	tú	tie
V								
L	té	těch	tý	tých	té, téj	tech	tej	tých
I	tou	těmi	tou	těma	tú, tó	tema	tou	tými

ukazovací zájmeno *to*

	spis. čeština		morav. tvary		spis. slovenština	
	j. č.	mn. č.	j. č.	mn. č.	j. č.	mn. č.
N	to	ta	to	ty	to	tie
G	toho	těch	teho	tech	toho	tých
D	tomu	těm	temu	tem	tomu	tým
A	to	ta	to	ty	to	tie
V						
L	tom	těch	tem	tech	tom	tých
I	tim	těmi	tím	tema	tým	tými

osobní zájmeno *já*

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
N	já	já	ja
G	mne, mě	mňa, mňe	mňa, ma
D	mně, mi	mňe, mí	mne, mi
A	mne, mě	mňa, mňe	mňa, ma
L	mně	mňe	mne
I	mnou	mnú, mnó	mnou

přivlastňovací zájmeno: *muj*, rod mužský

	spis. čeština		morav. tvary		spis. slovenština	
	jedn. č.	mn. č.	jedn. č.	mn. č.	jedn. č.	mn. č.
N	můj	moji	múj	moji	môj	moji
G	mého	mých	mojého	mojích	môjho	mojich
D	mému	mým	mojému	mojím	môjmu	mojim
A	muj, mého	moje	múj	moje	môj, môjho	mojich
V	muj	moji	múj	moji		
L	iném	mých	mojém	mojích	mojom	mojich
I	mýn	mými	mojím	mojíma	mojím	mojimi

5. Slovesa

nepravidelné sloveso *být*, přítomný čas,
oznamovací způsob

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
1	jsem	su	sme
2	jsi	si, seš	si
3	je	je	je
1	jsine	sme	sme
2	jste	ste	ste
3	jsou	sú, só	sú

nepravidelné sloveso *vědet*, přítomný čas,
oznamovací způsob

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
1	vím	vím	viem
2	viš	viš	vieš
3	ví	ví	vie
1	viíme	víme	vieme
2	víte	víte	viete
3	vědí	vijú, vijó	vedia

nepravidelné sloveso *chcet*, přítomný čas,
oznamovací způsob

	spis. čeština	obecná čeština	morav. tvary	spis. slovenština
1	chci	chci	chcu	chcem
2	chceš	chceš	chceš	chceš
3	chce	chce	chce	chce
1	chceme	chceme	hceme	hceme
2	chcete	chcete	hcete	hcete
3	chtějí	chtěj	hcú, hcó	hcú

nepravidelné sloveso *moci*

	spis. čeština	morav. tvary	spis. slovenština
1	mohu, mužu	múžu, možu	môžem
2	mužeš	múžeš, možeš	môžeš
3	muže	múže, može	môže
1	mužeme	můžeme, možeme	môžeme
2	mužete	můžete, možete	inôžete
3	inohou, mužou	mužú, možu	môžu

vzor *volat*, přítomný čas, oznamovací

	spis. čeština	obecná čeština	morav. tvary	spis. slovenština
1	vol-ám	vol-ám	vol-ám	vol-ám
2	vol-áš	vol-áš	vol-áš	vol-áš
3	vol-á	vol-á	vol-á	vol-á
1	vol-áme	vol-ámé	vol-áme	vol-áme
2	vol-áte	vol-áte	vol-áte	vol-áte
3	vol-aji	vol-áj	vol-ajú, jó	vol-ajü

vzor *pracovat*, přítomný čas, oznamovací způsob

	spis. čeština	obecná čeština	morav. tvary	spis. slovenština
1	pracuj-i	pracuj-u	pracuj-u	pracuj-em
2	pracuj-eš	pracuj-eš	pracuj-eš	pracuj-eš
3	pracuj-e	pracuj-e	pracuj-e	pracuj-e
1	pracuj-eme	pracuj-em	pra<u>e</u>uj-eme	pracuj-eme
2	pracuj-ete	pracuj-ete	pra<u>e</u>uj-ete	pracuj-ete
3	pracuj-í	pracuj-ou	pracujú, -óí	pracuj-ü

vzor *něst*, přítomný čas, oznamovací způsob

	spis. čeština	obecná čeština	morav. tvary	spis. slovenština
1	nes-u	nes-u	nes-u	nes- <u>i</u> em
2	nes-eš	nes-eš	nes-eš	nes- <u>i</u> eš
3	nes-e	nes-e	nes-e	nes- <u>i</u> e
1	nes-eme	nes-em	nes-eme	nes- <u>i</u> eme
2	nes-ete	nes-ete	nes-ete	nes- <u>i</u> ete
3	nes-ou	nes-ou	nes-ú, -ó	nes- <u>ü</u>

István Udvari
Nyiregyháza

ЯЗЫКОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ РУСИНСКО- ВЕНГЕРСКОГО СОЖИТЕЛЬСТВА (на материале романа Василия Петровая "Русины")*

Взаимодействие языков — карпаторусинско(resp. карпато-украинско)-венгерские языковые контакты — история их изучения — роман Василия (Вацлава) Петровая "Русины" — лексические мадьяризмы в романе как отражение карпато-русинско-венгерского сожительства

Изучение проникновения венгерских лексических элементов в речь русин (resp. карпатских украинцев) Карпатского бассейна (об этнониме "русин" см. Udvari 1992, 15) дало значительные результаты, которые не могут не учитываться последующими исследователями. Необходимо при этом заметить, что язык русин, живущих сегодня в семи государствах (см. Udvari 1992, 17–35), и элементы венгерского происхождения в нем, исследованы неравномерно. [Об истории исследования лексических мадьяризмов в карпаторусинских (русинских) говорах, см. Dezső 1989, 3–4; Lizanec 1970, 44–82; Лизанец 1976, 55–79]. Прежде всего укажем, что мадьяризмы в языке карпатских русин (resp. карпатских украинцев) монографически исследовал П. Лизанец. Ужгородский исследователь сконцентрировал свое внимание на венгерско-карпатоукраинских языковых контактах, рассмотрев их на экстралингвистическом фоне. Он касается истории исследования венгерских элементов, анализирует появившиеся фонетические и морфологические особенности лексических мадьяризмов, приводит тематические группы заимствованных слов. П. Лизанец картографировал многое из собранного им материала, (см. также: Лизанец 1976а). Работу, посвященную мадьяризмам в языке бачско-сремских (сербских и хорватских) русин, опубликовал автор этой статьи (Udvari 1985, 61–83; Удвари 1988, 49–59; Удвари 1993, 67–72; о бачско-сремских русинах, у которых уже оформлен свой литературный язык, см.

* Статья печатается нами в сокращении. — Примечание редактора.

Дуличенко 1995). О венгерских заимствованиях в речи русин, проживающих в Словакии, написано мало. В этой статье мы обратимся к данному вопросу, используя в качестве источника художественное произведение — роман Василия Петрова “Русины” (Petrovaj 1994).

Русинскоязычный роман Василия Петрова появился под названием “Русины” в издательстве “Русиньска оброда” (Rusinská obroda) в Пряшеве в 1994 г. Еще раньше три тома этого романа появились на русском языке в Ужгороде в изд-ве “Карпаты” (Петровай 1993–1995). Действие первого тома трилогии, изданного латиницей (объем — 270 страниц), разворачивается в Верхнем Земплине, в Нижних Бескидах, в селе Габура на словацко-польской границе, в период между двумя мировыми войнами.

Автор настоящей статьи нашел в этом важном произведении не менее пятидесяти лексических мадьяризмов. По настоящее время ни в одном из изданных в Словакии трудов на русском или украинском языках (словацкие русины до последнего времени пользовались этими двумя литературными языками) не проявлялся так глубоко характер венгерско-русинских интерэтнических и языковых контактов.

В жизни самого автора романа было немало приключений. Он родился в селе Габура, здесь вырос, ныне живет в городе Мариуполь на Украине. В 1946 г. в рамках обмена населения на основании советско-чехословацкого договора он переселился на Украину. Произошло это в то время, когда “приманенные” в XVIII в. в Волынь чехи возвращаются домой, в Чехословакию. На их места в район Ровно прибывает около двенадцати тысяч жителей Восточной Словакии, *de jure* считавшихся украинцами. Переселившиеся из Словакии русины-украинцы не смогли примириться с порядками на новом месте, не смогли там прижиться. К тому же на новом месте их не считали украинцами. Некоторые из них тяжело переносили политическую атмосферу, видя большую разницу между чехословацкой и советской действительностью. Поэтому в шестидесятые годы они стали ходатайствовать перед советской властью о возвращении их домой, в Чехословакию, даже в статусе “словаки”. С 1989 г., после так наз. “бархатной” революции, многие из них присоединились к русинскому культурному движению. Петровай, однако, остался в Советском Союзе, но стал убежденным русином. Он составил русинский словарь, “азбуковник”, на русинском разговорном языке из-под его пера появилась первая часть трилогии, где запечатлена судьба населения родной

деревни после первой мировой войны. События, описанные в книге, происходят в деревне Габура, расположенной приблизительно в восьми километрах от Медзилаборец.

На судьбе одной семьи Петровой представляет читателю полную панораму деревни, ее природные данные, жизнь населения. В романе показана жизнь двух поколений семьи Кермеш. Откуда Степан Кермеш пришел в это село, кто он такой, никто не мог точно сказать. Одни говорили, что из района Жешова (Rzeszów) в Польше, другие утверждали, что он пришел из Моравской Остравы. Большинство все-таки предполагало, что попал он в деревню из Альфельда (Alföld) или из Старого Будина (Óbuda). Эти догадки селян проливают свет на то, в каком направлении население деревни поддерживало контакты, с кем имело связи. Со временем Степан женится. В жены он берет себе самую красивую женщину в селе, а таковой была вдова. Главной заботой Кермешов было прочное супружество, накопление богатства. Автор произведения, изображая сыновей и внуков Кермеша, рисует картину деревни из Верхнего Земплина.

В романе выступают представители еврейской, цыганской, чешской и венгерской национальностей, правда, в схематическом изображении. Писатель рисует психологически убедительную картину совместной жизни русин и цыган, в частности, сдержанное общение между ними — цыганскую закрытость и русинскую открытость. В этом плане изображена и трагическая любовь русинского юноши и цыганской девушки. Хочется отметить, что между двумя мировыми войнами центральной фигурой в русинском селе был торговец и продавец — еврей, которому это занятие приносит серьезные доходы.

На основании имеющихся у нас данных можно сравнить мадьяризмы карпатских русин с мадьяризмами, попавшими в речь русин Восточной Словакии. Предварительно мы бы констатировали следующее: 1) влияние венгерского языка на лексику народной речи закарпатских русин и восточнословацких русин дает идентичную картину только в отношении старых, средневековых заимствований; 2) мадьяризмы земплинских русинских говорах часто показывают родство с мадьяризмами восточнословацких диалектов и в области фонетики, морфологии и семантики. Более того, в романе Петрова встречаются такие заимствования, которых не знают закарпатские говоры, но которые встречаются в восточнословацких говорах, напр.: *valal* 'село'; *falat* 'участок земли / луга', 'кусоч хлеба', 'кусоч бумаги'; *sivar* 'сигара'; *rąjzovati* 'разъезжать' и др.

Все собранные нами по тексту романа Петрова лексические мадьяризмы представляют собой элементы, возникшие в русинских говорах исторически. Их судьба зависит от судьбы самих говоров. При создании на их основе литературного языка мадьяризмы закрепятся. Отметим, что создатели русинского языка на территории Словакии при определении его норм взяли за основу именно верхнеземплинские русинские говоры. Нормы орфографии русинского литературного языка, составленные Ю. Панько и В. Ябуром, в значительной мере учитывают текст романа "Русин" (Панько 1992; Словник 1994; Правила 1994).

Представим тематические группы мадьяризмов из романа В. Петрова "Русины":

Существительные:

Дом, сельское хозяйство: *butor* 105 < венг. *bútor* 'мебель, обстановка'; *gazda* 7, 101 < *gazda* 1) 'хозяин', 2) 'муж'; *garadčiči* 103 < *garádics* 'ступеньки, лестница'; *funduš* 103 < *fundus* 'дом вместе со всеми хозяйственными постройками'; *bogľ'a* 18 < *bogľya* 'стог, копна'; *fajta* 13, 16 < *fajta* 1) 'порода', 2) 'племя'; *chotar* 19, 30 < ст.-венг. *hotar* 1) 'территория села', 2) 'государственная граница', 3) 'граница, рубеж села'; *kapura* 44, 228 < *kapu* 1) 'ворота', 2) 'калитка'; *karička* 156 < *karika* 'кружок плиты'; *koč* 127 < *kocsi* 'экипаж, повозка'; *kočis* 47 < *kocsis* 'кучер'; *kenderica* 198, 265 < *tengeri* 'кукуруза'; *kert* 10 < *kert* 1) 'сад', 2) 'усадебный'; *livča* 43 < *lőcs* 'оглобля'; *orgonina* 103 < *orgona* 'куст сирени'; *sarsan* 46 < *szerszám* 'сбруя'; *valal* 7 < ст.-венг. *valál* 'село, деревня'; *tar'cha* 48, 206 < ст.-венг. *terh* 1) 'груз, вес', 2) 'тяжесть, бремя'.

Части тела: *laba* 60, 228 < *láb* 1) 'нога человека, лапище', 2) 'нога животного'; *bajus'ky* 258 < *bajusz* 'усики'.

Название животных: *pul'ka* 270 < *pulyka* 'индюк'; *somár* 120, 121 < *szamár* 1) 'осел', 2) 'дурак, глупый человек'; *šarkan* 131 < *sárkány* 'змея'.

Клички животных: *Bundi* 133 < *Bundi* 'кличка собаки'; *Sarkan* 271 < 'кличка собаки'; *Kedveška* 24 < *Kedves* 'кличка коровы'.

Торговля: *oldomaš* 177 < *áldomás* 'магарыч'; *filer* < *fillér* 'денежная единица, сотая часть форинта'; *chosen* 30, 190 < ст.-венг. *hoszon* 1) 'польза, выгода', 2) 'смысл'.

Домашнее хозяйство, быт: *d'ugov* 18, 105 < *dugó* 'пробка'; *falat* 34, 68 < *falat* 1) 'кусочек хлеба', 2) 'участок земли', 3) 'часть'

* Цифра после русинского слова обозначает страницу романа В. Петрова.

дороги: *findža* 151 < *findsza* 'кружка'; *kavej* 34 < *kávè* 'черный кофе'; *lada* 36 < *láda* 'сундук, подлавок'; *lampaš* 60 < *lámpás* 'фонарь'; *leveš* 45 < *levés* 'картофельный суп'; *pohar* 9 < *pojár* 'чарка, бокал, стакан'; *r'and'a* 165, 170 < *rongy* 'тряпка, тряпье'; *šovdra* 228 < *sódar* 'окорок, ветчина'; *tañir* 80 < *tányér* 'тарелка'; *tepša* 99 < *tepsi* 'сковорода, противень'.

Курение: *pipka* 51 < *pipa* 'трубка'; *sivar* 93 < *szivar* 'сигара'.

Названия танцев: *karička* 147, 241 < *karikatánc* 'пляска кольцом'; *čardaš* 131 < *csárdástánc* 'чардаш'.

Одежда: *baršan* 193, 269 < *bársony* 'бархат'; *bočkory* 47 < *bocskor* 'лапти из кожи'; *bokanči* < *bakkancs* 'тяжелые ботинки'; *gal'ir* 82, 93 < *gallér* 'ворот, воротник'; *gombička* 42, 55 < *gomb* 'пуговица'; *kalap* 6 < *kalap* 'шляпа'; *pantlik* 211 < *pántlika* 'ленточка'; *čizmy* 187 < *csizma* 'сапоги'; *čipka* 147 < *csipke* 'чепец'; *talpa* 181, 204 < *talp* 1) ' подошва обуви'; 2) 'глупый человек, самоуверенный'.

Названия лиц: *berov* 268 < *biró* 'староста'; *bosorkaňa* 19 < *boszorkány* 'ворожея, колдунья'; *husar* 115 < *husár* 'гусар'; *gavalir* 8 < *gavallér* 'поклонник, ухажер'; *l'ompoš* 39 < *lompos* 'пройдоха'; *m'asaroš* 14 < *mészáros* 'мясник'; *šovgor* 54 < *sógor* 'деверь', 'шурин'; *segiňa* 210 < *szegény* 'беднячка'; *živan* 83, 120 < *zsvány* 1) 'озорник, проказник'; 2) 'разбойник'; *Pišta* 185 < *Pista* 'ласкательная форма от имени Иштван'; *Mad'ar* 14 < *magyar* 'этноним венгров'; *Ferenc Jozef* 14 < *Ferenc József* — предпоследний кесарь и король Австро-Венгрии: Франц Йосиф.

Глаголы:

banovati 21 < *bán* 1) 'убиваться по чему-либо'; 2) 'печалиться, грустить'; *čavargovati* 41, 44, 54, 117 < *csavarog* 1) 'баклуши бить'; 2) 'водиться с кем-л.'; 3) 'загулять'; 4) 'якшаться'; *čerati* 176 < *cserél* 'меняться'; *kapčati* 55, 93, 100, 144 < *kapcsol* 1) 'связывать'; 2) 'сковывать кого-л.'; 3) 'соображать'; *rajzovati* 133, 226 < *rajzik* 'разъезжать'; *sanovati* 32, 205 < *szán* 'жалеть, не дать'.

Прилагательные:

bivšyj 107 < *bő* 'большой'; *valušnyj* 78, 260 < *valósi* 'способный, годный к чему-н.'; *hamišnyj* 194, 264 < *hamis* 'упрямый, хитрый'; *kurtyj* 16 < *kurta* 'короткий, куцый'; *ščeterenyj* 109 < *csömör* 'страстный, жгучий'.

Прочие:

guta 124, 212 < *guta* 'нечистая сила, черт (бранное слово)'; *kaštel* 65 < *kastély* 'дворец, замок'; *musaj* 190 < *muszaj* 'надо'.

необходимо²; *serenča* 19 < szerencse 'счастье'; *šor* 10, 267 < sor 1) 'ряд'; 2) 'порядок чего-н.' 3) 'очередь'; 4) 'вереница'; 5) 'строка'; *serus* 146 < szerusz 'привет'.

ЛИТЕРАТУРА

- Дуличенко 1995 — Дуличенко А. Д. Jugoslavo-Ruthenica. Роботи з руської філології. — Нови Сад, 1995.
- Лизанець 1976 — Лизанець П. М. Венгерські заимствования в українських говорах Закарпаття. — Ужгород, 1976.
- Лизанець 1976a — Лизанець П. М. Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР. — Ужгород, 1976.
- Панько 1992 — Панько Ю. Норми русинського правопису. — Пряшів, 1992.
- Петровай 1993–1995 — Петровай В. Русини, I–III. — Ужгород, 1993–1995.
- Правила 1994 — Правила русинського правопису. В. Ябур, Ю. Панько. — Пряшів: Русинська оброда, 1994.
- Словник 1994 — Орфографічний словник русинського язика. Під редакцієв Ю. Панька. — Пряшів: Русинська оброда, 1994.
- Удвари 1988 — Удвари И. К вопросу о морфологической адаптации венгерских заимствований в русинском языке. — Slavica Tartuensia 2: Славянские литературные языки и историография славяноведения. (Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 811). Тарту, 1988, 46–58.
- Удвари 1993 — Удвари И. Гавриїл (Габор) Костельник о мадярских поживках у руским язикю. — Шветлосц, Нови Сад, 1993, ч. 1–2, 67–72.
- Dezső 1989 — Dezső L. A XVI–XVIII. századi kárpátukrán nyevemlékek magyar jövevényszavai. — Budapest, 1989.
- Lizanec 1970 — Lizanec P. M. Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok. A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyaga alapján. — Ungvár, 1970.
- Petrovaj 1994 — Petrovaj V. Rusyny. — Pr'ášov: Rusyn'ska obroda, 1994.
- Udvari 1985 — Udvari I. A bács-szerémi ruszin nyelv magyar jövevényszavainak fonetikai meghonosodása. — Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis. T. 10/E. Russzisztika. Nyiregyháza, 1985, 61–83.
- Udvari 1992 — Udvari I. Ruszinok a XVIII. században. (Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. — Nyiregyháza, 1992.

Vasil Jabur
Prešov

SYSTEM SLOVESNÝCH TVAROV V RUSÍNSKOM JAZYKU V POROVNANÍ S UKRAJINSKÝM

Morfológia – morfológia rusinskeho jazyka – sloveso – systém slovesných tvarov – určité slovesné tvary – neurčité slovesné tvary – tvary indikativu prézenta – tvary indikativu préterita – tvary indikativu futúra – tvary kondicionálu prézenta – tvary kondicionálu préterita – tvary imperativu – infinitiv – prechodník – pričastie činné – pričastie trpné – slovesné podstatné meno

Všetky slovesné tvary sa v rusinskom jazyku rozdeľujú: a) podľa gramatického významu, b) podľa zloženia.

Podľa gramatického významu rozlišujeme určité (finitné) slovesné tvary a neurčité (infinitné) slovesné tvary.

Určité (finitné) slovesné tvary sú tie, ktoré vyjadrujú predovšetkým gramatické kategórie spôsobu (modus) a času (tempus) a plnia primárnu funkciu slovesa vytvárať predikatívne jadro vety. Delíme ich na osobné (*Школярь пише*) a neosobné (*Барз загырмло*). K určitým slovesným tvarom patria: tvary indikativu prézenta, tvary indikativu préterita, tvary indikativu futúra, tvary kondicionálu prézenta, tvary kondicionálu préterita a tvary imperativu.

Neurčité (infinitné) slovesné tvary nevyjadrujú kategórie spôsobu, času a osoby, vyjadrujú však sekundárne funkcie slovesa, ktoré sú identické s primárnymi funkciami ostatných základných slovných druhov — substantíva, adjektíva a adverbia. Neurčité slovesné tvary sú: neurčitok, prechodník, činné pričastie prítomné, činné pričastie minulé, trpné pričastie a slovesné podstatné meno.

Podľa zložitosti rozdeľujeme tvary na jednoduché (syntetické) a zložené (analytické). V syntetických tvaroch je gramatický význam vyjadrený nesamostatnou morférou (afixom), v analytických tvaroch plní túto funkciu samostatná morféma alebo častejšie morfémový komplex, členený do jedného alebo viacerých fonemackografematických reťazcov. Ináč povedané, jednoduchý slovesný tvar sa rovná jednému slovu a gramatické morfémy tu majú spravidla povahu prípony

a sú na konci slovesného tvaru (*чита-м, пишу-уть...*) a zložený slovesný tvar sa skladá z dvoch alebo viac slov. Rozlišujeme dva typy zložených slovesných tvarov: opisné (*буду писати, писали бы сьме...*) a zvrätne tvary [*(хыжа) ся будує, (зеленина) ся продавать*].

Určité slovesné tvary

Tvary indikatívu prézenta. Tvary indikatívu prézenta vyjadrujú kategóriu osoby, oznamovacieho spôsobu, prítomného času a kongruenčnú mennú kategóriu čísla. Tvary nedokonavých slovies vyjadrujú prítomný čas tzv. aktuálny, prézens historický, prézens futurálny a prézens atemporálny. Tvary dokonavých slovies vyjadrujú aktuálne futúrum a prézens historický, zriedka tiež prézens atemporálny (gnómický).

Tvary indikatívu prézenta sa tvoria z prítomného kmaňa nedokonavých a dokonavých slovies pomocou osobných prípon:

	I.	I.a	II.
1. os. sg.	-у(-ю); веду;	-м; співам;	-у(-ю); сиджу
2. os. sg.	-еш(-єш); ведеш;	-и; співаш;	-иш(-іш); идиш
3. os. sg.	-е(-є); веде;	-ть; співать;	-ить(-іть); сидить
1. os. pl.	-еме(-єме); ведеме;	-ме; співаме;	-име(-іме); сидиме
2. os. pl.	-ете(-єте); ведете;	-те; співате;	-ите(-іте); сидите
3. os. pl.	-уть(-ють); ведуть;	-уть(-ють); співають;	-ать(-ять); сидять

Pri porovnaní tvarov indikatívu prézenta s ich náprotivkami v spisovnej ukrajincine, možno pozorovať tieto rozdiely:

a) v ukrajincine sa nevyčlenila osobitná podskupina slovies I. časovania s odlišným systémom tvarov v jednotnom i množnom čísle;

b) v tretej osobe singuláru reflexívnych slovies I. časovania rusincina na rozdiel od ukrajinciny stratila koncové *-ть* (*сміє ся, мые ся, чеше ся...*). Okrem toho reflexívna morféma *ся* v rusinskom jazyku je veľmi pohyblivá, môže stáť pred i po slovese a môže byť od neho oddelená i niekoľkými slovami (*мыє ся, він ся мыє; він ся каждый день скоро рано мыє студенів водів*);

c) jedným z najdôležitejších dištingtívnych príznakov rusinskeho jazyka je výlučná existencia flektívnej morfémy *-ме* (na rozdiel od ukr. *-мо*) v 1. os. pl. (*ходиме, напишеме, сидиме, встанеме...*).

Tomuto javu pripisoval veľký význam aj ukrajinský lingvista L. A. Bulachovskij (1956, 206), ktorý dokonca pripúšťal, že ak by podobných javov existovalo viac, potom by sa dalo hovoriť o existencii prechodných dialektov medzi mekdajším južnoruským a slovenským masivom.

Tvary indikativu préterita. Indikativ préterita má v rusínskom jazyku dvojaké tvary: syntetické a analytické.

Syntetické tvary préterita nemajú osobné prípony, iba rodové ukazovatele. Tvoríme ich spojením osobných zámen я, ты, він, она, оно, мы, вы, они (vo funkcii ukazovateľov osoby) s rodovými ukazovateľmi: -в (muž. r.), -ла (žen. r.), -ло (str. r.), -ли (pre všetky rody plurálu), ktoré sa pripájajú k infinitívnomu kmeňu (*чита-в, чита-ла, чита-ло, чита-ли*):

1. я читав (-ла, -ло)
мы читали
2. ты читав (-ла, -ло)
вы читали
3. він, она, оно, читав (-ла, -ло)
они читали

Výnimky z uvedeného spôsobu tvorenia syntetických tvarov préterita sa vyskytujú vtedy, keď je inf. kmeň zakončený na predné spoluhlásky з, с, р, hrtanovú г, zadopodnebné к a labiály б, п, в. Vtedy sa tvar maskulín tvorí bez -в (*виз, ніс, міг, пік, скуб, тер...*).

Analytický tvar indikativu préterita sa skladá z rodových tvarov syntetického préterita plnovýznamového slovesa a tvarov indikativu prézenta pomocného slovesa *быти*, ktoré môžu mať v ženskom a strednom rode aj stiahnutú (skrátenu) podobu:

1. os. sg. читав ем, читала ем (*читала-м, читало ем*) читало-м
2. os. sg. читав есь, читала есь (*читала-сь, читало есь*) читало-сь
3. os. sg. читав, читала, читало
1. os. pl. читали сьме
2. os. pl. читали сьте
3. os. pl. читали

Tvary pomocného slovesa sú nositeľmi kategórii oznamovacieho spôsobu, osoby a čísla. Rodovým tvarom synt. préterita sú vyjadrené kongruenčne menné kategôrie rodu a čísla. V 3. os. sg. a pl. nie je tvar pomocného slovesa vyjadrený, je nulový.

Z porovnamy s tvarmi préterita v spisovnej ukrajincine vyplýva, že sa zhodujú syntetické tvary préterita v obidvoch jazykoch, ukrajincina však nepozná analytické tvary indikativu préterita. V rusincine sú tieto tvary veľmi frekventované a vyskytujú sa oveľa častejšie než tvary syntetické. Analytické tvary indikativu préterita v rusínskom

jazyku sa čo do formy zhodujú s podobnými tvarmi v slovenčine a češtine.

Tvary indikativu futúra. Indikatív futúra nedokonavých slovies je tvar zložený z tvarov zvláštneho jednoduchého budúceho času pomocného slovesa *быти* ako samostatnej gramatickej morfémy a infinitivu nedokonavého významového slovesa (hovori sa o opisnom tvare):

1. (я) *буду просити*
(мы) *будем просити*
2. (ты) *будеи просити*
(вы) *будете просити*
3. (вн, она, оно) *буде просити*
(они) *будуть просити*

Používanie osobných zámen vo funkcii ukazovateľov osoby jednotného a množného čísla je možné, nie je však nevyhnutné a zvyčajne sa vynecháva. Jeho užívame je vymedzené významovo a štylisticky.

Dokonavé slovesá nemajú osobitné tvary na vyjadrenie futúra, lebo pri dokonavých slovesách vyjadrujeme budúci čas prítomnými tvarmi (*одроблю, заспівам, засвічу, принесу...*).

Pri porovnaní s tvarmi budúceho času v spisovnej ukrajínčine možno konštatovať zhodu medzi analytickými tvarmi indikativu futúra (až na používanie osobných zámen vo funkcii ukazovateľov osoby, ktoré je v ukrajínčine častejšie). Zasadný rozdiel medzi rusínčinou a ukrajínčinou je však v tom, že rusínčina nepozná zložené tvary typu ukrajinského *я читатиму, ми читатимемо*.

Tvary kondicionálu. V rusinskom jazyku rozlišujeme dva tvary kondicionálu: kondicionál prítomný a kondicionál minulý.

Kondicionál prézenta je zložený slovesný tvar a tvorí sa dvojako:

a) zo syntetického tvaru préterita významového slovesa a samostatnej kondicionálnej častice *бы*:

1. я *бы написав, -ла, -ло*
мы бы написали
2. ты *бы написав, -ла, -ло*
вы бы написали
3. вн, она, оно, *бы написав, -ла, -ло*
они бы написали

b) z analytického tvaru préterita významového slovesa a samostatnej kondicionálnej častice *бы*:

1. *написав, -ла, -ло бы ем написав, -ла, -ло бы-м;*
написали бы съем
2. *написав, -ла, -ло бы съь написав, -ла, -ло бы-сь;*
написали бы съте
3. *написав, -ла, -ло бы; написали бы*

Kondicionál préterita je zložený slovesný tvar, ktorý sa tvorí z obidvoch foriem kondicionálu prítomného významového slovesa a rodových tvarov préterita pomocného slovesa *быти* (*быв, была, было, были*):

- a) 1. я бы *быв* (-ла, -ло) *написав* (-ла, -ло);
мы бы были написали
 2. ты бы *быв* (-ла, -ло) *написав* (-ла, -ло);
вы бы были написали
 3. він, она, оно бы *быв* (-ла, -ло) *написав* (-ла, -ло);
они бы были написали
- b) 1. sg. *быв* (-ла, -ло) бы *см написав* (-ла, -ло)
быв (-ла, -ло) бы-м *написав* (-ла, -ло)
 2. sg. *быв* (-ла, -ло) бы *ссь написав* (-ла, -ло)
быв (-ла, -ло) бы-ссь *написав* (-ла, -ло)
 3. sg. *быв* (-ла, -ло) бы *написав* (-ла, -ло)
 1. pl. *были бы ссьме написали*
 2. pl. *были бы ссьте написали*
 3. pl. *были бы написали*

Z porovnanja tvarov kondicionálu v rusínskom a ukrajinskom jazyku vyplýva, že ukrajinčina na rozdiel od rusinčiny pozná iba jeden osobný tvar kondicionálu typu *ходив би, писав би, пишла б*, tvorený zo syntetického tvaru préterita významového slovesa a samostatnej kondicionálnej častice *би* (*б*). To značí, že ukrajinčina nielen že netvorí kondicionál z analytického tvaru préterita (pretože ho nerozlišuje), ale nepoužíva a netvorí ani osobitný tvar kondicionálu minuleho. Ten sa v rusínskom jazyku tvorí podobne ako v západoslovanských jazykoch (a zrejme aj pod ich vplyvom).

Tvary imperatívu. Imperatív ako typická apelová kategória jazyka má aj špecifickú morfeomatickú stavbu. Jeho základná podoba je v nepríznakovom tvare 2. os. sg. Ostatné, príznakové tvary — 2. os. pl. a 1. os. pl. (tzv. inkluzívny plurál) — sa tvoria aglutinačne pripájanými elementami z uvedeného základného tvaru. Tieto aglutinačné osobné morfy sú rovnaké pre všetky slovesné typy: v 2. os. pl. *-ме*, v 1. os. pl. *-ме*.

Základné imperatívne tvary sa tvoria z prítomného kmeňa v 3. os. pl. indikativu prítomného, a to špecifickou imperatívnu morfeomou, ktorá má varianty — *о* a *-и*, takto:

— slovesá s prez. kmeňom na *-j* — tvoria imperatív nulovou morfeomou (*читай, співай, танцюй, знай...*);

— slovesá s prez. kmeňom na párové podľa tvrdosti a mäkkosti spoluhlásky tvoria imperatív nulovou morfeomou s následným

zmäkčením koncovej spoluhlásky (*говорь, ударь, встань, принесь, запаль, сидь...*);

— slovesá s prez. kmeňom na nepárne podľa tvrdosti a mäkkosti spoluhlásky tvoria imperativ nulovou morfémou (*рж, пиш, куп, роб, задав, зли, скоч...*);

— slovesá s tvarotvorným základom na skupinu spoluhlások, ktorá je výslovnostne obtiažna, tvoria imperativ pridaním k základu morfu *-и* (*верни, бяхни, выпни, иди...*).

Slovesá bez tematickeho formantu tvoria imperativ takto: *дай, идж, повидж, будь*.

Tretia osoba sg. a pl. je zložená (*наї сяде — наї сядуть, наї встане наї встануть...*).

Už pri zbežnom porovnaní vidíme, že v ukrajinčine sa využíva morfa *-и* na tvorenie základného tvaru 2. os. sg. oveľa častejšie (porov. *пиши, говори, печи, неси, кричи, ходи...*) aj tam, kde sa v rusinčine tvorí imperativ nulovým morfom (porov. *пиш, говорь, печ, несь, крич, ходь...*). Rozdielny je tiež aglutinačný element pre 1. os. pl. (*-мо*), čiastočne pre 2. os. pl. (*-ить ідіть*) a odlišný je aj element pre zloženú formu 3. os. sg. a pl. (*хай, нехай співає співають*).

Neurčité slovesné tvary

Infinitív. Infinitív čiže neurčitok predstavuje absolútne bezpriznakový slovesný tvar, reprezentujúci preto sloveso ako lexému, sa tvorí zvyčajne príponou *-ти* (*писати, купувати, сидіти, вести...*). Iba nevelká skupina slovies s kmeňom na *-к, -г* je reprezentovaná infinitívnou podobou na *-чі* (*веречи — верг, лячі — ліг, мочи — міг, печи — пік, запрячі — запряг, речи — рік, січі — сік, стричі — стриг, товчі — овк, течі — тик, волочі — волік*).

Od ostatných infinitívnych tvarov sa infinitív odlišuje svojimi gramatickými vlastnosťami: nevyjadruje ani čas, ani spôsob, ani osobu ani číslo; vyjadruje len vid (i ostatné odtienky priebehu slovesného deja) a slovesný rod (genus).

Pri porovnaní tvarov infinitívu v rusinskom a ukrajinškom jazyku vidíme rozdiel v tom, že ukrajinčina nemá neurčitkové formy na *-чі* lebo aj tu dôsledne používa príponu *-ти* (*лягти, могли, пекти, товкти...*).

Prechodníky (transgresíva). V rusinskom jazyku sa používajú dva transgresívne tvary: prechodník prítomný a prechodník minulý.

Prechodník prítomný (jeho funkciu presnejšie vyjadruje termin prechodník pre súčasnosť) sa tvorí od prítomného kmeňa, a to z tej jeho podoby, ktorá je v 3. os. pl. indikativu prítomna. K tomuto kmeňu sa

prípájajú dva súbory sufixálnych formantov (prípon): *-учи (-ючи), -ачі (-ячі)*: *читаючі, малюючі, сидячі, говорячі, ржущі...*

Prechodník minulý (jeho funkciu presnejšie vyjadruje názov prechodník pre predčasnosť) sa tvorí z infinitívneho kmeňa hlavne dokonavých (ale aj nedokonavých) sloviess charakteristickým nekoncovým sufixom *-вши* (a veľmi zriedka *-ши*): *упавши, піднявши, увидівши, принесши...*

Tvary transgresiv patria k jedným z mála spomedzi slovesných tvarov, ktorých tvorenie je po formálnej stránke v ukrajinčine a rusínčine zhodné, porov.: *читаючі читаючи, несучі несучи, читавши читавши, вытерпівши – витерпівши, принесши – принесши...*

Príčastia (participia). V rusínskom jazyku sa používajú činné (aktívne) a trpné (pasívne) tvary pričastia. Činné pričastie sa používa dvojake (prítomné a minulé) a trpné zvyčajne iba jedno (minulé), pretože prítomné sa takmer úplne vytratilo z jazyka. Príčastia vyjadrujú vid, slovesný rod a menné kongruenčné kategórie čísla a rodu. Preto ich zaraďujú k menným slovesným tvarom.

a) Príčastie prítomné činné je neurčitý slovesný tvar, ktorý sa tvorí z prítomného kmeňa nedokonavých osobných sloviess príponami *-уч- (-юч), -ач- (-яч-)* v spojení s rodovými flektívnymi morfeimami adjektív (*читаючий, -а, -е, -і; говорячий, -а, -е, -і...*).

Aktívne participium prítomného je slovesný tvar, preto sa ním vyjadruje dej ako proces, ako dynamický príznak. Keď sa táto významová zložka stráca, vzniká zo slovesného tvaru adjektívum (*будущий, следующий...*).

b) Príčastie minulé činné je neurčitý slovesný tvar, ktorý sa tvorí z infinitívneho kmeňa dokonavých i nedokonavých sloviess príponou *-ви-* (zriedka *-ш-*) v spojení s rodovými flexiami adjektív (*прочитавший, -а, -е, -ы; (на)писавший, -а, -е, -ы; (на)пиский, -а, -е, -ы...*). Táto forma je považovaná za knižnú.

c) Príčastie minulé trpné je neurčitý slovesný tvar, ktorý sa tvorí z infinitívneho kmeňa sloviess dokonavých i nedokonavých príponami *-н-, -ен-, -т-* v spojení s rodovými flexiami adjektív (*прочитанный, -а, -е, -ы; договоренный, -а, -е, -ы; закрытый, -а, -е, -ы...*).

d) Príčastie prítomné trpné je veľmi zriedkavý tvar, ktorý sa zachoval iba v textoch knižno-cirkevného charakteru a z používania v živom jazyku sa vytratil. Tvorí sa z prítomného kmeňa nedokonavých sloviess pomocou prípon *-ем- (-с-), -им-* v spojení s rodovými flexiami adjektív (*видимый, читаемый, любимый, носимый...*).

Z porovnávacieho hľadiska pri tvorení participiálnych tvarov nie sú medzi ukrajinčinou a rusínčinou veľké rozdiely. Pozorujeme ich najmä v tvaroch pričastia minulého činného.

Verbálne substantíva. Slovesné podstatné meno sa tvorí zo základu trpného prídavia formantom *-a(-я)* (*кричания, кликания, браня, выпаня, бытя, сивиня, болия* ...).

Z formálneho hľadiska možno tvoriť verbálne substantíva od všetkých slovies, určité obmedzenia sú motivované iba ich sémantikou.

Pasívne tvary. Väčšina slovies rusinskeho jazyka okrem aktívnych tvarov môže tvoriť aj pasívne tvary. Existujú dvojaké formálne prostriedky vyjadrovania pasíva: opisné (participiálne) pasívne tvary a reflexívne (zvrtné) slovesné tvary, ktorých primárnou funkciou je zovšeobecnenie a anonymizácia dejového agenta.

Opisné (participiálne) pasívum sa tvorí z trpného prídavia významového slovesa a príslušných tvarov pomocného slovesa *быти* (*быти похваленый, см хваленыый, быв см похваленый, буду похваленый, будь похваленый, быв бы-м похваленый, быв бы-м быв похваленый, будучи хваленыый, бывши похваленый*).

Zvrtné (reflexívne) pasívum sa tvorí z aktívnych tvarov príslušného významového slovesa a voľnej morfémy (pôvodne zvrátneho zámena) *ся*. Trpný rod možno zvrtnými tvarmi slovesa vyjadrovat' spravidla len pri vecnom podmete, teda iba v 3. os. obidvoch čísiel, napr.: (*листки*) *ся продавають*, (*окно*) *ся мыс, глядають ся* (*новы формы роботы*) a pod. Po stránke formálnej sú tieto reflexívne tvary úplne totožné s príslušnými aktívnymi tvarmi.

Zo stručného opisu systému verbálnych tvarov rusinskeho jazyka v porovnaní s ukrajinským možno usudzovať, že aj napriek blízkej príbuznosti týchto jazykov, v systéme ich slovesných tvarov sú aj evidentné rozdiely. Mnohé zo slovesných tvarov rusinskeho jazyka svedčia o značnom vplyve západoslovenských jazykov (najmä slovenčiny a jej nárečí) na ich tvorbu a fungovanie.

LITERATÚRA

- Булаховський 1956 — Булаховський Л. А. Питання походження української мови. — Київ, 1956.
- Бериштейн 1973 — Бериштейн С. Б. Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии. — М.: Наука, 1973.
- Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Ред. І. К. Білодід. — Київ: Наукова думка, 1969.
- Ябур, Панько 1994 — Ябур В., Панько Ю. Правила русинського правопису. — Пряшів: Русинська оброда, 1994.
- Magocsi (red.) 1996 — Magocsi P. R. (red.) A New Slavic Language is Born. The Rusyn Literary Language of Slovakia. With an introduction by Nikita I. Tolstoj. — New York, Columbia University Press, 1996.

**О ПОПЫТКЕ КОДИФИКАЦИИ РУСИНСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ЗАКАРПАТЬЕ
(с приложением образцов текста и
факсимиле изданий)**

Идея lingua ruthenica о движениях за русинский литературный язык в Закарпатской Украине, в Восточной Словакии, в Польше, в Венгрии, в США и Канаде — “Материнский язык” (1997) в издании Общества им. А. Духновича — образцы текстов — факсимиле изданий

Идея русинского (resp. карпаторусинского) литературного языка давно “кружит” в пограничных регионах восточного и западного славянства. Речь идет о периферийном, украинском по происхождению, языке этноса, исторически разрывавшемся между разными государствами и проживавшем и проживающем поныне в тесном соседстве с западнославянскими и неславянскими народами. Исстари исповедуя “русскую веру”, это население называло себя *русскими, русинами*: определенная его часть и сегодня продолжает так себя именовать; другая часть идентифицирует себя с украинцами и в культурном плане пользуется украинским литературным языком. Население с традиционным этнонимом *русини, руснаки* проживает, не всегда компактно, в Закарпатской и частью в соседних областях Украины, в Восточной Словакии, в отходящей от Львовской области и идущей вдоль словацкой границы полосе в Польше, в северной части Венгрии; с середины XVIII в. островами оно сохранилось в современной Югославии (Сербии) и в Хорватии; с конца XIX — начала XX вв. часть русин с указанных территорий переселилась за океан, в США и в Канаду. Во всех этих регионах существуют движения за возрождение традиционной культуры и создание литературного языка на местных диалектных базах. Это проявляется в наличии различных обществ и организаций, в налаженной печати, в попытках культивировать такой язык в школе и других сферах жизни. Оставляя на будущее более детальное освещение феномена *lingua ruthenica*, заметим, что единого (кар-

пато)русинского литературного языка сегодня не существует. создающиеся в указанных странах нормативные грамматики базируются на разном диалектном материале. Различия в этом материале не столь разительные, но проблему синтеза проведенных кодификаций осложняет то, что они реализуются в разных странах и в различных социально-политических и культурных условиях. Тем не менее деятели русинских движений ставят задачу их объединения в будущем (исключая югославо-русинский, который давно кодифицирован и имеет стабильные нормы).

Обратимся к самой последней по времени кодификации, появившейся в Закарпатье в 1997 г. Заметим, что движение за русинское возрождение здесь не столь результативно в сравнении, например, с таковым в Восточной Словакии, где вышли правила русинского правописания, орфографический словарь (Правила 1994; Орфографічний словник 1994), учебники для школы и т.д. Тем не менее уже функционирует Общество подкарпатских русин в Ужгороде, Общество имени Александра Духновича в Мукачево, ряд других, нередко конкурирующих друг с другом, обществ. Издается периодика — либо полностью покарпаторусински, либо смешанно, т.е. с текстами на карпаторусинском, литературном украинском и русском языках. Одной из первых была газета “Подкарпатська Русь” со сменявшимися подзаголовками *Народна двотыжньова новинка Общества подкарпатських русинув* — *Новинка Подкарпатських Русинів* — *Новинка для народу області*. Одно время выходили “Карпаторусский вестник” (Независимая областная газета), “Отчий храм” (Выдана Ужгородської горрайорганізації Товаришества Карпатських Русинів). В Ужгороде печатается, частью покарпаторусински, “Християнська родина” (Орган Закарпатського Православного Товаришества ім. Кирила і Мефодія). С 1997 г. в Ужгороде выходит “Русинська бісида” (Народна новинка) под девизом “За братство истинных русинів”.

Работа над составлением нормативной (или практической) грамматики ведется с начала 90-х гг. усилиями членов Общества им. А. Духновича. В 1992 г. ее черновой вариант, написанный Игорем Керча и Василием Сочка-Боржавиным, размножен приблизительно в 10–15 принтированных копиях (сообщение И. Керча в письме от 27.12.1997): Русинський язык. Очерк комплексної практичної граматики (около 200 страниц). В 1995 г. появляется еще один черновой вариант (без обозначения составителей) в несовершенной печати: Материнський язык. Писемниця про пудкарпатських Русину. — Мукачово: Водало общество

имени Александра Духновича, 1995. — 71 с. Наконец, этот вариант грамматики под тем же названием и полиграфически в форме книги появляется в 1997 г., вероятно, также в небольшом количестве экземпляров (Материнский язык 1997).

Материнський язык

*писемниця
діла пудкарпатських Русинув*

Удало общество имени Александра Духновича

Мукачово

1997

На обороте внутреннего титульного листа написано. Сеся грамати́ка розроблена языкознательсков секцієв общества имени А. Духновича в составі М. Алмаши́й, І. Керча, В. Молнар. С. Попович перебігом 1994–1997 рр. Основну часть работы уповнили І. Керча и С. Попович.

Грамматика состоит из пяти частей: “Фонетика”, “Графика”, “Морфологія”, “Правопис”, “Сінтакс”. Фактически в ней не дается единых, обязательных для будущих потребителей. норм. а отражаются особенности говоров Марамороша, Ужгорода, Мукачева и Верховины (один и тот же текст на указанных говорах приведен на с. 69). Как сказано на с. 69. “Лем практичне розвивання літературної, публіцистичної, просвітно-школьної і інших сфер хоснованя языка сформує ёго устояный образ”.

Алфавит состоит из 36 букв (особенности звучания транскрибированы):

Аа	Ђђ [dž*]	Іі [i]	Лл	Сс	Цц	Јја [ja]
Бб	Ее [e]	Їі [ji]	Мм	Тт	Чч	Ђђ
Вв	Єе [jo]	Ии [y]	Нн	Уу	Шш	
Гг [h]	Єе [je]	Ыы [y]	Оо	Ўў [ü]	Щщ	
Гг [g]	Жж	Йй	Пп	Фф	Юю [ju]	
Дд	Зз	Кк	Рр	Хх	Ўў [üv]	

О гласных буквах: *ѐ, є, ї, ю, ја* обозначают также мягкость предыдущего согласного: *ы* — несколько ниже соответствующего русского; *ї* фактически дифтонгического характера (знак взят из венгерского). О согласных: *ѝ* — фрикативный звонкий украинский, *ђ* — взят из сербского для обозначения мягкой аффрикаты.

В морфологической части достаточно подробно изложено склонение существительных, строящееся на основе грамматического рода; представлен полный инвентарь местоимений и даны образцы их склонения; в склонении прилагательных выделяются мягкий и твердый типы, а также притяжательный; подробно даются сведения и о грамматических свойствах числительного. Что касается глагола, то полнее всего здесь разработано спряжение в настоящем времени с особым вниманием к так наз. неправильным формам. О других формах времени и повелительном и сослагательном наклонениях лишь вскользь упомянуто. Правда, составители о них не забыли, а поместили в таблицы парадигм в приложение № 1 (с. 61–62). Здесь показано спряжение вспомогательного глагола *быти* (образец глагола несовершен-

ного вида) и знаменательного *удбыти* (образец глагола совершенного вида) в прошедшем (*быв им, была-м, было-м; удбыв им, удбыла-м...*), настоящем (1. *им, 2. ись, 3. с; 1. исьме, 2. исьте, 3. сут*) и будущем (*буду, будеш...; удбуду, удбудеш...*) временах изъявительного наклонения. Далее следуют повелительное наклонение (*будь и най буду...*) и сослагательное в трех формах времени — прошедшем (*быв бых быв..., удбыв бых быв...*), настоящем (*быв бых..., удбыв бых...*) и будущем (*най бых быв..., най бых удбыв...*). Несомненно, в следующем издании должна быть сделана переквалификация временных форм сослагательного наклонения (*быв бых быв* больше напоминает давнопрошедшее время и т.д.) и более подробное представление вариантов форм прошедшего времени изъявительного наклонения (параллельно с *быв им* возможно я *быв* и под).

Наречие и служебные части речи описаны последовательнее. Синтаксическая часть представлена рассмотрением особенностей членов предложения, двух типов предложения — простого и сложного, прямой и косвенной речи. Что касается правописания, то здесь провозглашается морфемно-фонемный принцип, осложняющий некоторые чертами фонетического написания. Примечательно, что составители грамматики много поработали над созданием лингвистической терминологии: в приложении № 2 (с. 63–66) подается русинско-украинско-русский “Термінологійний словничок”, начинающийся, правда, почему-то с синтаксических терминов. Здесь есть еще немало проблем. Так, в тексте грамматики названия падежей представлены двояко — как *именительный змінник* и как *именительник, родительный змінник* и *родительник* и под. Однако в приложение на с. 65 вторые варианты не попали.

Если русинскому культурно-языковому движению в Закарпатье суждено развиваться и далее, то представленная нами здесь нормативная грамматика может сослужить хорошую службу в установлении более или менее единых норм молодого литературного языка. Несомненно, одной из важнейших задач станет преодоление фонетической и морфологической многовариантности, а это возможно лишь при систематическом культивировании письменного слова по крайней мере в печати и в литературе. Ниже приводим несколько образцов текстов из рассмотренной нами грамматики и из газеты.

ЛИТЕРАТУРА

- Материнський язык 1997 — Материнський язык. Писемниця діла пудкарнатських Русинув. — Мукачово: Удало общество имени Александра Духновича, 1997. — (2) + 72 с.
- Правила 1994 — [Ябур В., Панько Ю.] Правила русиньского правопису. — Пряшів: Русиньска оброда, 1994. — 133 с.
- Орфографічний словник 1994 — Орфографічний словник русиньского языка. Приблизно 42000 слов. — Пряшів: Русиньска оброда, 1994. — 303 с.

Образцы текстов

а) Из “Материньского языка” (с. 5):

Устна форма ествованя языка є первичнов, основнов, а писана форма — вторичнов, удведеннов. Зато при рассмотрёваню характеристик языка мусиме зачати из ёго звукового состава, а пак до него приспособити графичну систему языка.

Слова нашої бисіды состоят из звукув. Звуки ся творят речовым апаратом: гортанков, губами, зубами, яснами, языком и небком — коли через них проходит удыхованный легкыма (плюцями) воздух. Звуки ділиме на самозвуки (гласні) и созвуки (согласні). Самозвуки сут такі, што звучат ясно, не содержат у собі нияких шумув. Они творят ся з великым и слобуднійшым проходом воздуха и годны звучати силно, голосно. Зато они творят склады слов. Созвуки уговорюеме слабше, з меншым проходом воздуха, наприклад не можеме їх загойкати, зато они звучат добрі лем ведно з самозвуками у составі склада. Звуки на письмі позначаеме буквами...

б) Из газ. “Русиньска бисіда” (рочник 1, 1997, число 1, септембер, с. 1):

Милі читалники “Русиньської бисіды”!

У первых рятках первого номера нашої с Вами новинкы кланяюся Вам: “Слава Иисусу Христу!”, а уд Вас чикаву: “Слава й навікы Богу сятому!” А кой исьмеся еден другому поклонили, и с бисіды порозуміли, ош мы с Вами русины, та й побисідујме собі мало за наші иннишны діла. Виликий Бог дав нас на сись світ русинами. Виликий Бог дав нам нашу золоту бисіду, нашу сятую зимлю, наш вічний способ мышленія газдиського філософ-

Подкарпатські русини,
Остаєте глибокій сон!

Александр ДУХОВИЧ

За братство истинних русинов

Русинська бисіда

Народна новинка

Рочник 1
Число 1
септембер 1997

ЦИТАТА НОМЕРА: "Дай, боже, обы и у нас найшли и понагодилися писати, котрі учинят нам литературу и настане литературный язык, коли граматикознавцы ци свазатися будут".

**ЕДЕН СОКЫРНИЦЬКЫЙ СИРОХМАН,
аваць РУСИНСЬКЫЙ АКАДЕМИК
АНТОНИЙ ГОДИНКА.**

РУСИНСЬКИЙ ИНТЕРЬЕР В УКРАЇНСЬКОМУ ЕКСТЕРЬЕРИ

Милі читальники "Русинської бисиди"!

У першій редакції першого номера нашої с Вами новинки клянуся Вам: "Слава Йісусу Христу!", а уд Вас чикаву: "Слава Йі навки Богу сегому!"

А кой немєся еден другому поклонили, и с бисиди порозуміли, ош мы с Вами русини, та и побисидіємо собі мало за наші виницины дїта.

Вишкый Бог дав нас на снє свєт русинами. Вишкый Бог дав нам напу тодоту бисиду, нащу сєту змидю, наш вічний спосіб мышлєннєя гєдєського о филолофского, поєтичєського. Йє дары Божє служать нам ужє тисяч годов. Тко бы мав право змєти их уд нас? Никто!

Судьбу вишкый Бог даровав русинам **вишкєтє!**

Аймо койрий народ мав судьбу легку?

И тому вишкый наш бідє ни приписуєме комуєс тєм нікому, ай добри на себе поникаєме. И запамятаєме: наша судьба, наше шєстьє не в прирєчьєно й обыває судє, ай з рєшєнєю ошцє своего состояния, возможности и перспективы работы.

Видання на Львівській вулиці... (немає повного тексту)

Аймо што нам до урагів чужинських, кой майимє доста и своїых.

И тужка физическє зримо стойть перєт очина страшноє слово: ЕТНОБІЗНЕС. Хопв быч кровноєл написати снєє слово: ЕТНОБІЗНЕС. Ба в котрому кругови дантового ада мавуть быти тоты, тко у снєє по-страшному кєдовскый час чєнитє собі копїку на нацїоналнєв ідеїи? На русинскєв нацїоналнєв ідеїи.

Тоты говіри, котрых нам пролокативно путєсудили на руководячє позици в русинскєв организациї, ни упустили за снєє снє годєя ани снєво кнєшкє по-русинскєм. А тым, тко хопв тогє робити, як лєм моглє, мшшали. Дисє койсьє упущали якуєс нєвинку, айбо из-за своє малєпроамтностє писати до ни лєм по-українскєм, вать по-русскєм.

И вишкє снєє в диннєвнєв амосфєри, кой офшєвнєв новинкє Крає, а с нєвнєв радїє й тєлєвїтор кнє дисє и упоминуть слово "русин", та лєм обє ся з нєго поємяти

Тко видєтє?! Шго робити?!
Виннєх ни гєдєйїме. Кой бнє чнєгє за вєдєлєм, думай и за сєбє.

Шго робити?! И далє нри май снєно любити русинскє бисиду, нащу русинскє змидю, наш русинскєв народ!

Файнє кєшїє рєждає лєм любов
Вишкє знавїєме, ош Совєцкый Союз изгнєрив єє своє свїєє не тому, бо так хотєли дисидєнтє. Нєйт, Бог унїчєжив нєсправдлївностє.

Алє мє завїдєв єтнєго джєє вишкєго "україннєцї" єє русинєв: "Шє явлєннє за єту страшноє нєсправдє, котра покєдєна в фундємєнт Україннєцї". А внїє кляжє: "Вишкє вїднїє гєсударствє матлє у своєму фундємєнтє брїчєно".

Шго му бєдє нє вєєє кєтєнїє?!
Я — русин.

Я любєю мєє русинскєв нєпєд.



Александр ДУХОВИЧ

ВРУЧАНІЄ

Я Русин был, єсьм и буду,
Я родился Русинѡм,
Честный мой род не забуду,
Останусь его сыном;
Русин был мой отец, мати,
Русская всє родина,
Русины сестры и братья
И широка дружина;
Вєлєкый мой род, и славыи,
Мїру єсть совєремєннєй,
Духѡм и силѡю славыи,
Вєм народѡм прїємыи.
Я сєтє узрїє под Бєсєкїдѡм,
Первыи воздѡх русєскїє сєлє.
И кормїєся рускїим хлїбѡм,
Русин мєнє колєсєлє.
Коль первыи раз отворїл рот,
Русскѡє слово прорєк,

**ВИЧСКИЙ И ГАЛ(Ь)ШАНСКИЙ:
ДВА НОВЫХ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ
МИКРОЯЗЫКА В ЛИТВЕ?
(С образцами текстов)**

Славянские литературные языки — литературные микроязыки — движение за так наз. вичский (на польской диалектной основе) и так наз. гал(ь)шанский (на белорусской диалектной основе) литературные языки в Литве в 90-е гг. XX в. — образцы текстов на вичском и гал(ь)шанском

В 20–30-е гг. XX столетия во многих славянских (и не только славянских) странах наблюдался подъем культурно-языкового регионализма, выразившийся в обостренном внимании к местным традициям культуры и к местным наречиям, которые оказались в забвении из-за экспансии культуры центра и общелитературного, законодательно утверждаемого также в центре, языка. Как результат этого, на местных наречиях интенсивно развивалось литературно-художественное творчество и печать. В конце XX столетия мы, кажется, являемся свидетелями новой волны культурно-языкового регионализма, приведшего к поискам локальных литературных языков или к их возрождению, например, в Восточной Словакии (так наз. восточнословацкий, карпаторусинский), в Закарпатской Украине (карпаторусинский), в Польше (кашубский, лемковско-русинский), в Венгрии (русинский), в Силезии (ляшский), в Моравии (так наз. моравский) и др.

В начале 90-х гг. XX столетия, в период развала Советского Союза, в Литве, как и в ряде других союзных республик, проходили бурные социально-политические процессы, в которые вовлекались и вопросы национальной культуры, языка и т. д. Польское этническое меньшинство еще в советское время культивировало свое образование и культуру на родном языке, и эта практика сохранилась и поныне. Однако теперь в польско-славяноязычной среде Литвы возникают течения, делающие акцент на местных разновидностях речи, которые мыслятся как средства культурного

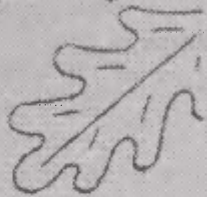
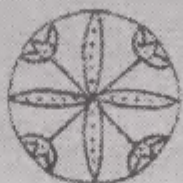
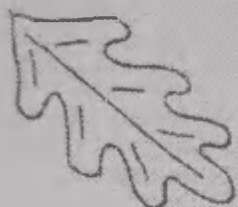
развития. Кратко мы уже сообщали об этих экспериментах в 1994 (см. Дуличенко 1994, 83–84; Duličenko 1994, 566). Особенно активной в этом плане оказалась деятельность славян(ск)язычных литовцев (председатель Эдвард Болеславович Саткявичюс, кандидат технических наук, из Каунаса) — *Tuvažystvo slaviansku janzyčnych litvinuv*, в которое, вероятно, входит и Товарищество литовских вичей — *Tuvažystvo vičuv litevskich*. Товарищество ратует за создание собственных литературных языков: одного на местном наречии польского происхождения, другого — на местном белорусском наречии. Первый назван вичским — *vičski janzyk*, второй — гал(ь)шанским (*halšanski jazyk*). На местной литовской диалектной базе пропагандируется также так наз. дзукский язык. Пропагандисты этих “языков” используют латиницу славянского типа: для вичского характерна словацкая латиница (*č, š, ž*, обозначение мягкости с помощью апострофа *l', i', m'* и т.д.: а также *é* как в литовском), для гал(ь)шанского в основном словацко-польская (*č, š, ž*, но *l*, мягкость согласных с помощью апострофа *pros'ha*, то — как в польском с помощью *i* — *vialikaj*); в последнем используется также белорус. *ŭ* — в виде *ŭ*, литов. *ė*. Однако эти особенности на практике используются непоследовательно. В целом следует сказать, что перспективы этих экспериментов пока неясны. Но очевидной остается любовь к родному наречию, воспетая в таком стихе-лозунге:

Naš janzyčak ten-tutejšy,
 Našym ušum najmilejši.
 Tym janzykim my gadami,
 Naša Litva my kuchami.

(“Fschodnia Litva”, 1990, № 2, s. 5).

Товарищество издает ротاپринтным способом бюллетени (“газеты”) “*Naš upiakuniac*” и “*Fschodnia Litva*”. Благодаря председателю Товарищества Э. Б. Саткявичюсу, мы имеем несколько экземпляров этих уникальных изданий. “*Naš upiakuniac*” имеет подзаголовок: *Usubny pervšy vypusk na vičskim janzyku Tuvažystva vičuv Litevskich pši Litevskim zvionzku vzaimnyj pomocy*. “*Fschodnia Litva*” обозначена как *Gazeta ružnu gavendnych litvinuv. Vydania na vičski gavendzia (slaviansku janzyčnych litvinuv)*. В первом номере “*Fschodniej Litvy*” указано, что он отпечатан в 5000 экземплярах. Редактор обоих бюллетеней Э. Б. Саткявичюс.

Lietuvos savitarpio pagalbos sąjunga
 Litevski zviņzāk vāimņij pūmocy



Maš upiakunias

(Mosu rapintajelis)

Usubņņ pērvisj vjpusk na vičskim janzyk.
 Tuvažystva vičuv Litevskich pši Litev
 skim zviņzāku vāimņij pūmocy

1989

Nr 8

Поскольку речь идет об уникальных явлениях и изданиях, предлагаем здесь образцы текстов на вичском и гал(ь)шанском. В них содержатся: разъяснение позиции инициаторов движения, их требования, информация о местоположении и численности представителей вичского и гал(ь)шанского, вичский алфавит и прочее.

ЛИТЕРАТУРА

- Дуличенко 1994 — Дуличенко А. Д. Феномен литературных микроязыков в современном славянском языковом мире. — Bibliotheca Slavica Savariensis. II. Szombathely, Szeged, 1994.
- Duličenko 1994 — Duličenko A. D. Kleinschriftsprachen in der slawischen Sprachenwelt. — Zeitschrift für Slawistik, Bd. 39, Berlin, 1994, H. 4.

Образцы текстов*

I. На вичском1. *Ud redakciji*

Vičska redakcja gazety “Mūsų rūpintojelis” (Naš upiakuniac), hči, ža tyl’ku s’viadomus’c’ spal’negu puchudzenia vičuv Litevskich, tožsamos’ci vičskiegu janzyka na ziemiach byvšegu Vial’kiegu ksien’stva Litavskiegu i spal’na celi udbudovy zjednučonyj Litvy puvinni byc’ pudstavovym kamienim ubiespiečiema našyj pšišlos’ci i schruniema našegu vičskiegu janzyka.

Redakcja nadziejisia, ža periodyčna vydavanja “Našegu upiakunca” na našym vičskim janzyku pšimusi fanatykuv litavskiegu i pul’skiegu literaturnych janzykuv pšiznac’ naš janzyk za usubisty janzyk i v pšišlos’ci jegu nia ignurovac’.

Naša redakcja dziankuji redakciji tygudnika “Gimtasis kraštas”, chtura v koncu liutegu 1989 roku v svojim tygudniku osmialilasia upublikovac’ naša zajavienia na oficial’nia niapšiznanym vičskim janzyku. Pudpraviony i niaznačnia pšamianiony tekst tegu zajavienia “Du redakcij, panstvovych i spulečnych organizacij” publikuim v tym numeža.

Litevski literaturny janzyk brom kulu tšech milionuv litvinuv v Litvia i kulu miliona litvinuv za granicu, pol’ski literaturny janzyk broniu vyžai tšydziestu milionuv puliakuv v Pol’sca i kulu dziasienciu milionuv puliakuv za granicu. Litevski i pol’ski janzyki broniu panstvova zakony. Vičski janzyk nia broniu ni zakony, ni panstva, ni školy, a ludnosci, chtura ruzmavia na vičskim janzyku niema i pul miliona. Vičski janzyk moži schronic’ tyl’ku jednus’c’ všistkich vičuv na ziemiach bylegu Vial’kiegu ksien’stva Litavskiegu, naučania vičuv

* Обращаем внимание на то, что в помещаемых текстах на вичском и гал(ь)шанском мы сохраняли абсолютно все особенности орфографии и фонетического и морфологического оформления слов.

v vičskih školach i mocna jazykovo-kul'turalna tuvažystva vičuv Litevskich.

Naš upiakuniac, 1989, № 8 (как виЧСкий номер — № 1!), s. 2.

2. *Du redakcij, panstvovych i společnych organizacij*

My, viči litevska, u chturych puchudzenia z drobnyj šliachty Litevskij i chtuži pud naciskim Pul'skiegu krulevstva i pul'skiegu jazyka sfurmuvali svoj usubisty jazyk — vičski jazyk, prosim zvrucic' uvagu na mžai napisana:

— my jastemi litvinami i prosim nas niazaličac' du drugih narudvos'ci,

— naš vičski jazyk — usubisty jazyk; on ma naleži ni du litavskiegu, ni du pul'skiegu, ni du bialoruskiegu, ni du slovackiegu, choc' ma dužu spal'negu z vyžai vymienionymi jazykami,

— my sami možym organizovac' svoja jazykovo-kul'tural'na tuvažystva i prosim drugia tuvažystva nas ma zastampyvac',

— my ličim, že vičskia tuvažystva mogu najvěncyj zrobit' dlia schruniema i ubugacema vičskiegu jazyka,

— my putšabujm našych dzieci učic' na vičskim i litevskim jazykach, tak žeby oni mogli létku učicia v Litevskich vysšych litevskich školach,

— putšabujim v vysšych školach 15 % mějsc vydzieliac' vičum Litevskim, tak jak ud 15 % du 25 % liudnosci Litvy — to vičy Litevska,

— putšabujim v Vilėnskim Pedagogičnym instytucia utkryc' katedra vičskiegu jazyka,

— pši pšapisach liudnosci, prosim vičuv Litevskich siebia zapisyvac' vičami Litavskimi aГ'bo prostu litvinami,

— prosim Vičuv Litevskich tvožic' miajscova tuvažystva jazykovo-kul'tural'na pši Litevskim Zvionzku Vzaimnyj Pumocy.

Naš upiakuniac, 1989, № 8 (как виЧСкий номер — № 1!), s. 3.

3. *Viči litevska*

<...> V litevskim jazyku slova “vytis” znači soldat-kavalerist, a slova “vyčiai” znači dužu kavaleristuv. Slovu “vyčiai” z časym začeli nazyvac nia tyl'ku vojakov alia i ich čaliadzi. V časach furmuvania familijuv (pu pol'sku “nazvisk”) niazadlugu pu kščeniu Litvy, drobna šliachta Litevska za svoja nazviska zustavila ustatma puganskia imia prostu du jich duklada — junc slova naležnos'ci du vojska Vial'kiegu Ksiencia; t.j., slova “vyčius”. Napšiklad, du puganski litavski imi Mické dukladajunc slova “vyčius”, rubili familija “Mickévičius”, chtura pšapruvadzajunc na pol'ski jazyk skrucali, du formy pšyjenty v pol'skim jazyku i pisali “Mickievicz”.

<...> V časach furmuvania familijuv du Vial'kiegu Ksiencia Litavskiegu naliažala kulu 20–25% ziemi Aukštaitiji, to jest ziemi taraznejšy vschodni Litvy i Zachodni Bialorusi. Na všitkich tych ziemiach žyji kulu 17% vičuv, tu jest jak tyl'ku tylia ilia puvidnia byla zostacia pu masovych vyjazdach du Pol'ski i masovym zasialemu ruskimi pu Drugi Sviatovy vojnia. V Pol'sca vičuv žyji tyl'ku kulu 2%, a v Varšavia kulu 6%, tu jest jak raz tylia iha pšajachala z ziemi Vial'kiegu Ksien'stva Litavskiegu du ziemi Pul'skiegu Krulěstva.

Pu pšijenciu katulicki viary, du Litvy pšislali čenc' ksiendzuv i mvichuv z Slovakiji. Slovacki jenzyk svoju vymovu i strukturu byl viency pudobny du dzukskiegu janzyka, a dlitegu Litevska drobna šliachta dužu co pšajela z slovackiegu i bialoruskiegu janzykuv a nia z pul'skiegu janzyka. Tak povstal vičski jenzyk, chtury z piaršego vzglendu najbardzu pudobny du pul'skiegu janzyka, alia ma dužu pudubien'stva du litavskiegu, slovackiegu i rusinskiegu (bialoruskiegu) janzykuv.

Z za pudubien'stva vičskiegu janzyka z pol'skim iz za spal'ny katulicki viary, vmiejcsa vičskojanzycni ci pol'sku janzycni litvini, vičuv litevskich v skrucia prostu nazyvali puliakami. Tyl'ku pu okupaci Vilianskiegu kraju pšas armija Želigovskiego, fanatyčnia nastrojona v pol'skim duchu člonki pol'ski partii ND (narudovej demokratiji) začeli putsabovac' utužsamiac' pujencia vičsku janzycnych litvinuv z puliakami. Viči litevska pšas vieki siebia ličili litvinami i bendu ličic' siebia takimi niazalěžnia ud zajavieniuv litevsko janzycnych fanatykuv, chtura na každym kroku starajunsia nas nazyvac' puliakami.

<...> Teraz pu masovych vyjazdach vičuv litevskich du Pol'ski, v Pol'sca žyji vyžy pul miliona vičuv litevskich. Vienkšusc' jich v Pol'sca pšešli na pol'ski jenzyk.

V taraznejšych časach čenc' vičuv v Fschodni Litvia i Zachodni Bialorusi gadaju na al'senski gavendzia (prosty jazyk). Niaviel'ka čenc' vičuv gadaju na bialoruski i ruski gavendach.

Satkėvič. Fschodnia Litva, 1990, № 1, 6 liutegu, s. 2.

4. *Dialekty vičski gavendy*

Vičska gavenda ruspuščaniona v Fschodni Litvia v tipičny Aukštajtiji, i v puludmovu-fschodni čencsi Aukštajtiji, chtura nazyvasia Dzukija. Du davny Dzukiji fchudzili nia tyl'ku Alitus, Varena, Gervėčiai, alia i Vil'na, Vievis, Trakai, Lentvaris, Maišiagola.

V zaliažnosci ut miajscovych baltskich dialėktuv, zrubilisia miajscova dialėkty vičski gavendy. Nižaj piačantujim <...> upuviadame na Trocko-Lentvarovskim dialėkcia vičski gavendy: Serca jest nėviel'ki organ, ne vienkša jak kulak, a praca jej bardzo

viel`ka. Jest putščitana, co serca za dvardziescica čtery gudziny robi 19000 kilogrammetruv pracy. Ta praca jest ruvna pudmonec` 1 kilogram na 19 kilometruv v viešč. Jesli moc serca možnu bylaby upočebic` liazunc na guža, to človiak tyl`ko s pomocu serca pudmiol-siuby na guža na 271 metar za dzien`.

Fschodnia Litva, 1990, № 2, 10 grudnia, s. 2.

5. Alfabet vičského jazyka

Pu pšijenciu katulickij viary v Litvia, vladza uporma pruvadzila spol`ščeme drobnyj šliachty Litevskij. Litevska šliachta niauchtoria učila pol'ski jenzyk i co tyl`ku možna schruniala litavskiegou, a takža brala všistku co možna bylo vzionsc` z slovackiegou, bialoruskiegou i ruskiegou janzykuv. Viči litevska — drobna šliachta Litevska učilisia pul'skiegu janzyka v dužžalym vieku, kiedy čluvieku cienšku pšamienic` vymova. Pu tej pšičinia vienkuš`c` dzvenkuv vičského janzyka i im idpuviadajonca litery takia sama jak i litavskiegou janzyka.

№	vičski	litevski	ruski	pol'ski	№	vičski	litevski	ruski	pol'ski
1.	A, a	A, a	A, a	A, a	16.	M, m	M, m	М, м	М, м
2.	B, b	B, b	Б, б	B, b	17.	N, n	N, n	Н, н	N, n
3.	C, c	C, c	Ц, ц	C, c	18.	O, o	O, o	О, о	O, o
4.	Č, č	Č, č	Ч, ч	Cz, cz	19.	P, p	P, p	П, п	P, p
5.	D, d	D, d	Д, д	D, d	20.	R, r	R, r	Р, р	R, r
6.	E, e		Э, э	E, e	21.	S, s	S, s	С, с	S, s
7.	É, é	E, é			22.	Š, š	Š, š	Ш, ш	Sz
8.	F, f	F, f	Ф, ф	F, f	23.	T, t	T, t	Т, т	T, t
9.	G, g	G, g	Г, г	G, g	24.	U, u	U, u	У, у	U, u
10.	H, h	H, h		H, h	25.	V, v	V, v	В, в	V, v
11.	I, i	I, i	И, и	I, i	26.	Z, z	Z, z	З, з	Z, z
12.	J, j	J, j	Й, й	J, j	27.	Ž, ž	Ž, ž	Ж, ж	Ž, Rz
13.	Y, y		Ы, ы	Y, y	28.	Ch	Ch	Х, х	Ch
14.	K, k	K, k	К, к	K, k	29.	'[mėnt- ki znak]		Ь, ь	
15.	L, l	L, l	Л, л	L, l					

Dzvenkuv pul'skiegu janzyka *ś, ć, ę, q, rz* — v vičskim janzyku niema. Litery vičského janzyka *l', m', n', c', s'* značu te sama dzvenki jak i litery ruskiegou janzyka *ль, мь, нь, ць, сь*.

Naš upiakuniac, 1989, № 8 (как вицкий номер — № 1!), s. 6.

II На гал(ь)шанском

1. *Da usich halšanska, litouška, dzukska, vičska i polska jazyčnych dzukaiŕ, usich ludžej Uschodněj Litvy*

Spulka slaviansko jazyčnych litvinoŭ (vičoŭ Litouškich) abraščaiica

da usich liudzěj Uschodněj Litvy — patomkaŭ dzukaŭ s vialikaj pos`baj, katoruju prosim vysluchac`.

V Uschadněj Litvě, na ziamli dzukaŭ, na ziamli byloha Halšanskaha kmažestva žyvuc` patomki litvinoŭ-halšancaŭ — dzuki, katorye havorac` na slavianskim halšanskim (prostym) jazyku, daŭnějšym litoŭskim dzukskim jazyku i slavianskaj vičskaj gavendzia (jazyku palščonych Litoŭskich bajar). Trocha dzukaŭ havoric` na polskim, ruskim jazykach i bilaruskaj movia.

Daŭnějšy litoŭski dzukski jazyk i maladyje slavianski halšanski i vičski jazyki vialikaj historičaj, etničnaj i jazykovaj cennasci. Hetyja jazyki jest bahactva dla litvinoŭ i slavaŭ. Hetyja jazyki ni chatnija jazyki.

Hetyja našija rodnyja jazyki dzukaŭ ciapër choćac` unićožyc` fanatyki Polskaho, Litoŭskaho i Bilaruskaho dziaržaŭnych jazykoŭ. Jany ni učac` našych dziacěj na našych rodnych jazykach.

Darahija ludzi! Nam treba školy na našych rodnych jazykach. Nam patrebnyja dziaržaŭnyja školy, u katorych u staršych klasach kala palaviny naučannia šlo na Litoŭskim dziaržaŭnym jazyku i našyje dzietki mahli pastupac` na use spicijalnasci Litoŭskich universitetaŭ.

Darahije ludzi Uschodněj Litvy! Prosim Vas prihućica da spulki slavianska jazyčnych litvinoŭ i arhanizovanna baranic` našyja rodnyja jazyki.

Из пропагандистской листовки Туважыства slaviansku jazyčnych litvinuv or 5. IV. 1991, s. 3.

2. *Da usich halšancaŭ, litoŭska i razno jazyčnych litvinaŭ, usich liudzěj Uschodněj Litvy*

Spulka slaviansko jazyčnych litvinaŭ i spulka vičoŭ litoŭskich abraščaisia da liudzěj uschodněj Litvy z vėlikaj pros`baj, katoraju prosim vysluchac`.

Halšancy, patomki rasoŭ-halšancoŭ (baltou-halšancoŭ), katorye žyvuc` na Litoŭskaj ziamli, na ziamli byloho Halšanskaho Kniažestva, havorac` na svaim jazyku, majec` prava baranic` svoj rodny jazyk. Jany majec` prava ni tolko havaric` na svaim rodnym jazyku, ale i pisac`.

Halšanski jazyk — asabisty jazyk, choc` jon maja podobenstva z bilaruskim, dzukskim, vičskim, trocha sloŭ moža polskich. Halšanski jazyk pa fonetike i hramatyke padobny jazyku pradziedoŭ halšancoŭ — dzukskamu jazyku. Hety jazyk jest bahactva dla baltoŭ i slavoŭ. Liudzi usej Litvy i Bilarusi pavinny baranic` hety jazyk. Halšanski jazyk nie chatni jazyk; hety jazyk literaturny jazyk vekovaj tradiciji i trėba kap halšancy havarili i pisali na hetym jazyku.

Prosim usich liudžej, katorye choćac' baramc' hašanski jazyk, prilućicca da spulki hašancoŭ či da spulki slaviansko jazyčnych litvinaŭ. Zvamc' telefonomi i pisac' v redakciju hazety "Fschodnia Litva".
Fschodnia Litva, 1990, № 2, 10 grudnia, s. 4.

3. *Darahija ludzi Uschodněj Litvy!*

Da 1989 hoda vičska gavenda abjaŭlašasia polskim jazykom a hašanski (prosty jazyk) bilaruskaj movaj.

Pičatac' knižki na hašanskim jazyku lacinskimi literami stalinisty zabaraniali. Ciapër mnohija ludzi ni znajac' ab hetych knižkach. Privodzim adnu takuju knižku sa spiskam knižak. Aŭtar knižki V. Lastoŭski byŭ mužam litoŭskaj pisateľnicy Lazdinu Pelėdy (Lazdynŭ Pelėda-Lastauskienė). V. Lastoŭski byŭ zamučan stalinistami v 1938 hadu <...>

Из пропагандистской листовки Туважыства slaviansku jazyčnych litvinuv ot 5. IV. 1991, s. 4.

А. Д. Д.

III. ЯЗЫКИ БОЛЬШИЕ...

Бранко Тошовић
Москва/Graz

РУССКО-СЕРБОХОРВАТСКО-НЕМЕЦКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ В КАТЕГОРИИ РОДА*

Сопоставительное языкознание — категория рода в русском, сербохорватском и немецком языках — род и терминология родства — общий род — двойной род — смыслоразличительная функция окончаний

Род как лексико-грамматическая категория отражается на трех языковых уровнях: семантическом, морфологическом и синтаксическом. Семантический план связан с лексическим значением, с полом, категорией одушевленности — неодушевленности, а также личности — неличности. Морфологический план относится к морфологическим средствам, при помощи которых выражается эта категория (речь идет о соотношении между родом и морфологической структурой слова, т.е. его аффиксами). Синтаксический план касается координации слов, обладающих категорией рода.

Семантическая основа категории рода является одним из важнейших вопросов в корреляционной сфере, состоящей из трех языков, — русского, сербохорватского и немецкого. Проведенный нами анализ подтверждает мнение В. В. Виноградова о том, что у подавляющего большинства имен существительных, которые не обозначают лиц и животных, форма рода является не мотивированной (Виноградов 1972, 56).¹ Форма рода, считает В. В. Виноградов, является пережитком давних эпох, остатком иного языкового строя, когда в делении имен на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация

* Статья представляет собою многоаспектное сопоставление категории рода существительных в русском, сербохорватском и немецком языках. Ввиду большого ее объема, в настоящем сборнике печатается первая часть. — Примечание редактора.

вещей, лиц и явлений действительности. “Теперь же форма рода у большей части существительных относится к области языковой техники” (Виноградов 1972, 56). К всем трем языкам можно отнести высказывание В. В. Виноградова о том, что на основе современного языка и современного мышления нельзя непосредственно уяснить, почему слова *потолок*, *сыр*, *город*, *год* и т.п. — мужского рода; *стена*, *весна*, *плесень*, — женского рода, а *море*, *солнце*, *лето* — среднего рода. “Самые мотивы распределения слово одного вещного круга (например, *море*, *озеро*, *река*, *ручей*, *звезда*, *луна*, *солнце*, *месяц*) по разным родам представляются непонятными” (Виноградов 1972, 58).² Исходя из этого, В. В. Виноградов приходит к выводу о том, что внешние, чисто технические критерии родовой классификации как будто играют основную роль в системе имен существительных, не относящихся к лицам и живым существам.

На межъязыковом уровне подобные парадоксы проявляются еще сильнее. Например, для носителей русского и сербохорватского языка непонятным и странным является то, что в немецком языке слова *das Weib* ‘женщина’, *das Mädchen* ‘девочка, девушка’ и *das Fräulein* ‘девушка, барышня’ — среднего рода; *die Kuh* ‘корова’ — женского рода, а *das Schaf* ‘овца’ — среднего; *das Eisen* ‘железо’ — среднего рода, а *der Stahl* ‘сталь’ — мужского и т.д.

Семантический аспект категории рода проявляется в способности рода объединять существительные в одну группу слов с близким значением. Такая группа, считает В. С. Щербаков, представляет собой общность имен существительных, основанную на общности родовой принадлежности слов — со формальной стороны и на общности лексических значений — со стороны содержания (Щербаков 1966, 7). Так, в группе слов, составляющих семантико-родовое объединение существительных, устанавливается соответствие между родом существительных и их обобщенным лексическим значением. В качестве примера можно указать на семантико-родовые группы — составленные из названий поездов (“порожняк”, “товарник”, “скорый”, “почтовый”) и металлических монет (“гривенник”, “пятак”, “пятиалтынный”, “золотой”) (там же). Такие группы слов В. С. Щербаков называет семантико-родовыми объединениями или семантико-родовыми моделями.

В каждом семантическом поле, объединенном одной архисемой (родовой интегрирующей семой, свойственной всем единицам определенного класса), категория рода проявляется по-

разному. Так, архисема *родственник* имеет целый ряд дифференциальных сем, являющихся видовыми семами, с помощью которых уточняется родовое понятие. Поле родства существует во всех языках мира. Оно состоит из слов двух родов — мужского и женского. В немецком, русском и сербохорватском оно имеет структуру, представленную в таблице 1. Здесь выделяются следующие дифференциальные семы: пол, прямое родство, кровное родство, поколение и т.п. В каждом из трех языков наблюдается определенное своеобразие. Для русского языка характерно несоответствие природного и грамматического рода в слове *дедушка* и *дядя*; эквивалентом последнего в немецком языке является одно слово (*der Onkel*), а в сербохорватском два слова — *stric* 'брат отца' и *ujak* 'брат сестры'. В различении пола родственников сербохорватский язык развил более широкую систему, чем русский и немецкий. Так, русскому слову *племянник* и нем. *der Nefte* соответствуют четыре сербохорватских: а) *bratić, bratanac, nećak*, б) *sestrić*, слову *племянница* и *die Nichte* — а) *bratičina, bratanica, nećakinja*, б) *sestričina*. Слову *невестка* — *die Schwägerin* соответствуют два слова *jetrva* и *šogorica*. Приведенные варианты поляризованы на сербский (*bratić, bratanac* — *bratičina, bratanica* — *jetrva*) и хорватский (*nećak* — *nećakinja* — *šogorica*). Немецкому слову *der Onkel* соответствуют три сербохорватских — *ujak, stric* и *tetak*, и два русских — *дядя* и *муж тети*. Свообразие немецкого языка проявляется в наличии слова *Geschwister*, которому в рассматриваемых славянских языках соответствуют словосочетание *братья и сестры* — *braća i sestre*, а также слово *Großeltern* — *дедушка и бабушка* — *djed i baka*. Содержание немецкого слова *Schwiegereltern* в русском передается описательно с помощью словосочетания — *родители жены и родители мужа*. То же самое наблюдается в сербохорватском языке — *roditelji žene и roditelji muža*, однако в последнем существует отдельные названия разговорного характера — *prijatelj* 'отец зятя или невестки' и *prija* 'мать зятя или невестки'. Нет однословных эквивалентов в русском и сербохорватском языках и для немецких слов *der Großonkel* и *die Großtante*: *der Großonkel* в русском — *двоюродный дедушка*, а в сербохорватском *djedov brat* или *brat djeda* и *bakin brat* или *brat bake*; тоже *die Großtante* — *двоюродная бабушка* — *djedova sestra* или *sestra djede* и *bakina sestra* или *sestra bake*.

Данное семантическое поле можно рассматривать и с точки зрения способов дифференциации личных существительных мужского и женского рода, предложенных Моисеевым (Моисеев 1962),

среди которых выделяются следующие типы: а) парадигматический — существительные мужского и женского рода, имеющие общую основу и различное окончание: *супруг* – *супруга*, б) суффиксальный — существительные мужского и женского рода с различными суффиксами: *внук* – *внучка* и в) супплетивный — существительные мужского и женского рода, имеющие различные основы: *сын* – *дочь*. Наш анализ показывает, что к парадигматическому типу относится только сербохорватский язык (*unuk* – *unuka*, *tast* – *tasta*, *pastorak* – *pastorka*), хотя в русском языке окончания являются показателем рода (в нашей таблице таких случаев не оказалось). В суффиксальном типе тоже наблюдается неравновесие:

Таблица 1

Сербохорватский язык	Русский язык	Немецкий язык
<i>punac</i> – <i>punica</i>	<i>тесть</i> <i>тёща</i>	<i>der Schwager</i> <i>die Schwägerin</i>
<i>šogor</i> <i>šogorica</i>	<i>свояк</i> – <i>свояченица</i>	<i>der Enkel</i> – <i>die Enkelin</i>
<i>otac</i> – <i>oćuh</i>	<i>внук</i> – <i>внучка</i>	<i>der Urenkel</i> – <i>die Urenkelin</i>
<i>bratic</i> – <i>bratićina</i> <i>bratunica</i>	<i>правнук</i> – <i>правнучка</i>	<i>der Cousin</i> – <i>die Cousine</i>
<i>nećak</i> – <i>nećakinja</i>	<i>племянник</i> <i>племянница</i>	
<i>sestric</i> <i>sestrićina</i>	<i>свёкор</i> – <i>свекровь</i>	
<i>rođak</i> – <i>rodica</i>		
<i>ujak</i> – <i>ujna</i>		
<i>stric</i> – <i>strina</i>		
<i>tetak</i> – <i>tetka</i>		
<i>svekar</i> <i>svekrva</i>		

Супплетивный способ представлен в следующей форме — см. таблицу 2.

Моисеев указывает на то, что личных существительных мужского и женского рода, дифференцированных этим способом, в современном русском языке сравнительно немного, около сорока пар, и, что большая часть из них тематически относится к терминам родства (Моисеев 1962, 33). Слова, принадлежащие к одному синонимическому ряду, могут иметь различную родовую характеристику. Ср. в русском языке — *конь* (м. р.) – *лошадь* (ж. р.), *луна* (ж. р.) – *месяц* (м. р.), *пес* (м. р.) – *собака* (ж. р.). На межъязыковом уровне обращает на себя внимание наличие родовой пары в одном языке и ее отсутствие в другом. Так, в сербохорватском языке существует пара *prijatelj* – *prijateljica*, *drug* – *drugarica*, в русском языке существует только *приятель*, *друг*.³

Наш анализ показывает, что в русском и сербохорватском языках семантический критерий определения рода играет менее

Таблица 2

Сербохорватский язык	Русский язык	Немецкий язык
<i>žena – muž</i>	<i>жена – муж</i>	<i>Frau – Mann</i>
<i>otac – majka</i>	<i>отец – мать</i>	<i>Vater – Mutter</i>
<i>sin – kćer(ka)</i>	<i>сын – дочь</i>	<i>Sohn – Tochter</i>
<i>brat – sestra</i>	<i>брат – сестра</i>	<i>Bruder – Schwester</i>
<i>djed(a) – baka</i>	<i>дедушка – бабушка</i>	<i>Onkel – Tante</i>
<i>zet – snaha</i>	<i>пасынок – падчерица</i>	<i>Neffe – Nichte</i>
<i>djever – jeirva</i>	<i>зять – сноха (невестка)</i>	<i>Großvater – Großmutter</i>
<i>šura – svastika (svast)</i>	<i>деверь – золовка</i>	<i>Papa – Mama</i>
<i>šurjak – šogorica</i>	<i>шурин – свояченица</i>	<i>Paps – Mammi</i>
<i>očuh – maćeha</i>	<i>своjak – невестка</i>	<i>Papi – Mutti</i>
<i>tata – mama</i>	<i>(сношельница)</i>	<i>Opa – Oma</i>
<i>tatica – mamica</i>	<i>дядя – тетя (тетка)</i>	<i>Opi – Omi</i>
	<i>батюшка – матушка</i>	<i>Opapa – Omama</i>
	<i>bratec – sestriца</i>	
	<i>ded – babka</i>	
	<i>praded – prababuška</i>	
	<i>(prababka)</i>	
	<i>otcim – maćeha</i>	
	<i>papa – mama</i>	
	<i>papanja – mamanja</i>	
	<i>papasha – mamasha</i>	
	<i>tjaja – mama</i>	

значительную роль, чем в немецком языке, так как окончания в славянских языках служат морфологическими показателями рода и семантика слова уходит на задний план. Однако семантическая основа категории рода ставится под сомнение и в немецком языке в том смысле, что заучивание правил определения рода по значению считается некоторыми исследователями нецелесообразным (Крушельницкая 1961, 20).

В семантическом отношении каждый из этих трех языков проявляет различные особенности.

Во-первых, в русском языке кроме мужского, женского и среднего рода выделяется еще и **общий род**, к которому относятся слова типа: *сирота, умница, пьяница, незнайка* и т.п. Существительные общего рода имеют, как правило, разговорный или просторечный характер и обозначают свойство, типичную черту характера, физическую характеристику или склонность к чему-либо. В. В. Виноградов подчеркивает, что совмещение мужского и женского рода в таких существительных оправдывается их резкой экспрессивностью: "Яркая экспрессивная окраска.

свойственная почти всем словам общего рода, подчеркивается несоответствием их строения и значения. Вся эта сложная гамма смысловых оттенков воздвигается на основе класса слов женского рода. Применение слов женского рода к мужчинам порождает своеобразную экспрессивную окраску этих слов” (Виноградов 1972, 72). По его мнению в современном литературном языке категория общего рода в общем малопродуктивна.

В сербохорватском языке русским существительным общего рода соответствуют:

1. сущ. муж. р.: *ханжа* – *licemjer*, *калека* – *bogalj*,
2. сущ. жен. р.: *самоубийца* – *samoubica*, *трусишка* – *kukavica*,
3. сущ. ср. р.: *брюзга* – *gundalo*, *zanovijetalo*,
4. сущ. общего рода: *бродяга* – *skitnica*, *пьяница* – *pijanica*, *незнайка* – *peznalica*, *лежебока* – *danguba*,
5. сущ. муж. и жен. р.: *тёзка* – *imenjak*, *imenjakinja*, *бедняга* – *bijednik*, *bijednica*, *заика* – *tucavac*, *tucavica*,
6. сущ. жен. и ср. р.: *зубрила* – *bubalo*, *bubalica*,
7. словосочетания: *скромница* – *skroman čovjek*, *skromna žena*, *царевубийца* – *ubica cara*, *невежа* – *neuljudan (nepristojan) čovjek*.

В сербохорватском языке очень мало существительных общего рода, поэтому такая группа особо не выделяется в грамматиках, а лишь упоминается. Это слова типа *budala*, *bol*, *danguba*, *gulikoža*, *lualica*, *izjelica*, *bubalica*, *varalica*, *krvopija*, *mušterija*, *pijanica*, *pristalica*, *propalica*, *tvrdica*, *skitnica*, *sveznalica*, *sluga*, *ubica*.

Семантическая и грамматическая система немецкого языка также дает возможность одному слову принимать формы различных родов. Например, слово *Волга* в русском и сербохорватском языках является существительным женского рода, а в немецком языке оно имеет тройную родовую принадлежность. в зависимости от семантики. *die Wolga* — река, *der Wolga* — автомобиль, *das "Wolga"* — гостиница.

Во-вторых, в немецком языке выделяется так называемый **Doppeltes Genus** — двойной род, в котором слово, обладающее двойной родовую принадлежностью, имеет одно и тоже значение, преимущественно с разговорной или территориальной окраской. Это случаи типа — см. таблицу 3.

В отличие от русского общего рода, который охватывает только мужской и женский род, в немецких параллельных формах появляются все три рода, причем из 27 пар нашего списка, 22 образуют мужской и средний род, и лишь четыре мужской и женский.⁴ Слово *der die das Dschungel* (m и реже n) ‘джунгли’ встречается

Таблица 3

<i>der/das Bonbon</i>	конфета
<i>der/das Filter</i>	фильтр
<i>der/das Gulasch</i> — (австр. п)	гуляши
<i>der/das Katheder</i> — (австр. м)	кафедра
<i>der/das Kautschuk</i>	каучук
<i>der/das Kehlricht</i>	сор, мусор, дрянь
<i>der/das Keks</i>	(сухое) печенье
<i>der/das Liter</i> — (разг. и австр., швейц. м)	литр
<i>der/das Marzipan</i>	марципан
<i>der/das Podest</i>	помост, площадка, лестничная площадка
<i>der/das Silo</i>	силосная башня
<i>der/das Zubehör</i>	принадлежности, комплектующие изделия; аксессуар

во всех трех родах (в словарях рекомендуется мужской род, средний же считается более редким). К таким словам относятся и несколько существительных на трехзначный исход *-e*: *Halbe* 'половина', *Deutsche* (м — немец, f — немка, п — немецкий язык), *Freie* (м — свободный человек, f — свободная женщина, п — свободное пространство, простор), *Kleine* 'малютка, малыш, крошка', *Alte* (м — старик, f — старуха, п — старое, прошедшее). Здесь надо добавить, что и в русском языке существуют слова с тройной родовой принадлежностью. Род слова *зал*, например, объясняется влиянием языка-источника: мужской род исходит из немецкого (*der Saal*), женский (*зала*) из французского (*la salle*). Мужской род является литературным вариантом, женский и средний (*зало*) встречается редко. Существуют и оттенки значений. Слово *зала* обычно обозначает помещение для приема гостей или посетителей и является устаревшим. Средний род имеет просторечный характер. Русские имена также могут иметь тройный род, напр. *Гавриил, Гаврила – Гаврило*. Слово *кофе* мужского рода (*крепкий кофе*), но в разговорной речи встречается и средний род (*крепкое кофе*). В сербохорватском языке к таким словам относится *veče* (русское *Добрый вечер!* можно сказать тремя способами: *Dobro veče!* – *Dobra veče!* – *Dobar veče!*). Кроме того, оно выступает в двух морфологических вариантах: *veče* и *večer*.

Разница между русским и немецким языками наблюдается и в количественном отношении: в немецком языке слов с двойным родом немного (около 30), в то время как по нашим подсчетам Грамматический словарь русского языка (Зализняк 1977) содержит 310 таких слов.

Немецким существительным с двойным родом близки и русские существительные, у которых род колеблется. При этом в русском языке наблюдаются два явления:

а) параллельные формы не различаются ни значением, ни стилистической окраской, а лишь частотой употребления. Напр. *жираф* – *жирафа* (реже), *ставень* (реже) – *ставня*;

б) параллельные формы различаются стилистической окраской: *идиома* – *идиом* (устар.), *тапочка* – *тапочек* (разг.), *туфля* – *туфель* (разг.), *бандероль ж* – *бандероль м* (прост.), *картофель м* – *картофель ж* (обл. и прост.), *мигрень ж* – *мигрень м* (устар.).²

По подсчетам Т. В. Шанской, в русском языке существует более 60 таких вариантов родовых пар и их подавляющее большинство составляют слова, относящиеся к мужскому и женскому роду, а варьирование мужского – среднего, мужского – общего и женского – среднего рода встречается редко (Шанская 1963, 57–59).

На семантическом уровне обращают на себя внимание слова с различной родовой принадлежностью и отличающейся семантикой. Таких существительных в немецком языке около 40 и среди них преобладает пара **мужской род – средний род** (24 случая из 42): *der Band* ‘том’, *das Band* ‘лента’; *der Bauer* ‘крестьянин, пешка (шахм.)’, *das Bauer* ‘клетка’; *der Bund* ‘союз, объединение; пояс (одежды), корсаж (юбки)’, *das Bund* ‘связка; пачка; вязанка, сноп’; следует пара **мужской род – женский род** (18 случаев): *der Flur* ‘коридор; передняя прихожая; холл; вестибюль; сени’, *die Flur* ‘поле, нива; угодья; общинная земля’; *der See* ‘озеро’, *die See* ‘море’; *der Kiefer* ‘челюсть’, *die Kiefer* ‘сосна’; и меньше всего пары **женский род – средний род** (3 случая): *die Mark* ‘марка (денежная единица)’, *das Mark* ‘костный мозг; спинной мозг; внутренняя ткань; бот. сердцевина; шоре (из фруктов, помидоров)’; *die Steuer* ‘налог’, *das Steuer* ‘руль’; *die Wehr* ‘оборона’, *das Wehr* ‘плотина’.⁶

Во всех трех языках существуют слова, у которых окончание (конец слова) выполняет смыслоразличительную функцию. Они представлены в следующей таблице (№ 4).

В русском языке иногда варианты окончаний имеют только стилистическую окраску: *клавиш* – *клавиша* (разг.), *манжет* (разг.) – *манжета*, *глист* – *глиста* (разг.), *занавес* – *занавесь* (устар.), *яблоко* – *яблоч* (прост.), *полотенце* – *полотенец* (прост.). Подобные образования в сербохорватском языке обычно имеют нейтральный характер (*arhitekt* – *arhitekta*, *socijalist* – *socijalista*), или же территориальную окраску (*osnov* – *osnova*, *minut* – *minuta*).

sekund – sekunda, sistem – sistema, kvalitet – kvaliteta, front – fronta, veče – večer, juče – jučer).

Таблица 4

Русский		Сербохорватский		Немецкий	
Муж. р.	Жен. р.	Муж. р.	Жен. р.	Муж./ср. р.	Жен. р.
гранит	граната	bar	bara	der Akt	die Aktie
жар	жарга	brk	brka	der Kohl	die Kohle
банк	банка	grb	grba	der Laden	die Lade
змея	змея	krst	krsta	der Leisten	die Leiste
пар	пара	list	lista	der Muff	die Muffe
рот	рота	luk	luka	der Niet	die Niete
катаракт	катаракта	muk	muka	der Rabatt	die Rabatte
просек	просека	par	para	das Rohr	die Röhre
карьер	карьера	par	para	der Spalt	die Spalte
		raj	raja	der Sproß	die Sprosse
		zrak	zraka	der Streifen	die Streife
		žar	žara	das Tablett	die Tablette
				der Typ	die Type ⁷

В русском и сербохорватском существенную роль играет категория одушевленности/неодушевленности. В этих языках названия лиц мужского пола относятся к мужскому роду, названия лиц женского пола, как правило, — к женскому роду. Большинство неодушевленных существительных являются существительными мужского и женского рода. "Из одушевленных существительных значение ср. р. имеет небольшая группа слов: *дитя*, *лицо* 'личность', *существо* 'живое существо', *животное*, *божество*, *ничтожество* (о человеке) и слова — названия зоологических видов, подвидов и родов, например: *пресмыкающееся*, *беспозвоночное*, *кишечно-полостное* (спец.), *млекопитающее*, *земноводное*. Существительные ср. р. *чудовище*, *чудище*, *страшилище* по отношению к лицам применяются только метафорически" (РАН-I-1980, 466).

В немецком языке названия лиц могут относиться и к среднему роду. Напр., *das Weib* 'женщина', *das Mädchen* 'девочка, девушка', *das Fräulein* 'девушка, барышня', а также названия животных мужского пола типа *das Männchen* 'самец' и женского пола типа *das Weibchen* 'самка', *das Schaf* 'овца'. Такие же случаи встречаются и в сербохорватском языке: *zanovijetalo*, *zatezalo* и т.п.

В-третьих, в русском языке некоторые существительные мужского пола обозначают лиц женского пола: *врач*, *депутат*, *профессор* и т.п. Но если надо подчеркнуть, что речь идет о лице женского пола, используется согласование по смыслу: *Врач*

пришла. В официально-деловом стиле употребляется, как правило, мужской род, даже если имеется существительное женского рода (*студент – студентка*).

В названиях детенышей, с одной стороны, выделяется русский язык, в котором используется мужской род, а с другой — немецкий и сербохорватский, в которых фигурирует средний род (в последнем встречается и мужской род).

Таблица 5

Русский	Немецкий	Сербохорватский
<i>теленок</i>	<i>das Kalb</i>	<i>tele</i>
<i>ягненок</i>	<i>das Lamm</i>	<i>jagnje</i>
<i>жеребенок</i>	<i>das Füllen</i>	<i>ždrebe</i>
<i>котенок</i>	<i>das Kätzchen</i>	<i>mače</i>
<i>цыпленок</i>	<i>das Küken</i>	<i>pile</i>

¹ Об этом пишут и другие исследователи, напр., К. Г. Крушельницкая по отношению к русскому и немецкому языку: „Категория рода имен существительных отличается в обоих языках значительным разнообразием по сравнению с другими категориями. Прежде всего, как известно, на современном этапе развития рассматриваемых языков грамматический род имен существительных — за исключением имен одушевленных — не имеет семантической основы: он не мотивирован значением имен существительных и не выражает никакого значения“ (Крушельницкая 1961, 18). О теоретических аспектах категории рода более подробно см. Немировский 1938а; Немировский 1938б; Малаховский 1948; Никишин 1975; Гладкий 1969; Маркус 1964; Виноградов 1972.

² Виноградов приводит и такой пример: “Один остряк в 20-х годах XIX в. считал неправомерным и непонятным противоречием русского языка то обстоятельство, что в нем слова *доброта, надежда* и *снисходительство* относятся к женскому роду, а *гнев, сумасшедствие* и *каприз* к мужскому и среднему (Цефей, Альманах на 1829 г., с. 150)” — там же.

³ По поводу последнего слова и его женского эквивалента В. В. Виноградов приводит рассуждения некоего землевладельца Поповцева о необходимости расширения и пополнения класса слов женского рода образованиями, параллельными словам мужского рода: “Не знаю, почему у нас нет слова *другиня*, т.е. друг женского пола... Это совсем не *подруга, подружка, подруженька*, которые веют на нас молодостью. и *друг* — не то, это мужчина. *Другиня* ... могло бы быть самым почетным из всех званий женщины и даже девицы. ... У нас есть женские названия: *княгиня, героиня, богиня* от мужских *князь, герой и бог* (языческий). Почему же не быть другине от слова друг?” (Виноградов 1972, 63).

В. В. Виноградов добавляет, что слово *другиня* употреблялось также Тредьяковским, а у Пушкина в "Тени Фон-Визина" оно используется в ироническом значении:

Твоя невинная *другиня*,
Уже поблекший цвет певиц,
Вралих Петрополя богиня
Пред ним со страхом пала ниц.

⁴ В грамматике Дудена приводится 108 таких пар, из которых 88 образуют мужской и средний род и лишь в 20 ти случаях встречается колебание между средним и женским родом (DG 1984, 209–210).

⁵ В XVIII–начале XX в. таких колебаний было намного больше свыше 200 (Чернышев 1915).

⁶ В грамматике Дудена различаются две группы таких слов: родственные существительные (37 пар) и неродственные существительные (21 пара) (DG 1984, 210–211).

⁷ В Грамматике Дудена перечисляется 40 таких пар, среди которых 3 пары образуют средний и женский род: *das Eck – die Ecke, das Etikett – die Etiketete, das Idyll – die Idylle* (DG 1984, с. 211–212).

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов 1972 — Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Изд. 2-е. — М.: Высшая школа, 1972. — 614 с.
- Гладкий 1969 — Гладкий А. В. К определению понятия падежа и рода существительного. — Вопросы языкознания, М., 1969, № 2, 110–123.
- Зализняк 1977 — Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. — М.: Русский язык, 1977. — 879 с.
- Крушельницкая 1961 — Крушельницкая К. Г. Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков. — М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1961. — 265 с.
- Малаховский 1948 — Малаховский В. А. Вопрос о происхождении категории рода в современной лингвистике. — Ученые записки Куйбышевского гос. пед. ин-та и учительского ин-та. Факультет языка и литературы. Куйбышев, 1948, вып. 9, 161–173.
- Маркус 1964 — Маркус С. Грамматический род и его логическая модель. — Математическая лингвистика. М.: Мир, 1964, 122–144.
- Моисеев 1962 — Моисеев А. И. Способы дифференциации личных существительных мужского и женского рода. — Ученые записки ЛГУ, 1962, № 302. Серия филологических наук, вып. 61, 27–38.
- Немировский 1938а — Немировский М. Я. Род и пол. Из истории античной грамматики и ее влияния. — Ученые записки Северо-Осетинского ГПИ, Орджоникидзе, 1938, 53–103.
- Немировский 1938б — Немировский Н. Я. Способы обозначения пола в языках мира. — Памяти академика Н. Я. Марра (1864–1934). М.–Л.: Наука, 1938, 196–225.

- Никишин 1975 — Никишин А. С. О гетерогенном характере категории грамматического рода имен существительных в языках флектирующего типа (на материале русского, латинского и древнегреческого языков). — Вопросы романо-германской филологии. М.: МГПИ им. М. Тореца, 1975, 186–197.
- РАН-I-1980 — Русская грамматика. Т. I. — М.: Наука, 1980.
- Чернышев 1915 — Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. Вып. 2. Изд. 2. — Пг., 1915, 119–141.
- Шанская 1963 — Шанская Т. В. Варианты родовых форм имен существительных в современном русском литературном языке. — Вестник Московского университета, 1963, № 6, 55–64.
- Щербаков 1966 — Щербаков В. С. Категория рода в русском языке (функционально-грамматическая характеристика). АКД. — Самарканд: Самаркандский ГУ, 1966. — 21 с.
- DG-1984 — Duden "Grammatik der deutschen Gegenwartssprache". 4. völlig neubearbeitete und erwartete Aufl. — Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut, 1984.

Ирина Павловна Кюльмоя
Tartu

О СЕМАНТИКЕ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ В ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

*Русский глагол синтаксическая семантика взаимодействие
видо-временных форм с синтаксической структурой*

Наиболее распространенным типом семантических отношений между видо-временными формами глаголов в полипредикативных конструкциях являются таксисные отношения, представленные во многих типах сложных предложений (временных, преобладающем большинстве условных, уступительных и др.). Таксис стал впервые объектом внимания в работе Э. Кошмидера (Koschmieder 1929), хотя сам термин в ней не употребляется. Выражение таксисных отношений, по-видимому, можно считать основной функцией целого ряда сочетаний видо-временных форм глаголов при полипредикации, этот тип взаимодействия глагольных форм в русском языке описан в ряде работ (Теория 1987; Оркина 1984; Нуртазина 1985; Кюльмоя 1985 и др.). Таксис частично пересекается с категорией временного порядка, отражающей "в высказывании и целостном тексте языковое представление "времени в событиях", т.е. представление временной оси, репрезентируемой событиями, процессами, состояниями, обозначениями моментов времени и интервалов (*на другой день, через пять минут* и т.п.)" (Бондарко 1996, 167). В отражении семантики временного порядка может преобладать направление от более ранних событий к более поздним, соответствующее "естественному течению времени", возможно также и представление хода событий, идущее от недавних событий к тому, что им предшествовало, т.е. "от недавнего к истокам". Структура временного порядка в тексте образуется различными комбинациями динамичности/статичности, строящейся на основе семантических признаков "возникновение новой ситуации" — "данная ситуация" и таксисных признаков сукцессивности/симультанности. В русском и других славянских языках комбинации всех этих признаков выражаются с участием форм СВ и НСВ, при этом существенную

роль играет синтагматика видо-временных форм, их комбинаторика (там же, 169–170, 178). По мнению А. В. Бондарко, в выражении временного порядка участвуют как поли-, так и монопредикативные высказывания, так как в последних хотя и имеет место изолированное представление определенного предиката, тем не менее, и изолированное “возникновение новой ситуации”, и изолированная “данная ситуация” включаются во временную последовательность. В монопредикативных конструкциях временной порядок как целое репрезентируется одним из его элементов (там же, 184).

Выражение временного порядка, несомненно, является основной функцией видо-временных форм глаголов в нарративном тексте, также как выражение таксисных отношений — их основная функция в полипредикативной конструкции. Именно глагольные формы создают динамику повествования, показывая ход событий в том или ином временном аспекте. В то же время нарративный текст представляет собой сложный конгломерат, включающий, кроме временной последовательности, еще целый ряд явлений. Думается, что некоторые высказывания, представляющие собой полипредикативные конструкции определенной семантики, не связанной с выражением временных отношений, характеризующие какие-либо постоянные свойства, признаки, или описывающие какой-либо эпизод как узувальный, могут оставаться вне категории временного порядка, а некоторые и вне таксисных отношений (ср. замечание Э. Кошмидера о том, что только факты, обладающие местоположением во времени, могут иметь направительную отнесенность и вид, тогда как для вневременных фактов различия в направительной отнесенности, а тем самым и в виде несущественны, вид в этом случае в польском языке может быть произвольным или регулируемым вторично, в зависимости от других категорий и аспектуальных значений в тексте. (Кошмидер 1962, 140). Тем не менее, в высказываниях, не связанных с выражением временного порядка, тоже имеются видо-временные (иногда инфинитивные) формы глаголов, причем в некоторых случаях комбинации этих форм детерминированы как семантически, так и синтаксической структурой предложения. Круг таких предложений, очевидно, невелик, он ограничен синтаксическими структурами, предполагающими употребление лишь жестко заданных (хотя бы в одной части предложения) видо-временных форм.

К конструкциям, в которых одна из видо-временных форм является строго детерминированной, можно отнести ряд сложных

предложений, содержащих сравнение с типичным (достоверное сравнение) и требующих формы НСВнаст именно в этой части. Сюда входят предложения со значением сравнения, сходства, подобия с союзом *как* и различными его модификациями с конкретизаторами: *подобно тому как, точно так же как, вроде того как*, иногда с коррелятом *так*, а также некоторые местоименно-соотносительные предложения. Разумеется, из предложений нерасчлененной структуры здесь можно говорить лишь о таких, опорным компонентом которых является глагол: *Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда* (А. Н. Толстой); *Хорошо бы теперь слушать длинную чудесную сказку, но только верить ей, как бывало, верилось в детстве* (А. Куприн); *Иван Петрович поклонился так, как всегда кланялся с дамами: одною головой, не сгибая спины* (А. Куприн); *Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина* (Н. Гоголь).

Среди предложений расчлененной структуры к рассматриваемому типу относятся такие сравнительные, в которых ситуация-аналог в придаточной части, характеризующая сообщаемое в главной, представлена как реальный факт или общеизвестное явление, т.е. сравнение является достоверным на основе уподобления типичному, стандартному. Характерный признак достоверного сравнения в предложениях с союзом *как* — параллелизм значений слов, занимающих позицию сказуемого: *Врубель жил просто, как все мы живем* (А. Блок); *И вдруг все стало глубоко безмолвно, как это часто бывает в середине ночи* (И. Тургенев); *Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке и т.п.* (А. Чехов). Союз здесь передает информацию 'точно так же как', 'точно так же как это бывает', а значение достоверности поддерживается грамматическими средствами, способными выполнять типизирующую функцию, например, глагольными формами со значением настоящего абстрактного: *Восторг его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра* (А. Чехов); конструкциями с неопределенно-личным или обобщенно-личным значением: *Он сказал это ласково и вкрадчиво, как говорят с детьми, когда их будят* (Л. Леонов) (Русская 1980, 604). Конкретизатор при союзе может акцентировать близость сходства, особенно продуктивным является союз *подобно тому как*, который формирует предложения с самостоятельной предикативностью придаточной части: *Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как*

драгоценные камни излучают таинственный свет (К. Паустовский).

Достоверное сравнение, основанное на уподоблении, может выражаться и в бессоюзных предложениях с анафорической скрепой *так*, при этом обязателен параллелизм синтаксического строения частей: *Рукопожатие было мягкое и энергичное, так пожимают руку люди добрые и деятельные; Слеза за слезой упадет На быстрые руки твои. Так колос беззвучно роняет Созревшие зерна свои (Н. Некрасов).*

Таким образом, форма НСВнаст во взаимодействии с союзом *как* и его вариантами, местоимением *какой* или анафорической скрепой *так*, т.е. с синтаксической структурой сложного предложения, выражает семантику достоверного сравнения. Видо-временная форма в таком случае оказывается синтаксически связанной, задаваемой синтаксической структурой сложного предложения.

Совершенный вид является синтаксически связанным в одном из типов изъяснительных предложений с союзами *чтобы не* и *как бы не*, для которых опорным словом служат глаголы или другие слова, преимущественно отглагольные существительные, со значением **боязни, опасения** (*бояться, опасаться, испугаться, страшиться, беспокоиться, тревожиться*): *Ко мне Вера Григорьевна не зашла, возвратясь из-за границы, из опасения* (варианты: *так как опасалась, опасаясь*), *как бы Федя не пострадал (М. Е. Салтыков-Щедрин); Боюсь, чтобы вам не было скучно со мной; Мы, правда, беспокоимся, как бы это хорошее начинание не превратилось лишь в простую формальность.* Совершенный вид в зависимой части может быть представлен формами сослагательного или повелительного наклонений или инфинитива, которые, взаимодействуя с глаголами указанных семантических групп и союзами, создают семантико-синтаксическую структуру высказываний со значением боязни предполагаемых нежелательных действий с негативными последствиями. Все глаголы, обозначающие такие нежелательные действия, являются предельно-результативными, сама же конструкция семантически сближается с формой императива СВ с отрицанием со значением предостережения (*не упади*). Небезынтересно отметить, что близкие по семантике глаголы, обозначающие действия, обусловленные чувством опасения, — *предостерегать, остерегать, оберегаться* — и употребляемые с теми же союзами, не налагают столь жестких ограничений на функционирование вида, что, по всей вероятности, объясняется раз-

ницей в семантических оттенках двух групп глаголов: *Он предостерег нас, чтобы мы далеко не заплывали.*

Рассмотренные выше случаи синтаксической связанности видовых или видо-временных форм касались высказываний, в которых не представлены таксисные отношения, однако взаимодействием видо-временных форм глаголов иногда выражается одновременно как таксис, так и иные семантические отношения. Такая ситуация наблюдается в русском языке в кратнo-соотносительных конструкциях, представленных различными типами сложных предложений с тем или иным оттенком обусловленности. Поэтому в них преобладают таксисные отношения следования, значительно реже наблюдается одновременность. Эти высказывания, кроме некоторых грамматических особенностей, объединяет семантика: в них представлен эпизод, состоящий по меньшей мере из двух действий, которые происходят вместе, при этом одно из них, как правило, вызывает второе, и весь эпизод повторяется неограниченное число раз: *Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Ганке принести две дыни (Н. Гоголь)* Ю. С. Маслов, назвавший их кратнo-соотносительными типами, указывал, что кратность такого эпизода из нескольких действий "как бы вынесена за скобку" (Маслов 1954, 82). Это замечание, однако, не следует понимать буквально, как обязательное наличие лексического (*каждый день, бывало, всегда*) или синтаксического (повторяющиеся союзы *то... то, ли... ли* и др.) показателя кратности, ибо здесь нужно иметь в виду семантику кратности, а не ее формальный выразитель. В этом легко убедиться на примере кратнo-соотносительных конструкций, не содержащих ни лексических, ни синтаксических показателей кратности, более того, имеются конструкции, состоящие из одних только глаголов, иногда с прямым объектом или другим информационно восполняющим распространителем: *Только или мы как-то странно: сделаем шагов десять и постоим (Ю. Нагибин)*. Показателем также следующий фрагмент из рассказа М. Булгакова "Я убил" (жирным выделены кратнo-соотносительные конструкции):

На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, записываю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

— Бежать, бежать...

(1) *Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники*

заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Вытирает все это из чемоданчика. (2) Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжело так тянет — бу-у... гу-у... Тяжелые орудия. (3) Пройдет раскат, потом стихнет. (4) Выгляну в окно, я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска, виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. (5) И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу: Дай, дай, еще дай.

В примерах (1) и (5) имеются специальные показатели кратности, в (1) — повторяющийся союз *то... то...*, в (5) — словосочетание *каждый раз*. поэтому, несмотря на достаточно характерное для кратко-соотносительных конструкций (КСК) сочетание видо-временных форм глагола, эти случаи останутся вне рассмотрения. (2) и (4) по сути дела однотипны, в (4) *виден мне* свободно замещается формой НСВнаст *вижу*, т.е. таксисные отношения следования передаются соотношением СВбуд-наст – НСВнаст, а так как каждый из эпизодов, представленных в КСК, является повторяющимся, то приходится констатировать, что значение повторяемости в этих примерах, за полным отсутствием других средств, также передается тем же соотношением видо-временных форм. Заметим, что сочетание СВбуд-наст – НСВнаст — наиболее типично для КСК, которые представляют собой один из немногих типов контекста, допускающих употребление формы СВбуд-наст со значением абстрактного (неактуального) настоящего. В (3) такую же функцию выполняет сочетание СВбуд-наст – СВбуд-наст. Справедливости ради нужно отметить, что последнее соотношение синкретично, оно может иметь также значение будущего профетического, однако для его реализации требуется специальное указание на временной план будущего, тогда как значение итеративности в специальном контексте не нуждается. В данном фрагменте текста КСК 1–5 не остаются вне категории временного порядка, т.к. характеризуются конкретной повторяемостью (Панова 1980, 42), при которой процесс повторения эпизода в них относится к ограниченному отрезку времени, в основном укладывающемуся в рамки непосредственного наблюдения, правда, для этого отрезка времени эпизод является типичным, повторяющимся неограниченное число раз. КСК с узальной или обобщенной повторяемостью (в гномических высказываниях) не связаны “со сколько-нибудь определенным включением в линию времени” (Бондарко 1996, 193).

Так как порядок частей в КСК несуществен, то достаточно частотно и соотношение **НСВнаст – СВбуд-наст**: *На улице [Гудаевский — И. К.] идет, идет и вдруг остановится, присядет, или сделает выпад, или другое гимнастическое упражнение (Ф. Сологуб); И волчица прыгает и воет и мотает пушистым хвостом, когда найдет потерянного волчонка (М. Лермонтов).* Повтор форм *идет, идет* используется здесь лишь для подчеркивания длительности действия и не является обязательным.

Значение итеративности ситуации может передаваться и сочетаниями, включающими формы прошедшего времени, но такие соотношения встречаются в КСК гораздо реже. Если употребляется форма **НСВпрош**, то именно она задает общий временной план ситуации, а форма **СВбуд-наст** употребляется переносно в контексте прошедшего (**НСВпрош – СВбуд-наст**): *Денег даже давал, когда под пьяную руку придет (Д. Мамин-Сибиряк); СВбуд-наст – НСВпрош*: *Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выкалывает зубы (Н. Гоголь).* Если в конструкции представлена форма **СВпрош**, то она всегда имеет результативно-перфектное значение, сближающее ее со значением настоящего. Эпизод в такой КСК не относится к плану прошедшего, он вообще не имеет четкой временной локализации, являясь узуальным и поэтому потенциально возможным в любом временном плане. **СВпрош – НСВнаст**: *Если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра (М. Лермонтов).* **СВпрош – СВбуд-наст**: *Коли сел за стол, не поднимется из-за него до тех пор, покуда не подметет всего (М. Алексеев).* Возможен также инверсированный вариант **СВбуд-наст – СВпрош**: *У меня десятки всяких соображений. Мелькнут — и пропали. Разобраться бы... (Д. Гранин).* Таким образом, рассмотренные восемь типов соотношений видо-временных форм глаголов в КСК, представляющих собой сложные предложения, кроме таксисных отношений, передают еще значение повторяемости эпизода. Итеративность ситуации может выражаться также соотношениями **НСВнаст – НСВнаст** или **НСВпрош – НСВпрош**, т.к. значение многократности заложено в самом семантическом потенциале несовершенного вида, тем не менее, в этих случаях имеется показатель кратности — лексический, синтаксический или контекстуальный: *Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением — трешку дает... (И. Ильф и Е. Петров).* Из 14 оставшихся теоретически возможных комбинаций видо-временных форм

исключается сочетание НСВнаст – НСВпрош как противоречащее логике таксисных отношений, остальные 13 вариантов требуют обязательного наличия специальных формально выраженных (лексических или синтаксических) показателей повторяемости.

С точки зрения синтаксической детерминированности видовых форм особую группу составляют некоторые предложения фразеологизированной структуры, значение которых “непосредственно не вытекает из значения оформляющих это предложение союзных средств” (Русская 1980, 537). Конструкции такого типа, содержащие глаголы, имеются среди сложноподчиненных временных предложений (*не успел не успеет не успевает не успевал... как, не проходило не проходит дня, часа... чтобы не, не прошло и дня, часа... как*) и предложений обусловленности (*стоит стоило... чтобы, стоит стоило... как, стоит стоило... и*). Своеобразие этих построений заключается в том, что *стоит, не успеет, не прошло* и их варианты являются компонентами двухместного союзного соединения и в то же время входят в состав сказуемого и являются носителями его модальных и временных характеристик, а также видового значения. В оформлении первой части предложений с *не успеет* и *стоит* в разных вариантах действуют ограничения в отношении вида глагола — может быть употреблен только инфинитив совершенного вида, что объясняется подчеркнутой минимальностью интервала или его отсутствием между действиями. В качестве характерного свойства фразеологизированных предложений отмечается тенденция к идиоматизации компонентов, однако на функциональную характеристику видо-временных форм это не оказывает существенного влияния.

Основное различие между конструкциями с *не проходило не проходит дня, часа... чтобы не* и *не прошло и дня, часа... как* заключается в том, что в первом случае речь идет о повторяющейся, а во втором — об однократной ситуации, поэтому структура первого типа, как и другие КСК с таксисными отношениями одновременности, допускает синонимичное употребление видовых форм, обусловленное нейтрализацией видового противопоставления (Шелякин 1983, 75), тогда как вторая ограничивает выбор видо-временных форм во второй части СВпрош, НСВпрош и НСВнаст, употребленным переносно. *Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не прислал (не присылал) (Л. Толстой); С той поры не проходило недели, чтобы не показалась (не показывалась) на большой дороге его крепкая*

крашенная тележка, запряженная парой круглых лошадок (И. Тургенев); **Не прошло** и часу после их разговора, как уже **грянули** в литавры (Н. Гоголь); **Не прошло** и получаса с его приезда, как уже он с самой добродушной откровенностью **рассказывал** мне свою жизнь (И. Тургенев); **Не прошло** недели, как утром **вспыхнул** (вспыхивает) пожар на Бронной, против дома, где я жил (М. Горький).

При выражении однократной ситуации общим для конструкций с *не успел* и *стоило* является употребление во второй части формы СВпрош: *Но стоило мне только очутиться в этом знакомом доме, как сразу меня потянуло на улицу* (В. Беляев); *Не успел он сделать двух шагов, как увидел бегущих навстречу соседей* (Д. Григорович). Модель такого высказывания: *стоило не успел* + СВинф, как + СВпрош. Однократный эпизод в прошлом передается также вариантом *не успевает* при форме НСВнаст во второй части: *И не успевает он подойти туда, крашенный масляными красками тяжелый занавес, раскрываясь, падает вниз и закрывает сцену* (В. Беляев). Предложение с компонентом *стоит* и формой СВбуд-наст во второй части может выражать семантику однократности ситуации в будущем: *Стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают замуж за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей!* (И. Тургенев). Следует отметить, что синкретизм формы СВбуд-наст в таких конструкциях проявляется особенно ярко, лишь в конкретном контексте можно решить, относится ли эпизод к однократным в будущем или является узуальным, потенциально повторяющимся в любое время.

Значительная часть высказываний с компонентами *стоило/стоит* и *не успеет/не успевает/не успевал/не успел* передает повторяющуюся ситуацию, то есть представляет собой разновидность кратно-соотносительных конструкций, и семантика и употребление видо-временных форм в них подчиняются закономерностям, описанным выше. Особенностью данных предложений является то, что в качестве первого компонента видо-временного соотношения следует рассматривать частично делексикализованную фиксированную форму, которая выполняет особую синтаксическую функцию, сближающую ее с союзом, тем не менее, эта форма сохраняет и ряд глагольных признаков. Так, *стоило/стоит* допускает вариативность в пределах категории времени (настоящее и прошедшее), в *не успеет* варьируются как вид, так и время. Обязательный зависимый инфинитив СВ в первой части не оказывает существенного влияния на функци-

онирование других глагольных форм в высказывании. *Стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти* (А. Чехов) — ср.: как только заговоришь...; *Стоило женскому голосу позвонить, как ей из трубки в ухо ударял разряд* (А. Вознесенский) — как только если позвонит...; *Стоило ему сказать, что он [мальчик] упал, как лошадь, и, несмотря на боль, он вскочит и весело побежит объявлять всем, что упал, как лошадь* (Н. Гарин); *Не успевал окончиться акт, как начиналось междудействие* (Б. Франк) — едва оканчивался окончится; *Не успеешь бутыхнуть в постель, как уже спишь* (А. Чехов); *Я буду ему верной женой. Ни одна женщина не сможет так любить Илюшу. Не успеет он и подумать, а уж я все исполню* (А. Н. Толстой). Таким образом, в создании значения повторяемости ситуации во фразеологически связанных конструкциях участвуют видо-временные формы глаголов во взаимодействии со средствами связи, которые в данном случае тоже отглагольного происхождения.

Подытоживая рассмотренные наблюдения над взаимодействием видо-временных форм в полипредикативных конструкциях, можно сделать следующие выводы:

1. Видо-временные формы русского глагола взаимодействуют с синтаксической структурой сложного предложения и его семантикой.

2. Взаимодействием видо-временных форм с синтаксической структурой сложного предложения, кроме таксиса и временного порядка, передаются и иные семантические отношения (достоверного сравнения, опасения нежелательных последствий, итеративности).

ЛИТЕРАТУРА

- Бондарко 1996 — Бондарко А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. — СПб., 1996.
- Кошмидер 1962 — Кошмидер Э. Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза. — Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- Кюльмоя 1988 — Кюльмоя И. П. Об одном типе кратного таксиса в современном русском языке. — Ученые записки Тартуского ун-та. 1988, вып. 825.
- Маслов 1954 — Маслов Ю. С. Имперфект глаголов совершенного вида в славянских языках. — Вопросы славянского языкознания. М., 1954, вып. I.

- Нуртазина 1985 — Нуртазина М. Б. Выражение аспектуально-таксисных отношений в высказываниях с формами прошедшего времени в современном русском языке. АКД. — Л., 1985.
- Оркина 1984 — Оркина Л. Н. Выражение значений таксиса в высказываниях с формами настоящего и будущего времени в современном русском языке. АКД. — Л., 1984.
- Панова 1980 — Панова Г. И. О содержательных типах повторяемости действия в русском языке. — Функциональный анализ грамматических единиц. Л., 1980.
- Русская 1980 — Русская грамматика. Т. II. — М., 1980.
- Теория 1987 — Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Таксис. — Л., 1987.
- Шелякин 1983 — Шелякин М. А. Категория вида и способы действия русского глагола (Теоретические основы). — Таллин, 1983.
- Koschmieder 1929 — Koschmieder E. Zeitbezug und Sprache. Ein Beitrag zur Aspekt- und Tempusfrage. — Leipzig, Berlin, 1929.

Елизавета Ильмаровна Костанди
Tartu

ТЕКСТОВАЯ ФУНКЦИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО

Русский язык — синтаксис — синтаксис предложения — члены предложения — синтаксис текста — связность — средства связности — коммуникативно-прагматическая направленность

Анализируя различные попытки объяснения природы подлежащего, А. Е. Кибрик в начале 80-х годов справедливо отмечал, что "единая теория с единой терминологией на сегодняшний день еще не выработана и что создание такой теории является задачей будущего" (Кибрик 1982, 32). Такая характеристика состояния изученности одного из главных членов предложения остается актуальной и в настоящее время. Вместе с тем следует отметить, что целый ряд признаков подлежащего достаточно хорошо описан, однако в наименьшей степени изучена текстовая функция подлежащего, которая, как свидетельствует анализ языкового материала, играет важную роль в организации текста и тесно связана с функциями подлежащего в рамках предложения. В данной статье будут затронуты лишь некоторые аспекты текстовой функции подлежащего, полное же их описание предполагает множество специальных исследований в этой области. В данной связи необходимо указать те исследования, подходы к определению сущности подлежащего, в которых специально рассматривается либо затрагивается проблема текстовых свойств подлежащего или которые являются необходимой предпосылкой их рассмотрения.

Подлежащее может, разумеется, использоваться как субститут, участвовать в организации цепочки субститутов и, тем самым, в организации связного текста. Этой проблематике в целом посвящена обширнейшая литература, однако в данной статье будут затронуты в основном те текстовые свойства подлежащего, которые соотносятся с основными признаками этого члена предложения.

Одним из первых в русистике специально рассматривает вопрос о роли подлежащего и других членов предложения в организации связного текста Г. Я. Солганик в работе "Синтаксическая

стилистика” (Солганик 1991). Автор подробно, используя множество убедительных примеров, анализирует особенности компонентов предложения как средств связности и организации текстовых единиц разных типов. Для нашей статьи важно отметить, что Г. Я. Солганик выявляет ведущую роль подлежащего в построении прозаических строф определенных типов и отмечает, что действие этого члена предложения часто распространяется за рамки отдельного предложения.

С отмеченным подходом пересекаются исследования по теории актуального членения, в которых анализируется рема-тематическая организация текста и отмечается особая роль темы как компонента, предполагающего наличие предыдущего контекста и его последующее развертывание, в оформлении связности текста. Актуальное же членение предложения определенным образом соотносится с синтаксическим членением, и наиболее нейтральный вариант этого соотношения предполагает, что темой предложения является именно подлежащее. Таким образом, и в данном случае можно говорить о выполнении подлежащим определенной функции на текстовом уровне, о том, что подлежащее — одна из основ организации текста.

Этот аспект довольно подробно освещался в научной литературе, и в данной статье нет необходимости останавливаться на нем. Необходимо только отметить, что он тесно связан с сущностью подлежащего как главного члена предложения и с другими проявлениями текстовой функции подлежащего, о чем речь пойдет ниже.

Другой круг исследований функциональной сущности подлежащего, предопределяющей его текстовые свойства, это работы, в которых используются понятия перспективы (Филлмор 1981), прагматической структуры и прагматического пика (Ван Валин, Фоли 1982), ориентации (Нунэн 1982), точки зрения, эмпатии, “упаковочной” функции (Чейф 1982). Несмотря на все различия между этими понятиями и подходами разных исследователей, можно говорить об определенной общности взглядов, сближает которые то, что подлежащее и смежные с ним понятия рассматриваются как отправная точка моделирования языкового события, базирующаяся на ряде коммуникативных факторов, в частности, таком, как позиция говорящего. Такой подход к пониманию организации предложения неизбежно требует учета более широкого контекста и конситуации. Так, например, анализируя понятие ориентации предложения, немаловажную роль в формировании которой играет подлежащее, М. Нунэн отмечает: “Во всех этих

случаях выбор некоторой составляющей в качестве ориентации предложения мотивируется желанием говорящего связать данную предикацию с предыдущим текстом или фоном к данному тексту путем уточнения сущности, относительно которой имеет смысл утверждать то, о чем говорится в остальной части предикации" (Нунэн 1982, 366). На основании такого подхода можно говорить, что последовательность подлежащих в тексте является составной частью выбора и реализации способа моделирование не отдельного языкового события, а языковой действительности или ее фрагмента. Это моделирование имеет несколько аспектов проявления.

Один из аспектов — это семантическая близость подлежащих отдельных предложений в целом тексте или его части. Сопоставим несколько последовательно используемых подлежащих в текстах разных стилей:

Научный текст: (1) *Введение* — понимание — задачи — системы — гипотезы — универсалии — процедура — она — это — мы — мы — обозначения — имена — имена — конструкции — ограничения.

(2) *Построение* — представление — элементы — функционирование — система — подсистема — подсистемы — это — задачи — представления — это — мы — название — уровень языка — отношения.

Художественный текст: (3) *Святки* — друг *Васька* — место — он — балаганы — черти — пушки — дворник — я — двугривенный — мы — *Васька* — я — *Васька* — он — балаганы — колокол — парни. (И. С. Шмелев. Наполеон.)

Я — пани *Элиза* — она бисквиты — сок — ярость — колокола — вечер — пани *Элиза* — полька — старики — сутана — па-тер — *Ромуальд* — он — он — забвение — сутана. (И. Бабель. Костел в Новограде.)

Официально-деловой текст: (5) *Глава* — положение — статья — задачи — законодательство — законодательство — статья — права — обязанности — право — рабочие и служащие — рабочие и служащие — соблюдение — отношение — выполнение — статья — регулирование.

(6) *Следователь* — *Шакиров И. З.* — нанесение — свидетели — они — двое мужчин — ссора — мужчины — *Шакиров И. З.* — *Дегуновы* — мужчины — рубашка — потерпевший.

Научно-популярный текст: (7) *Урок* — тема — мысль — автор — работа — урок — урок — уроки — цель — ученики — урок — уроки — задачи — результативность — эффектив-

ность — мы — виды — деятельность — виды — уроки — цель.

(8) Книга — читатели — слова — вы — время — часть — проблема — вы — они — слово — рассказ — слова — слово — оно — оно — жизнь — вы — вы — история — вы — вы — это — язык — который — вы.

Сопоставление фрагментов разных текстов позволяет рассматривать набор подлежащих того или иного текста как своего рода пространственно-предметную характеристику и одно из средств выражения модуса восприятия того фрагмента действительности, о котором идет речь в тексте. Даже отдельно взятый, вне контекста, набор подлежащих дает нам достаточно определенное представление о том из “возможных миров”, который моделируется автором: это может быть мир конкретных предметов и лиц, отвлеченных понятий, отношений, процессов и т.д. В значительной степени это может быть обусловлено денотатом высказываний, внеязыковой, например, реальной действительностью, однако значимыми являются и собственно коммуникативные факторы: акценты, расставляемые говорящим, его позиция как, например, участника описываемых событий, непосредственного наблюдателя, отстраненного субъекта, описывающего события как обобщенные, отвлеченные от конкретных условий, признаки (возрастные, социальные, профессиональные и др.) адресата и т.д. В целом можно говорить о доминантном признаке подлежащем определенного текста или его фрагмента, задающих основные параметры моделируемой действительности. Здесь возможна аналогия с наблюдением, которое фиксирует, но не анализирует специально У. Чейф. В данной связи он отмечает: “Как устанавливается статус подлежащего и как долго он сохраняется? В настоящее время на эти вопросы еще нет удовлетворительных ответов. Конечно, при переходе от одного предложения к другому “сменить подлежащее” не так уж трудно. С другой стороны, безусловно, имеется тенденция сохранять подлежащее на протяжении нескольких предложений.” (Чейф 1982, 304). Эта тенденция в значительной степени подтверждается приведенными выше примерами, подлежащее часто сохраняется при переходе от одного предложения к другому. Одним из частных проявлений такой тенденции является опущение повторяющегося подлежащего в последующих предложениях, тем самым содержащих обязательную прямую отсылку к предыдущему контексту, напр.:

(9) Председатель правления одного из советских учреждений

сидел у себя в кабинете, потом встал и стал зачем-то мерять комнату шагами вдоль и поперек.

Вымерив, остановился, погладил затылок и посмотрел вопросительно на стену, обведя ее всю взглядом.

Потом вышел из кабинета и, заглянув в соседнюю комнату, где сидели машинистки, тоже провел глазами по стене.

Потом позвал управдела. (П. Романов. Стена.)

Анализ материала показал, что для некоторых текстов, например, для отдельных художественных текстов тенденция сохранения подлежащего особенно характерна, однако еще чаще сохраняется семантическая близость подлежащих разных предложений.

Таким образом, свойство подлежащего как фокуса восприятия, точки зрения соотносится с типом текста, его целевой установкой, сферой функционирования, направленностью на адресата, обладающего определенным набором признаков, и целым рядом других коммуникативных факторов. Тем самым подлежащее выступает как средство формирования целостного текста того или иного типа.

С данным аспектом проявления текстовой функции подлежащего тесно связан другой, который может быть охарактеризован как собственно синтаксический. Речь идет о соотношении глубинной и поверхностной структур предложения, о том, носитель какой глубинной функции становится подлежащим. С этой точки зрения также наблюдается достаточно явное различие между разными конкретными текстами и текстами разных типов: в одних случаях подлежащим становится преимущественно само действие, в других объект, в третьих производитель действия и т.д. Эта закономерность прослеживается, например, в следующих фрагментах текстов:

(10) *Предметом исторического синтаксиса является изучение синтаксических изменений, происходивших в русском языке в течение многих веков его развития, начиная с первых памятников древнерусской письменности (XI в.). При этом важная задача исторического синтаксиса — выяснить, какие изменения синтаксической системы были новыми, прогрессивными и какие — отживающими, отражающими в языке следы предшествующих эпох; установить закономерности этих изменений, ведущих к совершенствованию синтаксического строя русского языка. (научный текст)*

(11) *В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения*

о личности нарушителя; место, время совершения и существо административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются; объяснение нарушителя; иные сведения, необходимые для разрешения дела.

Протокол подписывается лицом, его составившим и лицом, совершившим административное правонарушение; при наличии свидетелей и потерпевших протокол может быть подписан также и этими лицами. (официально-деловой текст)

(12) *Он возвратился домой к своей жене серьезный и печальный. Он был в поездке, в пурге и на морозе почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать.*

Жена ничего сначала не спросила у мужа; она подала ему таз с теплой водой для умывания и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар.

За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюм. (А. Платонов. Жена машиниста.)

В примере (10) в качестве подлежащего выступают такие слова, как: *изучение, выяснить, изменение, установить*, т. е. то, что на глубинном уровне является действием. В следующем примере (11) глубинная функция поверхностных подлежащих в основном объектная: *дата, место, должность, фамилия, имя, отчество, сведения, место, время, существо, акт, фамилии, адреса, объяснение, сведения, протокол*. В примере (12) поверхностный субъект соответствует субъекту глубинному: *он, он, жена, она, они, муж*.

Таким образом, и в данном случае мы видим, что определенная точка зрения на событие, фокус восприятия выбирается не столько для отдельного предложения, сколько для части текста или целого текста. При этом в зависимости, в частности, от соотношения глубинной и поверхностной структур предложения подлежащее либо выдвигается на первый план (12), либо "теряется" среди прочих компонентов предложения (10), (11), посредством чего также придается некоторый общий признак всему тексту или его фрагменту.

Два отмеченных выше аспекта — семантическая, лексическая близость подлежащих и частая однотипность их глубинных функций — тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, т. к., например, производителями действия преимущественно являются лица,

объектами — предметы и т.д. При этом второй аспект, скорее, является основным, однако первый — более формально выраженным, эксплицированным. Целостная картина восприятия и моделирования события обеспечивается, однако, разумеется, не ограничивается, взаимодействием этих аспектов.

Еще один аспект, который следует отметить, говоря о текстовой функции подлежащего, это определенная последовательность перехода от подлежащего к подлежащему по мере развертывания текста. Обратимся к примерам:

(13) *Около остановки тремвая набралась длинная очередь. Впереди стояли женщины в платках, за ними старушка в шляпке и повязанном поверх нее теплом платке, потом толстый гражданин и подбежавшие под конец пять парней в теплых куртках и сапогах.* (П. Романов. Плохой номер)

(14) *Около кассы вокзала стоял полный господин в шубе с котиковым воротником-шалью и чем-то возмущался. Его породистое, гладко выбритое лицо было красно от досады, а шапка сдвинута со лба.* (П. Романов. Огоньки.)

В приведенных примерах наблюдается однотипная последовательность перехода от предыдущего подлежащего к последующему — сужение, конкретизация: (13) *очередь — женщины — старушка — гражданин — пять парней*; (14) *господин — лицо — шапка*. Возможны, разумеется, и другие варианты переходов, в целом же и в данном случае можно говорить о взаимообусловленности подлежащих разных предложений в контексте и, соответственно, о текстовой функции подлежащего.

Как показывает анализ материала, для других членов предложения отмеченные особенности либо характерны в меньшей степени, либо не характерны вовсе. Очевидно, как уже отмечалось выше, текстовые свойства подлежащего соотносятся с его сущностью как члена предложения. Это соотношение может стать предметом специального рассмотрения, в данной же статье мы остановимся лишь на некоторых моментах.

Восходящее к античным грамматикам и существующее до настоящего времени определение подлежащего как того, о чем говорится в предложении предполагает, что подлежащее называет некоторый исходный предмет, который каким-либо образом характеризуется в предложении. Эту сущность подлежащего У. Чейф определил как “добавление информации”, в связи с чем он пишет: “Но в любом случае похоже, что один из основных, а возможно, и единственный способ сообщения нового знания, состоит в том, чтобы, приняв некоторый объект за исходную точку,

сообщить слушающему дополнительную информацию об этом объекте" (Чейф 1982, 300). Таким образом, подлежащее изначально содержит потенциальную возможность и необходимость развертывания текста. В то же время, исходная точка — это выбор, осуществленный говорящим, т.е. предполагается сам момент выбора и, соответственно, предшествующий фон, следовательно, можно говорить как о прямонаправленности, так и об обратнонаправленности потенциальных текстовых свойств подлежащего. Довольно широко распространившийся в настоящее время подход к определению подлежащего как точки зрения, фокуса восприятия также может рассматриваться как предполагающий потенциальные текстовые свойства подлежащего. Выбор точки зрения на событие, как уже отмечалось выше, осуществляется, как правило, не для отдельного предложения, а для целой части текста или всего текста: трудно предположить, чтобы точка зрения резко менялась при переходе от предложения к предложению. В некоторых текстах возможно резкое изменение фокусировки события, однако в таких случаях это, скорее, является осознанным авторским приемом и свидетельствует не об отсутствии связности, а о ее особом типе, напр.:

(15) *Звали гулять, почему не шла гулять, надо кушать кашку, тогда вырастешь большая, обязательно, непременно кушать кашку, темно вокруг и пусто, я выросла большая, звуки оглушили меня, наверное, я съела слишком много кашки.*

За угол не сворачивать. Есть гораздо прямее улицы. Они или по болоту, увязая, с трудом вытаскивая сапоги. Но только не завернул вправо. И старшина с лотмановскими усами командовал этим бесполезным парадом. Слово надо ставить на проезжей части. И научил его разным шуткам, стучать по костяшкам, читать газеты. Ведь мы говорили, мы так и знали. Нет, он все равно вышел, потому что не бывает этой пресноты, этого привкуса легкости. Конечно, если вы не пробовали. Но, кажется, отсюда не так далеко. (В. Руднев. И свет одинокий.)

Резкая смена подлежащего, смена фокусировки события побуждает адресата искать скрытую связь между отдельными предложениями и частями текста.

Еще один особый случай реализации фокусировки события — отсутствие подлежащего, использование односоставных предложений, что также в значительной степени обусловлено контекстом. Напр.:

(16) *Возможен также и другой порядок расположения упреждений, о чем упоминалось выше, когда рекомендовалось*

начинать с любимого ребенком упражнения, чтобы сразу привлечь его к занятию, и кончать занятие этим же упражнением.

Но при составлении комплексов надо учитывать физиологические предпосылки. (научно-популярный текст)

Использование безличных и инфинитивных предложений в данном примере обусловлено именно определенной фокусировкой, модусом моделирования языковой действительности, когда предикативный признак не приписывается отдельному субъекту, а имеет более общий характер, чему соответствует отсутствие подлежащего. Данный способ фокусировки также не выбирается для отдельного предложения, а обусловлен более широким контекстом.

Таким образом, основные признаки подлежащего как члена предложения явно соотносятся с его ролью в организации связанного текста. Этот вопрос, несомненно, требует ряда специальных исследователей, однако даже первоначальные наблюдения свидетельствуют о возможности и необходимости дополнения существующих характеристик подлежащего. Кроме того, как уже отмечалось выше целый комплекс текстовых свойств подлежащего соотносится с актуальным членением предложения и текста.

Итак, анализ материала показывает, что действие подлежащего выходит за рамки отдельного предложения и становится одним из важных средств организации текста. Многоаспектность этой проблемы предполагает дальнейшее более детальное исследование каждого аспекта, в данной статье была сделана попытка отметить лишь некоторые, как представляется, наиболее эксплицированные проявления текстовой функции подлежащего: семантическую близость подлежащих в тексте, задающую основные предметно-пространственные параметры описываемой действительности, однотипность глубинных функций подлежащих, некоторые особенности перехода от подлежащего к подлежащему по мере развертывания текста и частные варианты фокусировки событий, являющиеся отдельными видами проявления текстовой функции подлежащего. В самом общем виде текстовая функция подлежащего может быть определена как формирование модуса построения и, соответственно, восприятия не отдельного предложения, а целого фрагмента языковой действительности.

ЛИТЕРАТУРА

- Ван Валин. Фоли 1982 — Ван Валин Р., Фоли У. Референциально-ролевая грамматика. — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М.: Прогресс, 1982.
- Кибрик 1982 — Кибрик А. Е. Проблема синтаксических отношений в универсальной грамматике. — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М.: Прогресс, 1982.
- Нунэн 1982 — Нунэн М. О подлежащих и топиках. — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М.: Прогресс, 1982.
- Солганик 1991 — Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. — М.: Высшая школа, 1991.
- Филлмор 1981 — Филлмор Ч. Дело о падеже открывается вновь. — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М.: Прогресс, 1981.
- Чейф 1982 — Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топика и точка зрения. — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М.: Прогресс, 1982.

Светлана Николаевна Туровская
Tallinn

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ НАМЕРЕНИЯ: ФУНКЦИЯ СВЯЗКИ

Синтаксис — русский синтаксис — грамматические и лексические актуализаторы — связка — высказывания с модальным смыслом необходимости — модальные предикативы — предикативы необходимости — план поведения субъекта — намерение как часть плана — проспективная модальность

Существующие определения намерения различны. Словари интерпретируют намерение как “замысел, желание, предположение сделать, совершить что-л.”; сделать что-либо “с намерением” — сделать “умышленно”, “с определенной целью” (СРЯ 1985–1988). Психологические словари еще более конкретны: “Намерение — сознательное стремление завершить действие в соответствии с намеченной программой, направленной на достижение предполагаемого результата... Намерение возникает в итоге акта целеполагания и предполагает выбор соответствующих средств, с помощью которых человек собирается достичь поставленной цели... Намерение выступает как момент внутренней подготовки к исполнению действий” (Психология. Словарь 1990, 229–230). В когнитивной психологии намерения связываются с планированием (Найссер 1981, 45). Дж. Серль определяет намерение как разновидность интенционального состояния (Серль 1987, 98).

Резюмируя приведенные определения, можно сказать, что намерение включено в контекст целей и установок субъекта, и, соответственно, средств к достижению этих целей. Семантическим ядром формирования намерения является интенциональность. Интенциональность в данной статье интерпретируется как устремленность субъекта на результат действия (Wright 1975, 9). Таким образом, намерение включено в план поведения субъекта. Вербальное представление намерений чрезвычайно многообразно. В данной статье пойдет речь об одном типе представления намерения — становление намерения в высказываниях с модальным смыслом практической необходимости. Такой тип

значения был назван проспективной надобностью (подробнее см. Туровская 1993. 48).

Проспективная надобность — разобщенность между оценкой необходимости действия, намерением о его осуществлении и его реализацией. Довольно часто в контексте имеются точные указания, не оставляющие сомнений для квалификации подобного типа значений. Они эксплицируются глаголами *решишь* (и его производными), *думать* (и его производными) и т.п. Ср.:

1. *Увидевши в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже* (Н. Гоголь).

2. *Надо будет ему возразить так. — решил Берлиоз. — да, человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в том, что ...* (М. Булгаков).

3. *“На Арбате надо будет быть еще поосторожней. — подумала Маргарита, тут столько всего напутано, что и не разберешься”* (М. Булгаков).

4. *“Черт... надо будет форму скорее надеть”, — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником* (М. Булгаков).

Как следует из вышеприведенных примеров, оценка необходимости действия, эксплицируемая модальными предикативами, “совпадает” с “моментом” решения, который локализован в наблюдаемой ситуации (ср. *увидевши в чем дело* (1), *тут* (3), *черт* — как реакция на предшествующие события (4) и др. Реализация же самого действия отодвигается в план будущего, но не просто неопределенного будущего, а первого “возможного” будущего, подходящего для реализации поставленной цели. Иногда это будущее локализовано. Или через специализацию — *на Арбате* (3), или временным периодом — *летом, осенью*, или пределом — *к зиме, к концу месяца* и т.п. Ср.:

5. *Летом пальто надо будет сдать в чистку.*

6. *Во всяком случае, нужно будет не забыть немедленно по приезде попросить папу вырезать из чего-нибудь и пришить к ее глазам эти черные, очень красивые заслонки — неизвестно, как они называются* (В. Катаев).

В сущности, намерение и его реализация являются частью плана поведения субъекта, и в этом отношении наблюдается разобщенность между частями плана. Разобщенность эта и временная, и пространственная. В высказывании может быть актуализи-

зовано или пространство, или время. Субъект в момент актуализации намерения вспоминает о последней части плана — реализации действия в подходящих условиях. Если условия реализации меняются или изменились, субъект действия думает о своей линии поведения в изменившихся условиях, но имея перед собой прежнюю цель. Ср:

7. *Отворяется, значит не было заперто ... Гм! ... Следы на подоконнике. Видите? Вот следы от колена ... Кто-то лез оттуда ... Нужно будет как следует осмотреть окно* (А. Чехов).

Высказывания с подобным типом модального значения имеют довольно регулярные средства выражения. Лексическим актуализатором является предикатив *надо/нужно*. Среди грамматических актуализаторов следует назвать сочетание модальных предикативов с инфинитивами СВ и связкой *быть* в форме будущего времени. На связку *будет* приходится основная доля участия в формировании данного типа модального значения. Вряд ли можно согласиться с точкой зрения, изложенной в монографии "Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность": "... при описании ситуаций, не связанных непосредственно с настоящим, связка *быть* выступает как факультативный элемент: *Мы должны (будем) как-нибудь пригласить его в гости; Надо (будет) с ней поговорить; Нет, я решительно развинулся. Надо будет с собою что-нибудь сделать* (А. Чехов); *связка **быть** может быть опущена. Кофры надо будет убрать и спрятать до зимы* (А. Чехов) — также возможен пропуск связки" (Цейтлин 1990, 155). Возможный в изолированных примерах пропуск связки зачастую неуместен в контексте. Ср.:

8. *Вижу: вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль* (А. Чехов) и без связки: *Вижу: вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо упомянуть где-нибудь в рассказе об этом? ... что плыло облако, похожее на рояль ...*

Опущение связки *будет* делает стилистически избыточным придаточное предложение, выражающее представление о месте предполагаемого действия в так называемом "реальном" мире, т.е. мире наблюдаемом. Кроме того, в оригинальном тексте подчеркивается обязательность выполнения действия как части плана, его продуманность, конкретность. Локализованность в "уместном" времени и пространстве. В трансформированном тексте акцент переносится на оценку ситуации: *хорошо, правильно, необходимо*, т.е. вывод о необходимости действия, иррелевантного

к целостному плану поведения субъекта, поскольку отсутствует граница плана — экзистенциальный ориентир в будущем — *будет*.

Сочетание модальных предикативов и инфинитивов СВ, выражающих оценку или намерение, само по себе отодвигает действие в план будущего. Возникает вопрос о роли связки. Думается, что связка в высказываниях с подобным модальным значением выполняет двойную функцию. С одной стороны, формирует представление о реализации действия (о его месте в действительности, шаг к бытийности, фактуальности). С другой стороны, является точкой отсчета очередности действий в уже сформированном и обязательном к исполнению плане поведения. Последнее обстоятельство предопределяет относительный характер времени. Следующий контекстуальный пример еще более красноречиво свидетельствует о фактуальном характере связки:

9. — *Не беспокойтесь, Елена Васильевна ... Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном Города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву ...*

— *Ну, это когда еще там ... Эгм...*

— *Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше...*

(М. Булгаков).

Связка в приведенном тексте предопределяет помещение действия в возможный фактуальный план, в мир, где возможна целостная последовательность других вероятных и неизбежных фактов. Опускание связки разрушает эту последовательность и актуализирует оценку, при экспликации и актуализации которой теряется связь с предыдущим повествованием. Становится избыточной реплика “это когда еще там ...”.

Границы возможного плана поведения, его целостный характер, его представление в воображении, а, следовательно, и воздействие на него подчеркивает следующий пример:

10. — *... и шинель уж, видно, вам придется новую делать.*

— *Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того ...*

— *То есть что будет стоить?*

— *Да.*

— *Да три полсотни с лишком надо будет приложить.* — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно ... (Н. Гоголь).

Опускание связки “нейтрализует” эффект, произведенный Петровичем, разрушает связь с последующим повествованием и оста-

влет открытой оценочную структуру, требующую дальнейших уточнений.

Таким образом, связка *будет* несет в высказывании с данным типом модального значения следующие функции: соединяет оценку необходимости с его обязательной реализацией в реально представляемом мире; указывает на наличие плана поведения (пространства) при формирующемся или сформированном намерении (точки в этом пространстве); предопределяет относительный характер времени; "прикрепляет" действие к субъекту; представляет в воображении саму ситуацию действия.

Отсутствие связки в какой-то степени абстрагирует ситуацию: речь идет только об оценке ситуации в отрыве от ее "субъекта", присутствие связки, наоборот, точно указывает на исполнителя действия. Указание это "создается", разумеется, не только связкой, но и контекстом "решения" или "намерения". В этом плане показателен пример 7.

Вместе с временными или пространственными локализаторами сочетание модального предикатива, связки и инфинитива СВ создает как бы образ предполагаемого необходимого действия — происходит его реализация в воображаемом мире. В реализации этой "картины" воображаемого мира не последнюю роль играют инфинитивы СВ в конкретно-фактическом значении. Конкретно-фактическое значение является актуализатором целостного охвата действия как определяющего момента в семантике плана, замысла или намерения. При этом "точечный" характер действия как бы "спасиализуется" связкой: похоже, что связка не теряет своего видового значения — значения НСВ. При наложении, или, лучше сказать, интерференции видовых значений возникает эффект веера: при определенном положении его можно наблюдать только в свернутом виде — части накладываются друг на друга, но можно и в развернутом — когда каждая из частей отчетливо проявляется в пространстве. Интересно, что образ в когнитивной психологии связывается с предвосхищением. В какой-то мере именно благодаря наличию связки в форме будущего времени это предвосхищение субъектом действия и ощущается. Показательны следующие оппозиции. При наличии связки и примыкающего к модальному предикативу инфинитива СВ "предвосхищается" в целом действие желанное:

11. *Надо будет все тут перекрасить. При НСВ — "предвосхищаемое" действие оценивается отрицательно:*

12. *Надо будет все тут перекрашивать.*

Точка отсчета представляемых в высказывании действий

всегда ретроспективна. Характер будущего времени можно определить как будущее следования. Временной отсчет идет с момента принятия решения. Как правило, момент принятия решения всегда в прошлом наблюдаемого мира или его фрагмента. Можно эту разновидность будущего квалифицировать как будущее в прошедшем.

Явление, описываемое в подобного рода высказываниях, можно бы назвать модальным синкретизмом — в одном означаемом слито несколько означающих.

ЛИТЕРАТУРА

- СРЯ 1985–1988 — Словарь русского языка в 4-х томах. Под ред. В. П. Евгеньевой. — М.: Русский язык, 1985–1988.
- Психология. Словарь 1990 — Психология. Словарь. Под. общ. ред. А. В. Петровского, Н. Г. Ерошевского. — М.: Политиздат, 1990.
- Найссер 1981 — Найссер У. Познание и реальность. — М.: Прогресс, 1981.
- Серль 1981 — Серль Дж. Р. Природа интенциональных состояний. — Философия. Логика. Язык. М: Прогресс, 1981.
- Туровская 1993 — Туровская С. Н. Контекстуальная типология высказываний с модальным смыслом необходимости. — Вопросы сопоставительно-типологического исследования разноразличных языков: Общетеоретические и конкретные вопросы функциональной грамматики. Таллинн: Таллинский пединститут, 1993.
- Цейтлин 1990 — Цейтлин С. Н. Необходимость. — Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. — Л: Наука, 1990.
- Wright 1975 — Wright G. H. von. Explanation and understanding. — London: Routledge & Kegan Paul, 1975.

IV. ЯЗЫКИ ДРЕВНИЕ...

Юрий Сергеевич Кудрявцев

Tartu

ЗНАЧЕНИЕ МОРФОНОЛОГИИ СТАРΟΣЛАВЯНСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ И.-Е. РЕКОНСТРУКЦИИ

Морфология — глагол — старославянский глагол — классы глагола — IV класс по А. Лескину — основы инфинитива на -и — словообразовательные типы — морфология — корневой аблаут — тематические гласные — каузативы — итеративы — фактитивы

§ 1. Класс глагола и тип склонения имени — парадоксальные лингвистические факты. Будучи важными морфологическими явлениями, без отражения которых не обходится ни одно грамматическое описание флективного языка, эти сущности в то же время не являются грамматическими категориями, если под таковыми понимать, в соответствии со вполне оправданной традицией, единство грамматической формы и грамматического значения. Глаголы делят на классы, имена на типы склонения исходя из чисто формальных признаков — наличия тех или иных флексий, морфемной структуры основы и др. В и.-е. языках классная принадлежность глагола определяется по так называемой тематической гласной, которая в основе слова занимает место, характерное для суффиксов — в конце основы перед окончанием. — но не является полноценным суффиксом, поскольку лишена семантики. А. А. Реформатский (Реформатский 1996, 266–267) характеризует тематическую гласную как интерфикс, т.е. незначащую межморфемную прокладку. Интерфиксы представляют собой явления морфонологической природы.

Историческое изучение классов глагола будет продуктивным, если мы сумеем возвести их к единицам содержательного характера, т.е. к словообразовательным типам. Для этого необходимо выявить тип производящей (мотивирующей) основы, уста-

новить первоначальное единство семантики производных (мотивированных) основ, определить форманты класса и изучить дополнительные — морфонологические — явления, сопровождающие образование глаголов в рамках данного класса.

Старославянские глаголы неоднократно рассматривались с этой точки зрения, однако их соответствие и.-е. словообразовательным типам выявлено не полностью. Более того, сами и.-е. словообразовательные типы изучены недостаточно. В этой связи внутренняя реконструкция на материале любой исторически засвидетельствованной ветви обладает эвристической ценностью.

§ 2. Анализ морфонологических явлений важен для реконструкции праязыковых фактов. В собственно исторической лингвистике, основанной на изучении памятников письменности, русистика имеет хорошие традиции такого анализа, приведшие к открытию важного теоретического инструмента — понятия морфологически изолированной позиции (Колесов 1964, 67 и след.; 1980, 109 и след.) Изучая славянские отражения и.-е. аблаута, мы обычно ограничиваемся указанием на серьезную перестройку аблаутных отношений при переходе от и.-е. системы к славянской или балтославянской (Бернштейн 1974, 33). Однако пути такой перестройки не всегда ясны.

Известно, что огласовка *ь* в повелит. накл. глаголов I класса с основой на заднеязычный (**tьci, rьci, pьci, žьzi* и под.) является нетипичной. Исследователи связывают ее с чисто славянским фактом — II палатализацией заднеязычных, см., нпр.: (там же, со ссылкой на А. Мейе). Однако неясно, каким образом свистящий характер рефлекса палатализации мог бы повлиять на количество или качество предшествующего гласного звука. С точки зрения исторической фонетики такая ассимиляция или аккомодация имеет очень малую вероятность.

Напротив, сохранение исконной огласовки в данных условиях вполне логично. После II палатализации основа императива у этих глаголов стала резко отличаться от основы наст. вр., которой раньше, как естественно полагать, она была тождественна (ср. в исторический период: *тъци — текж, течетъ*). Это должно было препятствовать выравниванию вокализма при морфонологическом взаимодействии императива и аориста. Таких препятствий между формами аориста и презенса не существовало, ср. *текж, течетъ* и *текохъ, тече*.

Восстанавливается первоначальная огласовка основы наст. вр. и повелит. накл. в виде нулевой ступени аблаута (**tьkø, tьki*) в противоположность ступени **e* в основе инфинитива и аориста

(**tekti*, *teke*). Такая реконструкция подтверждается историческими фактами по крайней мере для одного из глаголов рассматриваемой группы, ср. форму прич. наст. вр. *аркучи* в СПИ (Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" 1965, 38–39). См. (Sadnik 1966, 659–662) с другим толкованием.

В глаголах I класса с основой инфинитива на согласный нулевая ступень в презенсе представлена в старославянском обычно перед сонорным согласным: *отврѣземъ* — *разврѣсти*, *очрѣтѣтъ* — *очрѣсти*, *почрѣпѣте* (имп.) — *почрѣти*, *тлѣкѣцюмоу* (прич. наст. вр.) — *тлѣци*, *завѣри* (имп.) — *въврѣти* или в тех случаях, когда основа инфинитива демонстрирует результат монофтонгизации: *цвѣтѣтъ* — *процвѣсти*, *дѣмы* (прич. наст. вр.) — *доути*, *расѣпетъ* — *расоуша* (аор.), *сѣжьми* (имп.) — *сѣжати* и под. Из простого сопоставления форм очевидно, что выравнивание основ в этом случае также было затруднено. А редукция гласного под влиянием соседнего сонорного согласного весьма мало вероятна.

Мы приходим к реконструкции нулевой ступени в основе настоящего времени для всей разновидности I класса с основой инфинитива на согласный звук. Следует предполагать не только чередования **тъketъ* — *tekti*, *въretъ* — *verti*, *kvъtetъ* — *kveitti*, *gъmetъ* — *gemti*, но и **въzetъ* — *vezti*, *въdetъ* — *vedti*, *grъbetъ* — *grebti*. После ряда праславянских фонетических преобразований данные чередования устранялись в тех глаголах, где основы сохраняли фонетическую близость, но сохранялись довольно регулярно в том случае, если внешнее расхождение оказывалось значительным. В последнем случае различие основ получало в грамматическом механизме статус, близкий или тождественный супплетивизму.

Зависимость ступени аблаута от грамматического времени (презенс vs. аорист) отмечена в индоевропеистике (Гамкрелидзе, Иванов 1984, I, 225), но лишь в обратной форме, ср. греч. наст. вр. *πέτομαι* (ступень **e*) — аор. *ἔ-πτα-μην* (ступень ∅). Славянский материал демонстрирует и эту форму зависимости: *кмактъ* — *имати*, *беретъ* — *вьрати*, но лишь в глаголах с основой инфинитива (и аориста) на гласный -а-, ср. приведенный греч. пример.

То., широкое распространение в славянских глаголах I класса нулевой ступени аблаута в основе наст. вр. и императива при исходной ступени в основе инфинитива и аориста находит рациональное объяснение не в качестве инновации, а в качестве архаизма.

Отметим, что в латинском языке, где корневые тематические глаголы (III спряжение, соответствующее по структуре славянскому I классу с нетематическим инфинитивом) имеют огласовку *e (и *o из *e) или *a (последние по семантике соответствуют слав. III кл.: *carpō* 'срываю, щиплю', *scabō* 'чешу', *scalpō* 'скоблю, вырезаю', *trahō* 'тащу' и т.д.), наблюдается нулевая ступень корня в 2-х случаях (дифтонг *ei и *r, l), имеющих соответствие в славянском (Эрну 1950, 154–161, спец. 156–157).

§ 3. Предполагаемую серию работ по ст.-сл. глагольной морфологии мы начинаем с более прозрачного исторически IV класса. Этот класс имеет хорошие и.-е. параллели. С другой стороны, именно славянская (и шире, балтослав.) его репрезентация ставит ряд формальных проблем, которые будут разобраны ниже. Основной нерешенный вопрос: почему одни глаголы этого класса имеют инфинитив на -ити, а другие — на -ѣти.

При обозначении классов ст.-сл. глаголов мы будем пользоваться римскими цифрами для обозначения класса основы настоящего вр. (традиционная классификация, восходящая к А. Лескину) и строчными буквами кириллицы для обозначения класса основы инфинитива (=основе аориста). Эти буквы будут соответствовать используемым в русском переводе (Вайан 1952). Т.о., *молю*, *молити* — IVa, *мьнѣж*, *мьнѣти* — IVб, *съпльж*, *съпати* — IVв.

Эти более мелкие по сравнению с традицией группы мы будем называть классами, сохранив и традиционное употребление данного термина, т.е. в одних случаях будет говориться о IV, в других — о IVa, IVб, IVв классах. Термин *тип* оставим для обозначения словообразовательного типа. Иначе (Вайан 1952).

Объем учитываемого материала ограничен памятниками, традиционно относимыми к древнецерковнославянскому языку. Следовательно, анализируется определенный синхронный срез: X–XI вв. Ограничение позволяет а priori исключить из рассмотрения факты позднейших морфонологических перестроек.

Семантические определения даются по (Старославянский словарь 1994). Здесь 845 словарных статей, посвященных глаголам IVa класса, которые объединяются в ~ 340 бесприставочных основ. Исключаем из списка *пльзѣти/пльзити* (по вокализму — глагол IVб класса) и *истънѣти* (правильно *истънѣти*, см. б, на (рас)топѣти).

Анализ IVa класса позволяет выделить 5 словообразовательных типов.

Некоторые глаголы имеют в рамках старославянского языка двойную мотивацию — их основы соотносятся сразу с двумя производящими. Ниже они будут приводиться в обоих списках и отмечаться звездочкой * после глагола. Решение вопроса, от какой основы они были образованы реально-исторически, в наши задачи не входит. Поиски такого решения во многих случаях наталкиваются на чрезвычайно затруднения, см. (Мейе 1951, 191–193; Семереньи 1980, 291–292).

§ 4. Итеративы от глаголов движения.

влагити — влѣщи, влѣкж, водити — вести, ведж, гонити — гънати, (вѣ)лазити — (вѣ)лѣсти, (вѣ)лѣзж, мжити — масти, матж, носити — нести, ходити* — прич. прош. вр. шьдъ, см. (Вайан 1952, 286).

С определенной осторожностью можно присоединить сюда:

♦ бладити* ‘блуждать; развратничать’ — блласти, бладж ‘болтать, говорить вздор’

♦ (вѣ)нозити* Супр.: гвоздиѡ остры вѣнозишѡ вѣ оунощж — (вѣ)нисти/(вѣ)нъзнжти, (вѣ)нъзж/(вѣ)нъзнж

♦ (по)разити — рѣзати, рѣжж?, ср. лит. *rėžti, rėžiu*, ‘резать, царапать, проводить борозду’; греч. *ῥήγνυμι* ‘ломаю, разрываю’ при перфекте *ἔρρωγα*

С еще большей осторожностью:

♦ скочити — * *ščešči, ščьko?*, ср. *щекотъ* (СПИ).

Эти глаголы характеризуются общими чертами:

а) наличием мотивирующей простой глагольной основы. Во всех ясных случаях мотивирующий глагол принадлежит I классу, и в подавляющем большинстве случаев к подклассу с основой инфинитива на согласный. Исключения: гънати (но женж), вѣнъзнжти (но вѣнисти), рѣзати;

б) общей для IV класса темой наст. вр. -и- и общей для IVa класса темой инфинитива -и-;

в) корневым вокализмом -о-, -а-, -ж-, свидетельствующим о качественной ступени аблаута. Она противостоит в большинстве случаев огласовке *е. При этом строго соблюдается количественное соотношение а ~ ѣ, но в трех случаях вместо о ~ е мы имеем о ~ Ø: гънати (но женж), (вѣ)нъзнжти, но ср. (вѣ)нисти (*е): см. (Крысько 1996, 25, прим. 3), шьдъ;

г) общими элементами в семантике, которые не укладываются полностью в содержание принятого термина “итератив”. Итеративность (многократность) не может проявляться в глаголах движения таким же образом, как в других глаголах, где она сводится к значению НСВ. В современном русском языке *вожу, ношу, хожу* обозначает действие, имеющее по крайней мере два маршрута. Противостоящие им глаголы, также НСВ, передают движение с одним маршрутом. Ср. *хожу туда-сюда* — *иду в кино*. При этом возвращение считается за отдельный маршрут, ср. *Каждый день ходит в кино* (с возвратом), но *Сначала идет в кино, потом в парикмахерскую и т.д.* Во французской славистической традиции такие итеративные основы принято называть неопределенными, а в славянской — моторно-кратными.

Семантическая пространственно-временная недискретность итеративов от глаголов движения (*ходит туда-сюда*) сближает их с глаголами состояния и отглагольными существительными. В то же время обязательное для этих глаголов наличие семы рекурсии может восприниматься как указание на результат действия, и это сближает данную группу с перфектом.

Перечисленные общие признаки позволяют утверждать, что мотивация в данном случае совпадает с реальной производностью, и мы имеем дело действительно со словообразовательным типом.

§ 5. Каузативы с качественным аблаутом.

(въяз)воудити* — блюсти, блюдж, (по)гасити — (оу)жаснжити (са), см. (Варбот 1984, 22), гонозити ‘освободить, спасти’ — гонезнжити ‘освободиться, спастись’¹, (но)контити* — (по)читити, (въяза)конитити* ‘сделать законом’ — (за)чатити, (за)чънж ‘начать; зачать’, (въяз)ложитити* — (въяз)лещи, (въяз)лажж, (оу)моритити* — мрѣтити, садитити* — сѣстити, саджж, (и)сжжитити ‘высушить’ — (и)сакнжитити ‘высохнуть’, точитити* — тещити, текжж.

Предположительно сюда могут быть отнесены:

- ◆ (по)гржжити — *gręznoti?, см. (ЭССЯ 1974 —, 7, 150)
- ◆ донити — *dēti?, ср. д’ѣтѧ, д’ѣва (ЭССЯ 1974 —, 5, 53–54)
- ◆ кадити — *kédēti? на основе рус. (о)чадеть ‘угореть’ (Фасмер 1987, IV, 310)
- ◆ молити — этот глагол стоит у А. Вайана вне групп. Метатеза (ср. польск. *modlić się*, чеш. *modliti se* и под. с лит. *maldyti, meldžiū*, нем. *melden* и под.), сакральное значение, отсутствие упрощения *dl в др.-словен. (*modliti se* во Фрейзингенских отрывках) и широкое распространение в христианских текстах говорят, по нашему мнению, в пользу заимствованного характера **modliti*. Однако в славянских диалектах, знавших переход *dl > l, этот глагол отождествился с исконным **moliti*, сохранившимся до наших пор только в окраинных русских говорах, со значением ‘бить скотину’. Отождествление произошло через семантическую связку ‘бить скотину’ — ‘приносить жертву’ — ‘молить (божество)’. Реликтовый глагол **moliti* был каузативом, соотносительным с **melti*, см. (Фасмер 1986, II, 642). См. иначе (Иванов 1960, 80–86)
- ◆ (рас)пждити ‘разогнать’ — *pęsti, pędę?, ср. пѧдь ж., лит. *spándyti* ‘натягивать’ — *spęsti, spëndžiū* ‘расставлять силки, ловить в западню’, см. (Фасмер 1987, III, 423)
- ◆ радити/родити* ‘заботиться, беспокоиться; родить’ — богатыи и.-е. соотносятся на корень **rādh-*, см. (Фасмер 1986–1987, III, 430), демонстрируют исключительное единство в том, что касается долготы корневого вокализма. На этом фоне странным выглядит явное преобладание в ст.-сл. форм с -род- (23 употр.); -рад- только в Мар. и Супр. —

4 употр.² А. Вайан пишет: “Глагол (не)родити является западной формой, соответствующей ст.-сл. (не)врѣщи..., возможно, моравизмом” (Вайан 1952, 61) и более определенно: “врѣже-, врѣщи... Этот глагол заменяет не родити (не радити) древних текстов евангелий, Клоцова сборника, требника; варианты последнего с ро/ра указывают на его западное происхождение” (там же, 330). В таком случае следует реконструировать *ord- и отделять славянский глагол от приведенных у М. Фасмера соответствий.

Мы принимаем этимологию О. Н. Трубачева, связывающего родити с растн, нем. *Art*, арм. *ordi* ‘сын’, хетт. *hardu-* ‘правнук’, лат. *arbor* ‘дерево’ и др., менее определенно — с рус. *радеть*, при реконструкции корня и.-е. **ǵrdh-*, псл. **ord-* (Трубачев 1957, 86–88). Рефлексация **ord-* в виде *rod-* в ю.-сл. языках не служит препятствием, т.к. регулярность ликвидной метатезы и, шире, изменений начальных групп с сонантами никогда не могла быть доказанной. Это очевидно для сочетаний **ert-*, **elt-*, но и в других случаях догматическое утверждение звуковых “законов” приводит только к невольному насилию над материалом, ср. то, что сказано в примечании о радити.

радити/родити естественно объединяются как два семантических варианта одного слова, если с учетом их классных показателей реконструировать исходное каузативное значение ‘заставлять, помогать расти’. С формальной стороны производящий глагол должен был выглядеть **ǵrdo*, *ersti*. Возможно, его производными являются ц.-сл. *редь* *brǫstc*, словен. *rediti*, *redim* ‘кормить, растить’ (Фасмер 1987, III, 490–491). Этот глагол со сложными чередованиями был заменен отъемным, не вполне правильным (бессуффиксальным) образованием **rast-o*, *rast-ti*. См. далее *растити*.

♦ *скалвити* (ска) ‘улыбаться’ — **ščьlbo*, *ščelti*? Свидетельствами существования простого глагола могли бы быть рус. диал. *щелобон* ‘насмешник, зубоскал’ (Даль), рус. простореч. *щелбан* ‘шелчок’. Ср. др.-исл. *skēlpa* ж. ‘гримаса’, буквально ‘трещина’ (Фасмер 1987, III, 641). Первоначальная семантика: ‘раскалывать’ — ‘трескаться’

♦ (о, но) *хжпити* ‘хватить; обнять’ — *šepo*, *šeti*? Мотивирующий глагол реконструируется нами по рус. междометию *шасть!* Отмеченное еще А. Лескином заимствование (междометия!) в лит. *šast* (Фасмер 1987, IV, 412) служит косвенным свидетельством древности глагола. Польск. *szastać* ‘двигать с шумом’ следует в таком случае рассматривать как заимствование из вост.-сл.

Эти глаголы характеризуются общими чертами:

а) в ясных случаях — мотивирующим глаголом I или II класса с основой инфинитива на согласный;

б) общими для IVa класса темами, нпр. *точить* — *точити*;

в) корневым вокализмом *о*, *а*, *ж*, *оу*, свидетельствующим о качественной ступени аблаута. В мотивирующих глаголах — основная ступень (**ě* или **e*); точная количественная харак-

теристика гласного в ряде случаев невозможна, поэтому не исключено, что некоторые глаголы, приведенные нами в этом списке, должны находиться в следующем, § 6; нерегулярными являются отношения *донти* — **dēti*;

г) общими элементами в семантике. Каузатив означает действие субъекта, побуждающее объект производить действие, обозначенное мотивирующим глаголом: *точити* = заставлять течь, *понти* = заставлять, позволять пить и т.д. Такие семантические определения не совпадают со словарными, но их обоснованность видна из примеров: *і дажди ми гї . очима моима слъзы точити* (Старославянский словарь 1994, 699); *оцѣта напокиѣ бысть* (там же, 468) и под. Семантике каузативов присуща скрытая результативность: действие объекта является результатом действия субъекта. Это связывает по значению каузативы с перфектом.

Перечисленные общие признаки являются достаточным основанием определить данную группу как словообразовательный тип.

§ 6. Каузативы с количественным аблаутом.

(из)бавити — быти, (въз)боудити* — бѣдѣти, валити (сѧ) — вѣлати (сѧ), варити* 'готовить' — вѣрѣти 'кипеть', волити* — (до)вѣлѣти, вратити (сѧ)* — вѣртѣти (сѧ), (въ)вѣсити — висѣти, годити* — жьдати, грабити* — грети, гревж, гоубити — гыбнѣти, (за)доушити (сѧ)* — дыхати, дышж, жалити* — желѣти, казити 'портить, кастрировать' — (и)щезнѣти, (вѣс)крѣсити — (вѣс)крѣснѣти, (при)лѣпити — (при)льпѣти, мразити* — мрѣзѣти, (о)мрачити* — мрѣкнѣти, (сѣ)мѣжити — (по)мишати 'мигать', палити — полѣти, парити 'летать' — пѣрати, перж 'парить, возноситься', понти — пити, свѣтити* — свѣтѣти (сѧ), славити* — слоути 'слыть', (о)смрадити* 'окутать зловонием' — смрѣдѣти 'испускать зловоние', (оу)стоудити* — стыдѣти (сѧ), (оу)толити 'убедить и др.' — тѣлѣти 'разрушаться', оучити — выкнѣти.

Комментарии к отдельным глаголам:

♦валити (сѧ) 'катиться' — вѣлати (сѧ) 'качаться'. Установлено А. Мейе, см. (Фасмер 1986, I, 268). Реконструкция инфинитива вѣлаати, так (Старославянский словарь 1994, 144), не кажется для ст.-сл. языка обязательной. Она, видимо, производится на основе форм типа рус. ц.-сл. *влаание* (СРЯ, 2, 224) и более поздних (там же). Сам тип *даати*, *лаати*, (по)маати, ц.-сл. *граати* и под. выглядит как вторичный [ср. датн. *латель*, (на)мановенне, *граати*].

Принятая сейчас, вслед за Э. Лиденом, реконструкция псл. **vьlati* (см., напр., Варбот 1984, 110), также отвергается нами. Лиден в духе времени преувеличил регулярность славянских рефлексов начальных сочетаний с сонорными; в настоящее время очевидно, что такая регулярность часто отсутствует; это неизбежно в позиции, где смысловоразличительная функция фонемы сложно пересекается с делимитативной. Итак, реконструируем *вълѣти* < **(u)ul-a-ti*

♦ *волити* — (до) *вълѣти*. Отнесение непосредственно к *вълѣти* нецелесообразно вследствие нехарактерности вокализма этого глагола для того класса, к которому он принадлежит. А. Мейе реконструировал в качестве производящего атематический глагол. См. (Фасмер 1986, I, 288)

♦ (оу) *толити* ‘убедить и др.’ — *тълѣти* ‘разрушаться’. См. (Варбот 1984, 35) с анализом семантики.

К этому типу предположительно могут быть отнесены:

♦ (о) *ворити* ‘разрушить, снести’ — *верж, вьрати?* Отношения лат. *ferio* ‘бью, рублю, колю’ — *fero* ‘несу’
оворж ‘разрушу, снесу’ — *верж* ‘собираю’

могут быть поняты как каузативные, если для *fero* мы реконструируем значение ‘несу (дань)’, ср. др.-инд. *bhṛtiṣ* ‘несение, содержание, вознаграждение’

♦ *вавити* ‘привлекать, манить’ — **jebō, jeti* ‘*futuere*’? Семантически *вавити* может служить каузативом к глаголу со значением ‘*futuere*’. В таком случае это вторичное славянское образование с оценкой **j-* как протезы и его заменой перед **ō* через **v*. Ср. **(v)ajьse, (v)atra* (ЭССЯ 1974 —, I, 63, 91–93). Гот. *wōpjan* ‘*exclamare*’ следует тогда рассматривать как заимствование охотничьего термина из славянского. Отметим попутно, что указываемое М. Фасмером (1986, I, 263) др.-рус. *вабии* ‘свояк’ отсутствует в словарях др.-рус. языка. (Преображенский 1959, I, 61) приводит *вабий* ‘зять’ без указания источника

♦ *варити* ‘обогнать, опередить’, ‘застигнуть’ — **verō, vrēti?* Считается каузативом к утраченному глаголу, отраженному в лтш. *veru, vert* ‘бежать’ (Варбот 1984, 19, 22). Сходный глагол в приставочных формах зафиксирован в ст.-сл.: *въврѣти, проврѣшѣ* Супр., основа наст. вр. не засвидетельствована (Фасмер 1986–1987, I, 293), но он имеет другое значение

♦ *давити* — ‘душить’ — *дъме-/доути* (Вайан 1952, 334; Крысько 1996, 28)? О. Н. Трубочев (ЭССЯ 1974 —, 4, 199) характеризует *давити* как каузатив без указания соотносительного глагола. Структура проста: **dōu-ei-tei* и относит к глаголу, который А. Вайан называет “неправильным” и который явно супплетивен по образованию. Детали морфологического развития неясны. В (Старославянский словарь 1994) реконструируется инфинитив *дѣти*, видимо, на основе польск. *dać*. В отношении значения интересно, что *давити* — “отрицательный” каузатив: ‘не давать дышать’. Образованная позднее пара *доушити* ~ *дыхати* унаследовала эту специфическую семантику

- ◆ **дровити** — **drǔbēti?*, ср. рус. диал. *дробеть*, лит. *drebù, drebėti* ‘дрожать’
- ◆ **(о)зарити*** — **зърѣти** ‘смотреть’? См. (Варбот 1984, 31). Для **озарити** реконструируется первоначальное значение ‘делать видимым’
- ◆ **(съ)зорити** ‘довести до зрелости’ — незасвид. ***зърѣти** ‘созревать’, ср. **зърѣль** прил.
- ◆ **(по)каанити (са)/клонити (са)** — **клянж, клати?** О. Н. Трубачев (ЭССЯ 1974 —, 10, 67–68) настаивает на родстве с **-sloniti* и соответственно воспринимает как глагол движения, отсюда характеристика “итератива-дуратива”. Принимая семантическую гипотезу А. Брюкнера (см. там же), реконструируем исходное значение ‘обеспечивать верность дарением’, см. словен. *klóniti* ‘предоставлять, преподносить, дарить’, и каузативные отношения
- ◆ **клатити** ‘качать, колебать’ — **kǔltati?* См. (Sławski 1952, II, 147)
- ◆ **корити** ‘хулить, оскорблять’ — ср. рус. диал. (пск.) *кырнуть* ‘пропасть, утратиться’. См. (ЭССЯ 1974 —, 13, 235), другие значения заглавного слова **kǔrŋoti* могут восходить к другим корням (см. там же, 236)
- ◆ **(съ)кроушити** — **krǔchati?* Ср. схв. *kǔchati*, словен. *krhati*, польск. *krychać* (Варбот 1984, 106), также рус. диал. (олон.) *крохатъ* ‘кропать, починивать(?)’ (СРНГ 1965, 15, 286)
- ◆ **коудити** ‘порицать, хулить’ — **(ис)кыдати** ‘выбросить’, рус. *кинуть, кинуться* ‘побежать’? Ср. др.-инд. *śōdayati* ‘подгоняет, теснит’ — *skūndate* ‘спешит’
- ◆ **коурити (са)** — **kyrŋoti?*, ср. рус. простореч. *кырнуть* ‘выпить (об алкоголе)’. *Кирять* сближает с *курить* О. Н. Трубачев (ЭССЯ 1974 —, 13, 268)
- ◆ **ловити*** — **lynŋo, lynŋoti?* Ср. рус. *лынь* ‘лентяй’, *лынять, отлынивать*, болг. *линкам* ‘бродить; скитаться без работы’. См. (Варбот 1984, 145), которая относит эти слова к корню **lut-/lyt-*
- ◆ **ломити** — **lǔmo, lemti?* Ф. Славский (Sławski 1952, V, 176–177) рассматривает как каузатив к корню **lem-*: в.-луж. *lemić* ‘ломать’, ц.-сл. *лемешь* ‘плуг’. Ср. лит. *lāmyti, -ija* ‘ломать, крушить’ — лит. (жем.) *līmstu, līmti* ‘ломаться’, также лтш. *limt* ‘пригибаться под тяжелой ношей’. Если допустить препозицию вставного элемента при сонанте в нулевой ступени, как мы это делали с **вѣлати**, то следами реконструированного глагола будут еще **jǔlmtь* ‘дерево Ulmus’ и с характерной для вост.-сл. веларизацией **vǔlmtь*: *волмина* ‘ивняк?’, *волмяжник* ‘гриб *Lactarius torminosus*, волнушка³’ — и гриб, и дерево известны своей ломкостью. См. с другой реконструкцией и другой — и.-е. — этимологией (ЭССЯ 1974 —, 8, 222–223)
- ◆ **мѣсити** — **mǔsti?* Ср. рус. диал. *мститъся* ‘казаться, мерещиться, чудиться’; [сниться?]; “забыться” [?] (СРНГ 1965, 18, 328). Каузативные отношения наблюдаются в лит. *maišyti, maišaũ* ‘мешать’ — *mīšti* ‘мешаться’, в др.-инд. *mēṣayati* ‘помешивает, мешает’ — *miṣrás* ‘смешанный’

♦(из)ноури́ти ‘захватить, похитить’, (и́рѣиз)ноури́ти ‘причинить вред’ — **nyrnōti?*, ср. др.-рус. *нырнути* ‘шмыгнуть, юркнуть; быстро исчезнуть из виду, прячась, скрываясь куда-л.’ (СРЯ, 11, 452). На этой основе реконструируются семантические отношения: ‘преследовать’ — ‘скрываться’

♦и́ндити, ноу- * ‘угнетать’ — **nydo, nysti?*, ср. рус. диал. *И ныдим, и ныдим целый день, ну ворчит* (СРНГ 1965, 21, 321). Каузативные отношения наблюдаются в др.-инд. *nōdayati* ‘погоняет, торопит’ — *nudāti* ‘отталкивает, прогоняет’, гот. *naufjs* ж. ‘нужда, желание’, *naufjan* ‘заставлять’ — др.-в.-нем. *niot, niet* м. ‘острое желание’, др.-прусск. *nautei* дат.ед. ‘нужда’ — лит. *panūsti, panūstu, panūdau* ‘затосковать по ч.-л.’ К выбору фонетической формы см. (Крысько 1996, 28)

♦орити ‘соблазнять’ — **jьrō, jьrti?* К первоначальному значению см. др.-рус. *оритель* ‘разрушитель’, *орити* ‘разрушать’ (СРЯ, 13, 68). Каузативные отношения реконструируются на основе лит. *ardyti* ‘разделять’ — *uru, irti* ‘распадаться, распарываться’. Незафиксированный слав. глагол, возможно, сохранился в рус. *ёра* ‘задира’, *ёрник* ‘то же’, см. А. И. Соболевский в (Фасмер 1986, II, 21)

♦просити — **prisъiti?* Ср. др.-рус. ... *Поблизку присъли многие орды* (СРЯ, 20, 12). Более подробно см. на *prisътити* ‘посетить’ ниже. Правильные формальные отношения в лит. *prašaũ, prašyti* ‘требовать, просить’ — *peršũ, piřsti* ‘сватать’, лат. *procus* ‘жених’ — *precor* ‘просить’, авест. *frasa* м. ‘вопрос’ — др.-инд. *prcchati* ‘спрашивает’

♦роушити — **ryšeti?* Ср. лит. *raišti, rausiũ, rausiaũ* ‘рыть, копать’ — *raišeti* ‘быть деятельным’. Псл. **ryšeti* реконструируется по рус. **рьша* ‘название реки’ > *Орша*, которое К. Буга (Преображенский 1959, II, 225) связывал с *русло*. В свою очередь Р. Ф. Брандт сближал *русло* с *рушить*. М. Фасмер (1987, III, 521) сопоставляет *русло* с лит. *rusėti* ‘течь’, *rusnōti* ‘медленно течь’. Возможно, *rusėti* — фонетический вариант к *raišeti*, отвлечение от *rusnōti*, где переход **s* > *š* не происходил перед согласным, как нет перехода **s* > *ch* > *š* в *русло*. Эти глаголы могут быть родственными вышеприведенным. В свою очередь (Варбот 1984, 88–89) реконструирует **rychnōti* или **ryšati* на основе рус., болг., чеш. параллелей

♦рѣшити ‘развязывать, освобождать’ — **rychō, risti?* Ср. лит. *raišyti, raišaiũ* ‘завязывать, связывать, развязывать’ — *rīsti, rišũ* ‘завязывать’. О. Н. Трубочев называет *рехнуться* “экспрессивным образованием” от *решить* (Фасмер 1987, III, 477), по-видимому, на основе оборота *решиться ума*. Действительно, исконный глагол сохранил бы перед согласным **s*. Реконструируем **rychō* по рус. простореч. *рѣха* ‘простофиля’ < **рьха*

♦скопити (сѧ) — **ščipnō, ščipnōti?* Ср. рус. *щипнуть*. К значению см. укр. *щипка* ‘шипок, кусок’. Первоначальные семантические отношения: ‘откалывать’ — ‘раскалываться’

♦ставити — *стоитати?* Обычно производят от **stavъ* (Фасмер 1987, III, 742). По значению — явный каузатив к *стоитати*. Возможно, вторично вошло в соответствующую модель

♦ (въ)стаапити ‘укротить, смирить’ — **stǫlpjo, stǫlpēti?* Ср. др.-рус. (XV.П в.) *остолпѣти* ‘стать неподвижным’ (СРЯ, 13, 153). Имеет место также деноминатив *остолпнѣти* ‘окружить стеной’ (там же)

♦ (о)сѣннѣти* — **sinjo, siněti?* *Синеть, синий* связано с *сиять*. Если наше сопоставление верно, *осѣннѣти* — “отрицательный” каузатив типа *доушнѣти*

♦ творити* — **-tvbro, -tverti?*, которое Ж. Ж. Варбот реконструирует на основе рус. диал. *твирь* ‘створка’ (Варбот 1984, 87). В связи с лит. *tvárstyti* ‘перевязывать’ — *tvėrti* ‘схватить’, *turėti* ‘иметь’ представляет интерес рус. простореч. *тырпуть* (?), *тыреть* (?) ‘воровать’. Но первоначальные семантические отношения остаются неясными

♦ (рас)тонити ‘расплавить’ — (ис)тѣнж, *(ис)тѣнжѣти *‘рассыпаться’. Предполагаемое соответствие к каузативу отмечено 1 раз в Син.пс.: *истѣнж ѡ тѣко прѣдъ лицемъ вѣтра*, связано авторами (Старославянский словарь 1994) с *тѣнжкъ* ‘тонкий’ и истолковано ‘истончить, уменьшить, уничтожить’ (греч. соотв. *λεπτύνειν*). Но глагол *истѣннѣти* (так в Старославянский словарь 1994) должен иметь форму 1 л. ед. ч. наст. вр. -*тѣнж*. Реконструируем *истѣнж, истѣнжѣти* ‘рассыпаться’

♦ трошити ‘рассеивать, расточать’ — **trьchno, trьchnoti?* Ср. рус. ц.-сл. *трѣхѣтъ* ‘кроха, мелкая монета’ (Срезневский 1989, III, 1014). Сюда же, видимо, рус. *тряхнуть*, польск. *trząchnąć* (вокализм под влиянием *трясу*)

♦ тѣщити ‘извергать пену (об эпилептиках)’ — **tskno, tsknoti*, ц.-сл. *тиснѣти* (Фасмер 1987, IV, 62)? Может быть связано формально при отсутствии ясных семантических отношений. Собственно, вышеприведенное значение имеет оборот *тѣщити пены*, определение значения самого глагола затруднительно. В (Срезневский 1989, III, 1096) три значения, из них первое ‘сжимать’. На *тискати* (*тиснѣти* отсутствует) И. И. Срезневский приводит короткий контекст: *Аки губе тищеме!* Пил. 1494 г. Если это сравнение, то оно может быть понято: ‘как губы стискиваемся, сжимаемся’

♦ (въ)хвѣтити (нс-, по-) ‘похитить; выхватить; схватить’ — **chytno, chytnoti?* Мотивирующий глагол Ж. Ж. Варбот (1984, 145) реконструирует по блр. диал. *абхінацца* ‘укутываться’. Сюда же рус. диал. *хитнуться* ‘шевелинуться’ (у М. Шолохова, см. Фасмер 1987, IV, 240)

♦ (о)щютити* ‘ощутить’ — **-jьtno, -jьtnoti?* Ср. рус. *очнуться*. Невозможность в псл. языке **j* не на стыке морфем заставляет предполагать членение **ot-juliti*, см. (Фасмер 1987, III, 179). Ср. лит. *jaũčiũ, jaũsti* ‘чувствовать’ — *juntũ, jũsti* ‘ощутить’, но лит. *jaũsti* не относится к -у- глаголам. Каузативная семантика проявляется из польск. *cucić* ‘будить’ = ‘заставлять очнуться’.

♦ (рас)цѣпити ‘расщепить, разделить’ — ? Сравнивают с лтш. *kaipt, -stu* ‘процветать, выдерживать’ — *aiz-cipt, -cipi* ‘застрять’ (Фасмер 1987, IV, 299), которые сами находятся между собой в нерегулярных семантических отношениях. З. Голомб (Gołab 1968, 9) относит как каузатив к **šćьpēti/šćьpnoŋi*, ср. рус. *щипнуть*, которое мы выше отнесли к *скопнѣти*

Перечисленные глаголы характеризуются общими чертами:

а) в ясных случаях — наличием в ст.-сл. мотивирующей глагольной основы, которая может относиться к любому классу, но преобладают основы инфинитива на согл.: **грети**, **гывнѣти** (как и в предыдущем типе) или на **-ѣ**: **бѣдѣти** (в отличие от предыдущего);

б) общими для IVa класса темами: **(из)бавитѣ** — **(из)бавити**;

в) вокализмом корня **а**, **оу**, **о**, **ѣ**, свидетельствующим о качественной ступени аблаута (**o* или **ō*). Ей противостоит в мотивирующем глаголе нулевая ступень или — иногда — нормальная ступень; в последнем случае в производном глаголе отмечается долгота (**ō* > *a*). Т.о., налицо два подтипа морфонологического соответствия: **ō*, *ō* — ∅ и **ō* — **ě*, *ō*. Отсутствие в материале вокализма **ж** подтверждает сказанное выше о возможной потере информации о долготе в сочетаниях с носовыми согласными;

г) по семантике группа совпадает с предыдущей.

Несмотря на большую разнородность, нежели в предыдущих случаях, группа составляет словообразовательный тип, который в посл. эпоху характеризовался, по-видимому, продуктивностью (ср. **палити** — **полѣти**, **(при)лѣпити** — **(при)льпѣти**). Данный тип является производным от предыдущего, ср. **(вѣз)боудити** — **блѣсти** и **бѣдѣти**. Ю. Г. Курилович в разных работах по-разному описывает механизм замены качественного аблаута на количественный, см. подробное изложение: (Варбот 1984, 14–17).

§ 7. Следующая группа выделяется условно, на основе небольшого количества примеров. Мы предполагаем здесь **вторичные каузативы** агглютинативного образования.

Прежде всего это **♦растити** ‘родить (о земле), плодоносить’. Образовано от **расти** (ср. Sławski 1952, II, 272) или супина **растѣ** как форм именного употребления, чтобы заменить первоначальный каузатив **ра/родити** (см. выше), отошедший от **расти** по форме и значению.

♦**(вѣз)гнѣтити** ‘разжечь (огонь)’. Этот глагол не имеет ясной этимологии (Фасмер 1986, I, 421; ЭССЯ 1974 —, 6, 168). Допустимо производить его от **gnēti* — глагола состояния IVb класса с закономерной нулевой ступенью в корне — ср. **огнь** с качественной ступенью. Нулевая ступень представлена в вост.-лит. *u̇gnis* и, м.б., в лат. *ignis*, так (Трубачев 1987, 853–854). Предшествующий каузатив **ogniti* как будто бы подтверждается

др.-рус. лексемой *огнищанинъ* (Срезневский 1989, II, 603). См. более подробно (Кудрявцев 1998). Глагол **gnēti* с другой структурой реконструировался и раньше, см. (Откупщиков 1967, 119, 144–145). Возражения Ю. В. Откупщикова В. В. Мартынову по поводу этимологии *гнев* (там же, 145, прим. 77) при нашем решении снимаются

♦ *прѣтѣти* ‘грозить, угрожать; укорять, убеждать; приказывать и др.’ Имеющаяся этимология, см. (Фасмер 1987, III, 361) — к **prĕkь* — означает признание вторичного чередования на морфолого-семантической основе. Не является ли ст.-сл. *прѣтѣти* производным от *прѣти*, *пърж* ‘спорить’, отсутствующего в (Старославянский словарь 1994), вернее, объединенного с деноминативом *пърѣти*, *пърж* (от *пърѣ*), но реально присутствующего в Супр., что видно по примеру *не пърж* Супр. 495, 4 (Старославянский словарь 1994, 558)? В этом случае каузатив имеет отрицательное значение: ‘приказывать’ = не позволять спорить, возможность чего подтверждается русской парой *душить* — *дышать*

♦ *присѣтѣти* ‘посетить’. Как отмечено выше, простым глаголом к кауз. *просити* должно было являться **присѣти*. В связи с обобщением значения *просити* ‘просить в гости’ > ‘просить’ возникает, предположительно, новый глагол *присѣтѣти*, каузативное значение которого быстро стирается, хотя в таких контекстах, как *приходитъ на присѣщенье* (на приглашение? для посещения?) *его* (греч. соответ. нет) Супр. 555, 2 (Старославянский словарь 1994, 512), семантическая оппозиция просто не может быть реализована. Разделение *присѣтѣти* и *посѣтѣти* может показаться неоправданным, но первый глагол и существительное по нему встречаются только в Супр. (соотв. 1 и 5 раз) наряду с *посѣтѣти*, *посѣщеник*, тогда как в других текстах (в восьми, т.е. достаточно широко) отмечены лишь образования с *посѣтѣти*⁴

Если этот тип действительно существовал, то для него характерен одинаковый способ отглагольного производства, естественно без аблаута, общие для IVa кл. темы (-и-, -и-) и общее значение каузатива: ‘заставлять расти’, ‘разжигать огонь’, ‘не позволять спорить’, **‘приглашать в гости’*.

§ 8. “**Нон-девербативы**”⁵. Это самый распространенный в данном классе тип. К нему принадлежат 233 глагольных основы, образованные от сущ., прил., мест., нар., зафиксированных в (Старославянский словарь 1994). Перечислить их здесь было бы затруднительно. Приведем только небольшую статистику: от сущ.

на **o*, *ы* — 78 основ, в т.ч. от neutra — 8; от сущ. на **a* — 43 основы, в т.ч. от masculina — 1; от сущ., имеющих варианты по обоим склонениям *блaзнѣ/блaзна*, *стѣпѣ/стѣпа* — 2; от сущ. на **i* — 18 основ; от сущ. на **и* и согл. — 9; от сущ. pl. tant. — 3 основы; от прил. — 69 основ, в т.ч. от мест. — 1, от счетн. — 1; от местоимений — 3 основы и от наречий — 8 основ.

Эти глаголы характеризуются:

а) производностью (доказываемой такими случаями как (по)хризмити — хризма, впрочем немногочисленными) от неглагольных основ, выступающих в свободном виде в ст.-сл. языке;

б) общими для IVa класса темами;

в) аблаутной характеристикой, заключающейся в воспроизведении в глаголе вокализма производящей основы независимо от его (глагола) собственного характера. Исключения: *тѣшити* от *тихъ* наряду с *тишити*, *цѣстити* от *чистъ* наряду с *чистити*;

г) эти глаголы обычно переходные и имеют значение ‘снабдить чем, сделать каким’. Ср. (о)каменити ‘сделать как камень’; (о)камѣнити ‘сделать каменным’; (о)градити ‘снабдить оградой’, ‘сделать городом’; (вѣн-, вѣ-)оушити ‘услышать’ (Старославянский словарь 1994, 146), т.е. ‘сделать услышанным’. Т.о., в своей семантической структуре они имеют семы результативности (что сближает эти глаголы с перфектом) и/или состояния, что в свою очередь сближает их со стативами IVб класса.

Наш анализ показал, что 233 беспривагочных глагольных основы IVa класса в старославянском языке связаны отношениями производности с неглагольными основами, зафиксированными в корпусе канонических текстов. 92 основы мотивированы глаголами, из них 29 имеют двойную мотивацию, глагольную и неглагольную. Т.о., на 296 производных основ этого класса приходится менее 50 таких, у которых производность не выявлена. Иначе говоря, подавляющее большинство глаголов этого класса синхронно производны. Правда, при анализе отглагольных словообразовательных типов мы использовали не только материал ст.-сл. языка, но и более поздние славянские данные. Но, с другой стороны, следует учитывать, что непривагочный “остаток” мог в значительной степени образоваться за счет неполноты отражения живого ст.-сл. языка в небольшом корпусе сохранившихся до нашего времени текстов.

Совокупность данных показывает, что IVa класс не является в старославянском языке формальной категорией, а представляет из себя семью словообразовательных типов, в которых вокализм

корня и (многозначная) тематическая гласная служат средствами выражения определенных грамматических (или, точнее, словообразовательных) значений.

§ 9. Первым двум типам соответствует в индоиранских, греческом, германских, кельтских, итальянских и балтийских языках т.н. итеративно-каузативный тип, см. (Семереньи 1980, 293–295).

Соответствие осуществляется в формах настоящего времени по вокализму корня, по семантике и по наличию суффикса **-eyo/eye*. (Мейе 1951, 190) в специальном параграфе подчеркивает прекрасную сохранность и.-е. состояния в славянском в том, что касается вокализма корня данных глаголов. Расхождение с большинством и.-е. языков заключается в том, что в славянском (и, вероятно, в балтийском) суффикс выступает с нулевой степенью в одном из слогов: **-yo-* (**chodjo* **ХОЖДИЖ**) ~ **-ey-* (**chodejši* **ХОДИШИ**). Ср. лат. *monēō*, греч. *φοβέω*. В этом отношении славянские глаголы совпадают с и.-е. типа лат. *speciō*, др.-инд. *raṣyāti*, греч. *σκεπτομαι*. Но данный и.-е. тип не является производным (суффикс **-eyo* здесь только способ образования основы настоящего времени) и не характеризуется корневым вокализмом **o*. В сущности этот и.-е. тип совпадает со слав. III кл., когда он имеет в наст. вр. вокализм **e*: в этом слав. классе претерит не содержит суффикса **-eyo*, т.е. суффикс также является способом образования основы наст. вр. — **ЧЕШИЖ**, **ЧЕСАТИ**.

Само по себе чередование ступеней по “правилу слабых еров” (или по правилу вокализации *e* тует, что в структурном отношении одно и то же) вполне естественно, см. (Шмальштиг 1988, 262–330), и на этом фоне формы других и.-е. языков выглядят скорее выравненными, но принято считать именно (балто-) славянские формы отклоняющимися от нормы, см. (Семереньи 1980, 292–295).

Аналогично обстоит дело с пятым типом. О. Семереньи сравнивает многочисленные “деноминативы” типа лат. *albeō*, греч. *τιμᾶω*, др.-инд. *śātrūyāti*, гот. *namnjan* (там же, 294) со славянским IIIа классом **ОУМЪТИ**, **ОУМЪЖ**. Однако при таком сопоставлении остается неясным **-ѣ-**; не менее важно, что соответствующий славянский класс специализирован: “Этот продуктивный тип дает производные образования от имен прилагательных” (Вайан 1952, 291, несмотря на исключения, см. 292), что дает основание думать, что в нем мы имеем дело с суффиксом сравнительной степени. Часть глаголов этого и.-е. типа, а именно с темой **a* (подтип *τιμᾶω*) может быть сопоставлена со слав. типом **РАБОТАЖ**, **РАБОТАТИ**, но это невозможно для имеющих тему **e*. Правильнее всего будет все глаголы данного типа сопоставлять со славянскими “нон-

девербативами" IVa класса; проблема реализации ступеней в суффиксе не отличается от той, которую мы наблюдаем в итеративном и каузативном типах.

Относительно третьего типа можно сказать, что образование каузатива путем количественного аблаута имеет место, ср. др.-в.-нем. *fuoren ~ faran*, др.-инд. *svārayati ~ svar-*, греч. *πᾶλομαι ~ πέλομαι* (Семереньи 1980, 291). Но Ю. Г. Курилович считает эти факты развившимися самостоятельно независимо друг от друга в разных языках (Kuryłowicz 1956, 325).

В целом славянский IVa класс сохраняет и.-е. наследие или развивает тенденции, основания для которых имелись уже в и.-е. период.

§ 10. **Происхождение претеритного -и-**. Как это видно из и.-е. материала, первоначально суффикс **-eyo/eye* служил для образования форм наст. вр. Это хорошо видно и в славянском, где в IVб и III классах его рефлекс обнаруживается только в основе наст. вр. По семантике все эти глаголы объединяются, если можно так сказать, отрицательным единством — они обозначают не простое действие, состоящее из одного акта, а либо состояние/изменение состояния (**оумѣти/оградити**), либо двойное действие (**гънати, ходити**), либо действие, состоящее по своей природе из многократно повторяемых элементарных актов (**чесати, тесати, ходити**).

То., требует объяснения **-и-**, выступающее в IVa классе в формах аориста и инфинитива. Оно тем более заслуживает внимания, что в IVб и III классах мы имеем в этих формах **-ѣ-** и **-а-**, очевидно не связанные по происхождению с суффиксом **-eyo/eye*. Генетическое различие двух **-и-**, в наст. вр. и в инфинитиве, доказывалось различием интонации (Мейе 1951, 191).

Радикальным выходом является введение в реконструкцию палатальных ларингалов (Diver 1959, 110–122; Puhvel 1960). Мы попытаемся дать славянскому факту морфологическое объяснение.

Ю. Г. Курилович обратил внимание на сходство IV класса: **мънитѣ** < **mineitŭ* (и литовского *mīni* < **minie* < **minei*) с медиальным перфектом на **-i* с нулевой огласовкой корня и сделал вывод о том, что спряжение наст.вр. IV кл. развертывалось заново на базе формы 3-го л. ед. ч. медиального перфекта (Kuryłowicz 1964, 81–83).

Идея развертывания парадигмы на основе одной из форм, обычно 3-го л. ед. ч., внедрена польскими лингвистами. Наглядным примером такой возможности выступает развитие в польском спряжения *jestem, jesteś, jesteśmy, jesteście* на основе *jest*.

Эта идея сейчас общепризнанна в индоевропеистике (К. Уоткинс, Ф. Бадер; специально для славянских глаголов IV класса ее принимают (Семереньи 1980, 295; Шмальштиг 1988, 274).

Однако для наст. вр. этих глаголов достаточным объяснением является принятие синтагматического чередования ступеней в суффиксе **-eyo/eye*, так (Шмальштиг 1988). Сходство же с определенным типом перфекта, на наш взгляд, рациональнее использовать для объяснения форм “аориста” IVа класса. Большинство этих форм представляют собой сигматический аорист, основа которого совпадает с изолированной формой 2–3-го л. ед. ч., нпр. *ходи, ходихъ*. Никаких следов простого аориста для глаголов данного класса не существует. Изолированная же форма *ходи* легко сопоставляется с формой древнелатинского перфекта на *-eit*, где *-e-* — первоначальное окончание, ср. греч. *-ε, -i-* — показатель “*hic et nunc*”, а *-t* присоединено по образцу форм с “первичным” окончанием.

Семантика итеративов, каузативов и фактитивов плохо сочетается с идеей точного действия, лежащей в основе аориста. Поэтому нет ничего странного в предположении, что первоначально данная форма вообще им не обладала, а функцию прошедшего времени принимал на себя перфект. Выше мы старались показать наличие сем результативности и состояния, характерных для разного употребления перфекта, в глаголах IVа класса.

В период, когда еще не возник славянский имперфект, в праславянском действовала единая система прошедшего времени, оттенки семантики которого зависели не от формы времени, а от значения глагольной основы. Хорошо известно, что члены этой системы разнородны по происхождению — сюда вошли старые формы аориста, но также сигматические формы с (первоначально) неясной функцией. Могли войти в нее и старые формы перфекта. *ходи* представляло из себя внешне удобную форму для развития на ее базе вторичных форм сигматического аориста.

Возможность сближения с латинским вытекает из трех фактов. 1. Единственная бесспорно установленная форма славянского перфекта — *вѣдѣ* — образована именно по латинскому типу < **wojdaĭ*. Реконструкция **wojđēm* маловероятна (Семереньи 1980, 308). 2. В латинском нет аориста, но исторический перфект похож на славянский аорист тем, что в нем объединились формы разнородного происхождения, в том числе сигматические. 3. Латинский язык противопоставляет каузативный (фактитивный) тип на *-eō/ēre* с огласовкой **o* (II спр.) типу на *iō/ēre* (IV спр.) с огласовками **a* и **i* (Эрну 1950, 179). Это различие, если принять,

что $o = *Ø$ (см. ниже), соответствует различию слав. IVa и III классов.

Для и.-е. перфекта реконструируется качественная ступень аблаута в единственном числе (Семереньи 1980, 310). Форма типа *ходн* совпадает по корневому гласному с предполагаемым ед. ч. перфекта.

Наличие тематической гласной *-и- < *ei* в обеих временных основах должно было привести к ее проникновению и в формы инфинитива. Действительно, в исторический период мы наблюдаем полное единство форм основы у глаголов IVa класса: *гонитъ — гони — гонити*.

До сих пор мы ничего не говорили о соотношении славянских фактов с балтийскими. В балтийском итеративно-каузативный и “деноминагивный” типы существуют. При тождестве семантики и аблаутной характеристики корня они, однако, очень далеки от славянских в спряжении. Единственная форма, в которой обнаруживаются ясные следы суффикса **-eyo/eye*, это форма I л. ед. ч., причем не настоящего вр., а претерита (лит. *mačiaũ*). В остальных формах палатализация отсутствует. 3 л. ед. ч. претерита похоже на слав. глаголы IVб класса: *mātē - мьнѣ*. Настоящее время *mataũ, māto*, по общему мнению, перестроено. Наконец, в инфинитиве тематическая гласная находится на нулевой ступени: *matyti*. Как согласовать эти факты с вышеописанной славянской реконструкцией?

В лит. в этих глаголах отсутствуют следы и.-е. перфекта. Сходство *matē — мьнѣ* иллюзорно. На деле парадигма претерита *mačiaũ — mateĩ — mātē* может восходить к наст. вр. со стяжениями в суффиксе **-eyo/eye*, характерными для многих и.-е. языков, и с частичной перестройкой 1 и 2-го лиц. Изменение функции наст. вр. объяснимо тем, что данные глаголы в связи со своей семантической спецификой вообще не имели первоначально прошедшего времени. В то же время в балтийском, по-видимому, их настоящее время имело конкурентные формы с близкой или тождественной семантикой: с суффиксом **-eyo/eye* (=слав. IV и наст. вр. III класса) и с суффиксом **-a* (=слав. “аористу” III класса). Произошедшее позднее распределение временных функций было в литовских глаголах типа *matyti* прямо противоположно по направлению славянскому III классу. Изложенная гипотеза нуждается в подтверждениях, но она помогает понять, почему в литовском парадигма *-au, -ai, -o* используется в одном классе для оформления претерита, а в другом — для оформления наст. вр. (*sukaĩ, sukaĩ, suko*).

Эти предположения наталкиваются на тот факт, что субпарадигма типа *mačiaũ*, которая имеется и в I литовском спряжении (*ariaũ, areĩ, ąrė*), всегда служит для выражения претерита и никогда — наст. вр. Впрочем, в лит. и лтш. дайнах, как известно, формы этой субпарадигмы используются в значении наст. вр. (Перельмутер 1977, 107).

§ 11. **Распределение ступеней аблаута.** В. Шмальштиг предложил реконструировать и.-е. нулевую ступень по “правилу слабых еров”. Детали реконструкции допускают, разумеется, уточнения.

Материал славянского глагола интересен тем, что он демонстрирует, при минимальной реконструкции и при определенном понимании качественной ступени аблаута, распределение нулевых ступеней, чрезвычайно близкое к предполагаемому исходному.

(Гамкрелидзе, Иванов 1984, 152–157) установили для определенной группы и.-е. глагольных корней дополнительную дистрибуцию нулевой и качественной ступени в зависимости от способа образования корневых согласных. На этом основании они сделали вывод о первоначальном тождестве данных ступеней и о развитии качественной из нулевой. Другую концепцию качественной ступени предложил В. Маньчак. Еще в работе (Baudouin 1894, 45–57) Бодуэн, основываясь на типологических сопоставлениях, установил связь перехода **e > o* с контекстным влиянием. Развивая эту мысль, В. Маньчак (Mańczak 1960, 277–287) утверждает, что ступень **o* происходит из основной ступени в определенной фонетической позиции. Для некоторых случаев флективного **o* данное объяснение выглядит правдоподобным, см. (Семереньи 1980, 137, 266). Предположим, что и.-е. **o* гетерогенно и в корневых слогах отражает первоначальную нулевую ступень, а в формальных элементах возникало непосредственно из **e*. Посмотрим, как выглядит в таком случае структура ст.-сл. глагольных основ соответственно наиболее вероятным аблаутным реконструкциям для каждого класса (Таблица 1).

Поскольку в IV классе остальные формы имели в корне нулевую ступень, ее появление в I-м л. ед. ч. легко объяснимо морфологическим выравниванием. Формы типа **тече** могут быть неисконными, ср. инфинитив **теци** < **tek-ti*. Но наст. вр. I кл. тематическим инфинитивом остается необъясненным.

В. Шмальштиг строит свою реконструкцию на ряде допущений, из которых самым сильным является, по-видимому, и.-е. характер монофтонгизации **ey, oy*. Окончательное утверждение

Таблица 1

класс	Соответствует "правилу слабых еров"			Не соответствует "правилу слабых еров"		
	наст. вр.			наст. вр.		
	1 л. ед.	3 л. ед.	аорист/инф	1 л. ед.	3 л. ед.	аорист
IVa		∅ е ∅ ХОД И(< *ei)-(ТЬ)	∅ е ? ХОД И(< *e-i)	∅ ∅ е		
IVб		∅ е ∅ МЪН И(< *ei)-(ТЬ)	∅ е МЪН Ъ	∅ ∅ е		
III	е ∅ е ИМ-АИЖ	е ∅ е ИМ-АИ (ТЬ)	∅ а ИМ-а			
II	∅ е ДВИГ-ИЖ	∅ е ∅ ДВИГ-ИЕ-(ТЬ)	∅ е ДВИЖ-Е			
I с атем инф	∅ е ТАЪК-Ж	∅ е ТАЪЧ-Е-(ТЬ)	е ∅ ТАЪ-(ЦИ)			е е ТЕЧ-Е
I с тем инф			∅ а БЪР-а	е е БЕР-Ж	е е БЕР-Е-(ТЬ)	

Примечание: различие в аблауте корня между классами IVa и IVб морфологизовано.

его теории возможно, на наш взгляд, только в результате сведения воедино данных, полученных от независимых внутренних реконструкций на базе отдельных и.-е. ветвей. Детали нашей реконструкции для славянской ветви отличаются от той, которую дает В. Шмальштиг. Представленный здесь вариант реконструкции основан на предположении, что распределение ступеней в старославянском остается близким к первоначальному и эта сторона славянского материала скорее является архаичной, чем продвинутой вперед. Так это или не так, покажут дальнейшие исследования. Факты, даваемые славянскими глагольными классами, "принцип Шмальштига" подтверждают, может быть, в большей степени, чем факты любой другой ветви и.-е.- языков. В то же время сам выявленный на этих страницах неформальный характер старославянского глагольного класса с его опорой не только на тематическую гласную, но и на семантику и аблаут, дает указания на стадиальную древность. Истолкование этих фактов как инноваций натолкнулось бы на чрезвычайные фонетические трудности, обусловленные утратой прозрачности ступеней аблаута вследствие известных и весьма многочисленных праславянских звуковых мутаций.

¹ Пара заимствована из готского с сохранением каузативного противопоставления, гот. *ganasjan* 'спасать' — *ganisan* 'выздороветь, спастись' (Фасмер 1986–1987, I, 437).

² В (Фасмер 1986–1987, III, 430) под звездочкой помещена форма

радити; в действительности в текстах отсутствует форма *родити (без отрицания) со значением 'заботиться, беспокоиться'.

³ Отнесение этого гриба к роду *Agaricus* (нпр., Фасмер 1986–1987, II, 340) устарело.

⁴ (Фасмер 1986–1987, III, 338) реконструирует для этих слов производящее суш. **seľь* на основе греч. 'εταίρα 'гетера', лит. *svėc̃ias* 'гость', но в рус. ц.-слав. уже в XI в. зафиксировано *посѣтъ* 'посещение' (Срезневский 1989, II, 1283).

⁵ (Семереньи 1980, 294) использует термин *деноминатив*, заключая его в кавычки: "деноминатив".

ЛИТЕРАТУРА

- Бернштейн 1974 — Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков: Чередования. Именные основы. — М., 1974.
- Вайан 1952 — Вайан А. Руководство по старославянскому языку. — М., 1952.
- Варбот 1984 — Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразование и этимология. — М., 1984.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. — Тбилиси, 1984.
- Иванов 1960 — Иванов Вяч. Вс. Русское *молить* и хеттское *mal-da(i)-*. — Этимологические исследования по русскому языку. М., 1960, вып. 1.
- Колесов 1964 — Колесов В. В. О некоторых особенностях фонологической модели, развивающей аканье. — Вопросы языкознания, М., 1964, № 4.
- Колесов 1996 — Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. — М., 1980.
- Крысько 1996 — Крысько В. Б. Маргиналии к "Старославянскому словарю". — Вопросы языкознания, М., 1996, № 5.
- Кудрявцев 1998 — Кудрявцев Ю. С. Этимологические заметки по русскому языку. — *Valoda. Daugavpils*, 1998 (в печати).
- Мейе 1951 — Мейе А. Общеславянский язык. — М., 1951.
- Откупщиков 1967 — Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского словообразования. — Л., 1967.
- Перельмутер 1969 — Перельмутер И. А. К становлению категории времени в системе индоевропейского глагола. — Вопросы языкознания, М., 1969, № 5.
- Перельмутер 1977 — Перельмутер И. А. Общеиндоевропейский и греческий глагол. — Л., 1977.
- Преображенский 1959 — Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. — М., 1959.
- Реформатский 1996 — Реформатский А. А. Введение в языковедение. — М., 1996.

- Семереньи 1980 — Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. — М., 1980.
- СРНГ 1965 — Словарь русских народных говоров. — М.-Л., 1965 —
- СРЯ 1975 — Словарь русского языка XI–XVII вв. — М., 1975 —
- Словарь-справочник “Слова о полку Игореве” 1965 — Словарь-справочник “Слова о полку Игореве”. М.-Л., 1965. вып. 1.
- Срезневский 1989 — Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. — М., 1989.
- Старославянский словарь 1994 — Старославянский словарь. — М., 1994.
- Трубачев 1957 — Трубачев О. Н. К этимологии некоторых древнейших славянских терминов родства. — Вопросы языкознания. М., 1957, № 2.
- Трубачев 1987 — Трубачев О. Н. Дополнения и исправления к томам III, IV издания 2-го. — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1987.
- Фасмер 1986–1987 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. — М., 1986–1987.
- Шмальштиг 1988 — Шмальштиг В. Морфология глагола. — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. М., 1988.
- Эрну 1950 — Эрну А. Историческая морфология латинского языка. — М., 1950.
- ЭССЯ 1974 — Этимологический словарь славянских языков. — М., 1974 —
- Baudouin 1894 — Baudouin de Courtenay J. Einiges über Palatalisierung (Palatalisation) und Entpalatalisierung (Dispalatalisation). — Indogermanische Forschungen, Straßburg, 1894, Bd. IV.
- Diver 1959 — Diver W. Palatal quality and vocalism length in Indo-European. — Word, 1959, vol. 15.
- Golaб 1968 — Golaб Z. The grammar of Slavic causatives. — American contributions to the Sixth International congress of slavists. Vol. I. Hague, 1968.
- Kurylowicz 1964 — Kurylowicz J. The inflectional categories of Indo-European. — Heidelberg, 1964.
- Mańczak 1960 — Mańczak W. Origine de l’apophonie *e/o* en indo-européen. — Lingua, 1960, IX.
- Puhvel 1960 — Puhvel J. Laryngeals and the Indo-European verb. — Berkeley/Los Angeles, 1960.
- Sadnik 1966 — Sadnik L. Aksl. “*reko : rьci*”. — Orbis Scriptus. Munich, 1966.
- Slawski 1952 — Slawski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Kraków, 1952 —

Наталья Алексеевна Нечунаева
Tallinn

КОРПУС МИНЕЙНЫХ ТЕКСТОВ БОЛГАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (XI–XIII вв.)

Древнеславянская письменность — гимнография — Минеи — студийская редакция Минеи — студийская редакция Минеи — болгарская школа перевода — русская школа перевода — текстологические особенности редакции — лингвистические особенности редакции — греческие параллели — фонетико-орфографическая маркировка списка — греческие варианты в славянском тексте — славянское лексическое варьирование в списках Минеи — лексическая маркировка списка — Пуятина Минея и рукопись Q.п.1.25 как списки болгарской школы перевода

В последние годы внимание исследователей, занимающихся традиционными текстами, привлекают гимнографические книги, занимающие по числу сохранившихся списков второе место после Священного писания. Одна из первых авторитетных публикаций гимнографии принадлежит И. В. Ягичу, издавшему новгородские служебные Минеи 1095–1097 гг. более ста лет тому назад (Ягич 1886). Ягичевой традиции следуют в российско-германской издательской группе, выпустившей сначала фототипический том Декабрьской Минеи (Служебная Минея за декабрь 1993), а затем наборное издание Служебной Минеи за декабрь (Gottesdienstmenaum für den Monat Dezember 1996). Из других публикаций минейных текстов следует назвать публикации Минеи Дубровского (Минея Дубровского 1985, 101–157) и Обретенской службы из Январской Минеи XII–XIII вв., принадлежащей, по мнению Е. М. Верещагина, перу самого Кирилла (Верещагин 1994, 3–22)

Нам бы хотелось ввести в научный оборот малоизвестный гимнографический текст — фрагмент Майской Минеи РНБ, Q.п.1.25 (Сводный каталог № 156) (Сводный каталог 1984, 173) — и показать место этого списка в системе Майской Минеи, шире — вообще в корпусе Минейных текстов.

Сведений об этой рукописи мало, систематизированы они в Сводном каталоге, там же приводится её название и дана принятая характеристика: Минея праздничная, май. Отрывок. Кон. XII–нач. XIII в. ГПБ, Q.п.1.25.

Тип текста квалифицирован как праздничная Минея на май, чему способствует идентификация этой рукописи с рукописью в Сводном каталоге №157 — Минея праздничная, июнь. Отрывок. Кон. XII–нач. XIII в., сделанная В. М. Загребиним (Сводный каталог 1984, 173).

По содержанию наш источник Q.п.1.25 представляет собой конец 9 песни канона из службы 21 мая Константину и Елене, стихиру **сти(хира) гл(са) · д· по(добенъ) дастъ** из той же службы и начало **седаљна стѣ(даленъ) гла(са) · г· по(добенъ) вѣрѣ б(о)жі**. Объем текста — 1 л. пергамена в 4°, он плохо читаем, на обороте смыт. Довольно сложно исследователям рукописи было определить типологическую принадлежность текста и время его написания. Отчет Публичной библиотеки за 1873 г. квалифицирует рукопись как церковные песнопения XIV в. без указания на вхождение их в какой-нибудь тип певческой книги (Отчет за 1873, 18).

В Описании рукописей ГПБ Е. Э. Гранстрем определяет тип текста тоже как богослужебный, хотя считает его старше, датируя рубежом XIII–XIV вв. (Гранстрем 1953, 15). Тип книги, к которой относятся церковные песнопения нашего источника, называет В. А. Мошин (Мошин 1958, 409). Делает он это в виде предположения, под знаком вопроса: “отрывок из церковных песнопений (Октоиха?)”. Датировка рукописи по В. А. Мошину — XII в. Его доводы основаны на палеографическом анализе устава, который, с его точки зрения, XII в. с приметами этого времени: **а** с висящей петлей, **ѣ** в строке, и с перекладиной в середине. На почерк писца обратили внимание авторы описания рукописи: некрасивый полуустав XIV в. (Отчет за 1873, 18), небрежный полуустав и грубые инициалы (Гранстрем 1953, 15). Однако в описании В. А. Мошина “отрицательные” характеристики почерка не присутствуют.

Происхождение рукописи также определяют по-разному: в Сводном каталоге она названа среднеболгарской, в Предварительном списке — сербской (Предварительный список 1966, № 351). Известно, что она была в составе собрания южнославянских рукописей А. Ф. Гильфердинга, хранящихся в рукописном отделе РНБ, которые были собраны в 1857 г. в Боснии, Герцеговине, Старой Сербии и Черногории (Мошин 1958, 409).

Доводом “за” болгарское происхождение рукописи является ее орфография. Из сербских орфографических черт отметим лишь **є** на месте **л**: **начело, зачело** (в параллельных местах других минейных списков — **начало** Соф. 203 и **начало** Соф. 204). Но

таких примеров всего два на фоне болгаризованного текста с юсами: ж последовательно употребляется в падежных формах еленѣж, вѣроѣж, д(ъвы)д(о)воѣж, волеѣж; в корневых морфемах — орѣжжне, в суффиксах причастий — гъ(спо)д(ст)вѣжжщихъ. В таком избыточном юсами тексте чувствуется болгарский оригинал. Параллельные орфографические чтения в других минейных списках практически безьюсовые:

Путьятина Минейя (ПМ): клкноу, вѣроу, д(ъвы)д(о)воу, волеж, ороужик

Соф. 203: еленоу, вѣроу, д(ъ)в(ы)довоу, волею, ороужик.

Соф. 204: оленоу, вѣроу, дъ(вы)д(о)воу, волею, ороужик.

Орфография неустойчива и в отношении написания редуцированных. Редуцированные в тексте написаны по-разному: 1. традиционно правильные ѣ и ѣ: вьсѣхъ, вьсе; 2. пропущенные слабые редуцированные: с ними; 3. смешанные ѣ и ѣ: сьмотрение, сѣвъь, вьсѣхъ; 4. последовательно обратное написание в сочетаниях с плавными: милосръдне, прѣви. Текст отражает фонетическое состояние языка — утрату редуцированных и еще не выработанную новую орфографическую традицию после их утраты.

Отсутствие устойчивости в юсовом написании (см. примеры выше), хотя и с явным преобладанием болгарского варианта, смешение редуцированных свидетельствует о времени написания — XII/XIII вв., когда традиционная орфография расшатана, с одной стороны, а с другой, еще не стабилизирована и не соответствует новому языковому состоянию.

Несомненный интерес представляет наш источник на фоне других минейных текстов, прежде всего майских, с которыми его можно сопоставить.

По Сводному каталогу корпус майских минейных списков включает 11 рукописей: № 21 — Путьятина Минейя XI в.; № 89 — Син. 166 XII в.; № 90 — Соф. 203 XII в.; № 156 — Q. п. I. 25 кон. XII — нач. XIII вв.; № 176 — Син. 895 1260 г.; № 211 — Алекс.-Свирская 37, пер. половина XIII в.; № 281 — БАН. 4.5.10 XIII в.; № 282 — Соф. 204 XIII/ XIV в.; № 359 — ОГНБ, 1/4 Григоровичева или Добрианова Минейя XIII в.; № 360 — ОГНБ. 1/25 втор. пол. XIII в.; № 454 — Соф. 382 кон. XIII — нач. XIV вв.

Среди майских Миней есть рукописи, давно привлекавшие внимание исследователей, такие, как ПМ, входящая в число древнейших русских памятников и являющаяся источником материала для палеографов, текстологов, искусствоведов, историков литературного языка. Майские Миней относятся к числу источников исторических словарей, среди

цитируемых — ПМ, Син. 166, Соф. 203, Тип. 112 XIV. (Предварительный — список № 1062), Тип. XIII в. (Предварительный список — № 312) (Нечунаева 1993, 196). И все же материалы Майской Минеи довольно ограничено введены в общедоступный круг текстов, прежде всего, потому что нет изданий рукописей майской Минеи, кроме публикации отдельных фрагментов ПМ (Марков 1964). Наиболее подробные сведения о рукописях дает Сводный каталог.

К числу таких рукописей относится наш источник Q.п.1.25. Однако такой малоизвестный и малодоступный (судя по листу использования рукописи в РНБ) “кусочек” рукописи, включенный в общую картину списков, позволяет по-новому взглянуть на уже исследованные традиционные источники и прояснить темные места в этой картине.

Все списки Минеи можно классифицировать с учетом следующих принципов: 1) набор памятей 2) состав последований дня 3) включение в текст списка памятей славянским и русским святым 4) указание на авторов канонов 5) способ соединения канонов при наличии двух памятей одного дня. Первый и второй принципы при классификации являются основными, остальные — дополнительными. Текстологические разночтения сопровождаются маркирующими лексическими чтениями — вариантами, одним из важнейших показателей при типологической классификации списков. Учитывая эти принципы, русские списки Минеи на май можно разделить на две группы: 1) студийский тип — ПМ 2) студийский тип — все остальные списки XII–XIII вв. (кроме нашего источника Q.п.1.25, место которого в этой типологии еще предстоит определить).

Самым древним списком Майской Минеи является ПМ. Исследование рукописи и текста восходит к работам лингвистов XIX в. (Сводный каталог 1984, 63). Наиболее подробный филологический анализ ПМ сделан В. М. Марковым (Марков 1964). Он описал фонетический уровень текста и, исходя из системы редуцированных гласных, датировал рукопись — старше Остромирова евангелия на 50–60 лет.

По текстологическим признакам ПМ отличается от остальных списков Майской Минеи и большинства минейных списков на другие месяцы. Текстологические отличия — в наборе памятей и составе последований дня. На уникальный календарь ПМ впервые обратил внимание арх. Сергей (Сергий 1901, 211–212). К особенностям состава памятей ПМ, выявленном при сравнении с памятями имеющихся в нашем распоряжении списков Майской Минеи, относится перестановка памятей по дням (4–5 мая), редко встречающиеся в майских списках памяти (ап. Иуда 26 мая), памяти, отмеченные лишь в других типах текстов — в месяцеслове Остромирова евангелия (2 мая муч. Есперий и Зосия), в Успенском сборнике (5 мая муч. Ирина).

Самобытная структура службы с композиционным выделением канона на первое место отмечена И. В. Ягичем (Ягич 1886, LXVIII). Велика частотность особых лексических чтений в ПМ, отличающих её текст

от текста студийских списков: *льсть* — *прѣсть* / *съблазнѣ*, *бѣсь* — *дѣмонѣ*, *моу дроствѣ* — *смыслѣ* / *оумѣ* / *разоумѣ*.

К студийским спискам относятся Син. 166, Соф. 203, Син. 895, Алекс.-Свирская 37, БАН 4.5.10, Соф. 204. Самый старший из них — Син. 166 XII в., входящий в комплект новгородских Софийских Миней XII в. (сохранилось 10 рукописей из 12, составляющих комплект). Особенности майских студийских списков заключается в том, что в них представлен единый вариант текста, не совпадающий с текстом ПМ: общая картина отличий проявляется на текстологическом и лингвистическом уровнях. Для календаря всех списков характерно практически полное совпадение памятей, последования дня организованы по студийскому уставу. В языковом отношении текст маловариантен и представляет собой языковую систему в пределах данного типа, отличную от системы в ПМ. Студийские списки демонстрируют диахроническое единство текста XII–XIII вв., определенного текстологическими и лингвистическими правилами.

Проиллюстрируем эти положения, сопоставив текст на 21 мая (конец 9 песни канона, стихире, седален) в ПМ и студийских списках, а также включим в это сопоставление и данные нашего источника — рукописи Q.п.I.25.

Для рукописи Q.п.I.25 работает лишь часть принципов типологической классификации, позволяющих определить ее место в системе Майских Миней, шире — вообще Миней как типа гимнографической книги. В силу ее фрагментарности только два из названных принципа можно учитывать при анализе — состав последований дня и лингвистические чтения, соотнесенные с параллельными чтениями в остальных списках Миней.

I. Состав последований дня. В славянских списках Миней известны три варианта последований: 1) канон — стихира — седален; 2) седален — /кондак — икос/ — стихира — канон; 3) стихира — канон (1–3 песни) — седален — канон (4–6 песни) — кондак, икос — канон (7–9 песни). В рамках минейного текста основные композиционные элементы объединяются, образуя различные мозаичные структуры, свойственные гимнографическим произведениям. Порядок следования элементов различен. Малые песнопения имеют разное положение по отношению к центру — канону. В первом варианте канон предшествует стихире и седалену. Такая структура представлена в ПМ. По наблюдениям И. В. Ягича, подобного порядка песнопений нет ни в одной греческой Минее (Ягич 1886, LXVII). В славянской гимнографии канон на первом месте помещен в Битольской Триоди (София, БАН. 38), в праздничной Минее сентябрь-февраль XII в. (Сводный каталог № 76), в оригинальной борисоглебской службе

Июльской Минеи XI в. (Сводный каталог №42). Текст нашего источника: конец 9 песни канона — стихира — седален — свидетельствует об аналогичном расположении последований дня. Эта редко встречаемая в гимнографии композиция говорит об архаичности текста и позволяет по этому признаку объединить наш источник Q.п.1.25 с ПМ.

Второй и третий вариант последований соответственно принадлежат студийскому и иерусалимскому типу Минеи. Среди майских списков XII–XIII в. все остальные списки имеют расположение по студийскому уставу, кроме Соф. 382, в которой представлен третий вариант последований, соответствующий иерусалимскому уставу и являющемуся обычным для поздних списков Минеи.

Лингвистические чтения параллельных мест текста — второй яркий показатель особенностей рукописи. Сопоставим списки разных типов Минеи с нашим источником Q.п.1.25 и приведем греческие параллели (MHNATA 1899, 134). В этом сопоставлении участвуют: 1) ПМ как древнейший текст Майской Минеи и как текст достудийского типа; 2) Син 166, Соф. 203, Соф. 204, Соф. 382 как списки, в которых отражен студийский вариант майского текста. (см. Таблицы 1, 2).

Текст этих списков достаточно стабилен, низка частотность лексических вариантов. Текстологических разночтений в них, как отмечалось выше, почти нет. Майские студийские списки по текстолого-лингвистическим показателям схожи с новгородскими служебными Минеями 1095–1097 гг., с Декабрьской Минеей и с известными нам списками Январской Минеи (Сводный каталог № 84, 122).

Текстовое сопоставление дает очень интересную картину. Первое — это совпадение текста нашего источника Q.п.1.25 с текстом ПМ, то есть считавшийся уникальным текст ПМ оказывается не столь уникальным, в нашей рукописи — его практически полный аналог. Этот текст отличается от текста студийских Минеи Син. 166, Соф. 203, Соф. 204, где представлен другой, для данного типа Минеи единый тип. Специфика ПМ и Q.п.1.25 проявляется в одинаковых лексических чтениях: **свои** — **твои**, **бл(а)говѣрьноу моу саоузѣ** — **бл(а)гочѣстивоу моу оугодникоу, разоумѣвъ** — **познавъ, торьца** — **благодѣтелѣ** **зачало** — **началоу, область** — **власти** и др.; в порядке слов: **соломоню пр(ѣ)м(оу)дрость** — **прѣмоудрость соломону**; в прочтении целых фраз: **и область же га ко имѣа оу себѣ** — **и власти прѣвольшааго**; в постановке колонов: **б(ог)а**

Путятина Миняя	Син 166	Соф 203
дасть... крѣсть свои чѣстныи.	дасть... крѣсть твои чѣстныи.	кр(ьс)тъ твои чь (оборвано)
Дасть м(н)л(о)ср(ь)д(ь) є бл(а)говѣрьноуѣмоу ти слоузѣ. соломонно пр(ѣ)м(оу)др(о)сть	Дасть чловѣколюбче. богочѣстивоуѣ ти оудодьникѣ. прѣмоудрость соломонно	Дасть чл(оуѣ)колюбче. бл(а)гочѣстивоуѣмоу ти оудодьникѣ. премоудрость соломонно
б(о)га разоумѣвъ. тако ц(а)ра в'сѣхъ творьца.	познавъ. бога же цьсара. всѣхъ благодѣтеля	познавъ. б(о)га же и ц(ьса)ра всѣхъ бл(а)годателя
в'се зачало исто. и область же тако имѣа оу себѣ.	в'сакоуѣ началѣ. и власти прѣбальшааго	в'сакоуѣ началѣ. и власти пребальпаго
тѣмь ти х(рѣст)о любче. ц(ьса)р(ь)ство ѡправиль	ти хрѣстолюбче. цьсарство оуправиль.	ти х(рѣст)олюбче ц(ьса)р(ь)ство оуправиль.
и(соу)се м(н)л(о)с(ь)рдыи лл 88-88 об.	и(соу)сѣ милостивыи лл 124	и(соу)сѣ м(н)л(о)с(т)ивыи л 99

Соф 204	Q п.1 25	греч
кр(ь)сть твои чѣстныи	...сть свои чѣстныи:	τον Σταυροῦν σου τὸν τιμόν.
Дасть чл(о)в(ѣ)колюбче. бл(а)гочѣстивоу ти оудодьникѣ. прѣмоудрость соломонно	Дасть многорьдн є: благовѣрьноуѣ ти слоузѣ соломонн прѣмьдрость:	"Ἐδοκάζ φιλαῦθρωπε τῶ εὐσεβεῖ του θεραῖποντι. Σολομῶντος τὴν φροῦνησιν.
познавъ. б(о)га и ц(ьса)ра. в'се бл(а)годѣтеля	б(о)га разоумѣви: и. ѣко ц(а)ра всѣхъ и творьца	'επιγινούς θεόν. καὶ παμβασιλεῖα. παῖτων ε'υεργεῖτην.
в'сакоуѣ началѣ. и власти прѣбальшааго	в'сѣхъ зачало исто: и областне ѣко имѣа ѡ себѣ	νικοποῖον παῖσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας τὸν ὑπερκεῖμενον.
ти х(рѣст)олюбче. ц(ьса)р(ь)ство ѡправи	тѣмь ти холоубче: ц(ь)с(а)рствене оуправиль:	'εντευθε σοι φιλοῦχριστε. τὴν βασιλειᾶν κατευθῦνει.
и(соу)сѣ м(н)л(о)с(ь)рдыи л 68	и(соу)се в'семоген л.1	Ἰησοῦ παντοδύναμε стр 134

разоумѣвъ. тако ц(а)ра в'сѣхъ творьца - познавъ бога же
цьсара. всѣхъ благодѣтеля.

Лексические варианты, как всегда в переводных текстах дву-
плановы. Во-первых, те, что отражают варианты греческих руко-
писей, и, во-вторых, те, которые возникли на славянской почве.

Иногда греческий текст проступает в одном из списков. Так в нашем случае греч. Ἰησοῦ παντοδύναμη читается в рукописи Q.п.1.25 — и(и)с(о)с(ь)рдѣ всемогентагда, как в других списках, включая ПМ, отмечены лексические варианты: м(и)л(о)с(ь)рдын — милостивын. Один из членов этого ряда вступает в другие вариативные отношения: ДАСТЬ м(и)л(о)с(ь)рдѣ — чловѣколюбче — φιλανθρώπε. В славянском варианте можно предположить отражение греческого εὐ'σπλαγχνε, ср. в тексте последовательно употребленную во всех списках лексему съподобиса м(и)л(о)с(ь)рднкмь си с греч. соответствием εὐ'σπλαγχνί'α σου!

Славянские варианты отражены в таких, например, парах: бл(а)говѣрьноумоу — бл(а)гочѣстивоумоу, слоузѣ — оугодьникоу. Греч. εὐ'σεβη'ς 'благочестивый, набожный, праведный' дает в минейных списках два соответствия: благовѣрьный — ср.: да не вѣлѣзнтъ благовѣрьный въ цркъвъ нечѣстивыхъ Изб. 1076 г. (18) и благочѣстивыи — ср.: вѣстажтъ не съмысли на съмыслныа и нечѣстивыи на бл(а)гочѣстивыа Изб. 1073 г.

Вариант благовѣрьныи закреплен за ПМ и нашим источником, второй вариант — благочѣстивыи — за студийскими списками.

Аналогично θεράπων 'служитель, слуга' передано слоуга (слоузѣ) в ПМ и Q.п.1.25, в остальных списках — оугодьникъ (оугодьникоу). По данным Словаря древнерусского языка И. И. Срезневского различия в словарном значении членов пары нет: 1) оугодьникъ — слуга, служитель; — вѣренъ въ всемъ домоу своемъ, ја о оугодьникъ (θεράπων) Евр. Ш, 5; 2) слоуга — слуга, служитель — да послушантъ глаголъ благочѣстия и с(вѣ)щ(ѣ)ннии приснѣихъ кмоу слоугъ; (θεραπευτή'ς) Гр. Наз. XI в., 92. Словарное толкование членов пары абсолютно идентично, характер контекстов, в которых употребляются варианты, схож. Распределение членов пары по минейным спискам: достудийский тип — слоуга, студийский — оугодьникъ — связано с традицией перевода, т.е. за одним из типов списков закрепляется при переводе вариант бл(а)говѣрьноумоу слоузѣ, за другим — бл(а)гочѣстивоумоу оугодьникоу.

Есть пары, в которых также представлено славянское варьирование, но греческий текст грамматически последователен в студийских списках: все зачало исто — всеакомоу началоу — πα'σηζ 'αρχη'ζ. Греч. 'αρχη' имеет два соответствия в славянской переводческой традиции: 1) зачало — 'αρχη' — начало

Пр(ѣчи)сток зачало кмоу оустроилъ кси. Мин. 1097 г. 2) начало — 'αρχη' — вьса же си начало болѣзни. Мф. XXXIV, 8 Остр. ев. Вариант с приставкой за связан с ПМ и Q.п.1.25, с приставкой на — со студийскими списками. Греческий текст корректно отражен именно в последних, в достудийских же списках в варианте вьсе зачало исто отразился по-другому читаемый оригинальный текст.

Продолжение этого фрагмента текста подтверждает грамматическую корректность оригинала именно в студийских списках: и область — власти — καὶ 'εξουσι'α ζ, хотя лексически он адекватен в любом списке, то есть греч. 'εξουσι'α 'власть, могущество' на славянской почве дает обе лексемы: 1) область (объ+власть) — власть, господство, potestas, auctoritas, 2) власть — сила, могущество, 'εξουσι'α, potestas, auctoritas.

Отсутствие единства в переводе древних списков Минеи отмечено еще И. В. Ягичем, и варианты квалифицированы как русские и болгарские (Ягич 1886, СХVIII).

Лексические чтения свидетельствуют о практически полном совпадении текстов ПМ и нашего источника Q.п.1.25 и противопоставлении этих двух списков по данному параметру студийским спискам. Лексические варианты поддерживают текстологические расхождения списков ПМ и Q.п.1.25, с одной стороны, и студийских списков — с другой, которые заключаются в особом порядке следований дня в каждом типе Минеи.

Корпус гимнографических текстов на Руси сформировался двумя путями: из рукописей, происхождение которых связано с Болгарией, и из рукописей, прошедших правку на Руси в соответствии с Алексеевским уставом, появившимся непосредственно из Византии и связанным с именем Феодосия Печерского. Вторая группа списков обширна, она составляет основной корпус русских гимнографических книг разных жанров, в него включены все студийские Минеи, разночтения из которых использованы нами. М. А. Момина считает, что перевод и правка этих книг осуществлялась на Руси в XI в. (Момина 1992, 218–219). Русская переводческая традиция в нашем случае отражена в Син. 166, Соф. 203, Соф. 204.

Первая же группа списков связана с болгарской переводческой школой. Эта группа архаична и по первоначальному данным была представлена Триодью Моисея Киянина и Путятиной Минеей. Наш источник Q.п.1.25, несмотря на его малый объем, расширяет корпус древнейших гимнографических книг, связанных с болгарской традицией. Она по всем показателям похожа на Путятину

Минсю и, возможно, создавалась в той же переводческой школе; при этом использовались одинаковые приемы организации и перевода текста, прослеживается одна и та же традиция.

Несмотря на фрагментарность текста, его типологические признаки не смешиваются, а выступают отчетливо и позволяют определить реальное место источника в системе Минеи как типа книги.

ЛИТЕРАТУРА

- Гранстрем 1953 — Гранстрем Е. Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей (ГПБ). Рукописи русские, болгарские, молдавлахийские, сербские. — Л., 1953.
- Верещагин 1994 — Верещагин Е. М. Последование под 30-м января из Минеи № 98 (ф. 381) РГАДА (Москва) — предполагаемый гимн первоучителя славян Кирилла. — Старобългаристика. София, г. XVIII. 1994, № 1.
- Марков 1964 — Марков В. М. К истории редуцированных гласных в русском языке. — Казань, 1964.
- Минея Дубровского 1985 — Минея Дубровского. Monumenta linguae russicae vetustae. Redigunt V. V. Kolesov et E. H. Toth (Dissertationes slavicae. XVII). — Szeged, 1985.
- Момина 1992 — Момина М. А. Проблема правки славянских богослужбных гимнографических книг на Руси в XI в. — ТОДРЛ, т. XLV, СПб., 1992.
- Мошин 1958 — Мошин В. А. К датировке рукописей из собрания А. Ф. Гильфердинга Государственной Публичной библиотеки — ТОДРЛ, т. XV, М.-Л., 1958.
- Нечунаева 1993 — Нечунаева Н. А. Лексическая вариативность в списках Майской Минеи и "Материалы для словаря древнерусского языка" И. И. Срезневского. — Славянские языки, письменность и культура. Киев: Наукова думка, 1993.
- Отчет за 1873 — Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1873 г. — СПб., 1875.
- Предварительный список 1966 — Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв., хранящихся в СССР. — Археографический ежегодник за 1965 г., М., 1966.
- Сводный каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. — М.: Наука, 1984.
- Сергий 1901 — Арх. Сергий. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. — Владимир, 1901.
- Службная Минея 1993 — Службная Минея за декабрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям. Gottesdienstmenaum für Dezember. Faksimile der Handschriften CCADA

- f. 381 № 96 und 97. Hrsg. von H. Rothe und E. M. Vereščagin. — Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 1993.
- Ягич 1886 — Ягич И. В. Службные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095–1097 годов. — СПб, 1886.
- Gottesdienstmenaum 1996 — Gottesdienstmenaum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften Rus' des 12. und 13. Jahrhunderts. Teil 1:1 bis Dezember. Hrsg. von H. Rothe und E. M. Vereščagin. — Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH, 1996.
- ΜΗΝΑΙΑ 1899 — ΜΗΝΑΙΑ τῶν ΜΑΙΟΥ καὶ ΙΟΥΝΙΟΥ. — ΕΝ ΡΩΜΗ, 1899.

Віра Юрєвна Франчук
Київ

ДАВНЬОРУСЬКІ І ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКІ РИСИ В МОВІ КИЇВСЬКОГО ЛІТОПИСУ

Давньоруська літературна мова — мовна ситуація в Київській Русі — Київські літопис (XII ст.) по списку XV ст. — мова літописання — співвідношення давньоруських і церковнослов'янських компонентів — старослов'янська мова — східнослов'янізми — церковнослов'янізми — слов'янізми

Сучасна лінгвістика приділяє багато уваги проблемі становлення давньоруської літературної мови, співвідношенню східнослов'янських і церковнослов'янських компонентів у її будові. Однак ряд важливих питань утворення давньоруської літературної мови, що стала основою української, російської і білоруської літературних мов, ще далекий від переконливого вирішення¹. Відмінності в оцінці мовної ситуації у Київській Русі та визначенні ролі східнослов'янських елементів у становленні писемності домонгольського періоду доводять необхідність подальшого дослідження пам'яток цієї епохи у всій їх тематичній і жанровій різноманітності.

Літописи як жанр становлять великий інтерес для пояснення процесу становлення давньоруської літературної мови завдяки своїй неоднорідній будові. Серед них особливо виділяється Київський літопис — більша за обсягом частина рукописного збірника, відомого як Іпатіївський літопис. Його текст, вміщений поміж Повістю временних літ і Галицько-Волинським літописом, охоплює події від 1117 р. по 1198 р. Рукописна книга, в якій він зберігся, належить до початку XV ст. (ймовірно, до 1425 р.). За походженням Київський літопис є зведенням окремих пам'яток писемності, об'єднаних, як доведено, ігуменом Видубицького монастиря у Києві Мойсеєм наприкінці XII ст.

Літописний стиль сформувався на базі літературно оброблених формул розмовної мови східних слов'ян. проте у цих пам'ятках помітні і книжні. старослов'янськ за походженням нашарування. М. І. Сухомлинов у середині минулого століття відзначав: "У мові і стилі давнього літопису ясно розрізняються два елементи: церковнослов'янський і руський. які відокремлюються один від одного досить різко. Перший

з'являється в місцях, запозичених із Святого письма; не кажучи про суцільні виписки, ці місця здебільшого додаються до слів літописця, і додаток настільки очевидний, що він являє собою ніби другу частину фрази, яка передає повну думку². У філологічній науці склалося уявлення, що той самий автор вільно володів двома мовами і, залежно від настанови, користувався то однією з них, то іншою. Так, Д. С. Лихачов пише: "Теми церковні, богословські, філософські, церковно-повчальні вимагали, з погляду давньоруського книжника, піднесеної церковнослов'янської мови. Теми історичні, юридичні, побутові, найпростіші повчання тощо не вимагали літературної піднесеності і писалися руською літературною мовою"³. На зв'язок старослов'янських (книжних) мовних елементів з тематикою літописних текстів вказувало також багато дослідників-лінгвістів.

Суттєва різниця у використанні цих елементів в окремих фрагментах літописного тексту залишилася незрозумілою, тому що не бралися до уваги неоднорідний характер пам'яток і загальна система мови, яка стояла за текстом. І. С. Улуханов, наприклад, поділив літописні тексти на порічні записи й оповіді, з одного боку, і "повіді", присвячені "одній і тій же темі: смерті того чи іншого князя" — з другого⁴. У цьому випадку вчений використав літературознавчу класифікацію, створену І. П. Срьоміним у праці "Киевская летопись как памятник литературы"⁵, поєднавши її з поняттям двох тищів давньоруської літературної мови, запропонованим В. В. Виноградовим⁶.

На думку І. С. Улуханова, двома основними сферами функціонування книжно-слов'янського типу давньоруської літературної мови в літописах є некрологи (повіді про княжу смерть) та релігійно-моралістичні коментарі літописця, в яких спостерігається однорідний у мовному відношенні матеріал⁷. Подібну точку зору обстоює також австрійська дослідниця Г. Хютль-Ворт (Фольтер)⁸. Ці роздуми відбилися на висновках Б. А. Успенського, який взагалі виключає літописи з кола пам'яток літературної мови. Розглядаючи їх у плані "диглосії", вчений використовує літописні тексти лише для ілюстрації постійних переходів від церковнослов'янської мови до давньоруської і навпаки. Б. А. Успенський не зупиняється на причинах різниці у вживанні церковнослов'янської або давньоруської мови в окремих фрагментах літописного тексту, тому що, на його думку, ці твори є безладною сумішшю літературних і нелітературних уривків⁹.

Суперечить цьому висновку погляд М. І. Толстого, який твердить, що "існувало багато окремих текстів, наприклад, руські літописи, в яких... двомовність певною мірою нейтралізувалася: церковнослов'янська і давньоруська змішувалися, створювалася середня, перехідна, гібридна форма книжної мови"¹⁰.

Тим часом ще в середині ХХ ст. Б. О. Ларін звертав увагу мовознавців на те, що з самого початку своєї літературної історії літописи були скомплектовані з багатьох джерел¹¹. На необхідність дотримуватися свідчень конкретних текстів для літературно-лінгвістичного аналізу в зв'язку з тим, що в одній і тій самій пам'ятці можуть сподучатися уривки, різні за мовою, говорив в одній із останніх праць Ф. П. Філін¹².

Аналіз співвідношення давньоруських і церковнослов'янських рис у мові Київського літопису доцільно розпочати з тієї частини цієї пам'ятки, авторство якої не викликає сумнівів. Загальноновизнаною є теза про те, що ігумен Видубицького монастиря Мойсей був не лише упорядником і редактором Київського літопису. Його перу належить також твір, яким літопис завершується. — це Промова з приводу завершення будівництва стіни, що укріпила дніпровську кручу в східній частині монастиря. Виголошена 24 вересня 1198 р., Промова, ймовірно, не призначалася для літопису і була вміщена в нього пізніше, коли Мойсей закінчував свою працю. Промові Мойсея Видубицького як твору пізньої київської риторики присвячена велика література¹³. Дослідники відзначають, що Промова гідно продовжує традицію київського урочистого красномовства, а її автор виступає не лише як ритор, а й начитаний книжник, який прекрасно знав Святе письмо і вмів користуватися його текстами і образами. Сучасний дослідник Промови Мойсея Ю. К. Бегунов припускає, що її автор знав грецьку мову і міг звертатися до оригінальних джерел¹⁴. Видається ймовірним, що твір такого любителя красномовства має містити велику кількість слов'янізмів і цитат із конфесійної літератури.

І справді, на фоні історичної оповіді Київського літопису завершальна стаття видубицького ігумена вирізняється яскраво книжним характером. Крім Промови, Мойсею належать і деякі інші фрагменти Київського літопису. Вони розпізнаються завдяки повторенню одних і тих же зворотів: *приложися ко отцам и дедам своим, отдав обций долг, его же несть убежати всякому роженному: злата и сребра не собирал, но давал дружине*¹⁵. Зіставлення текстів редактора Київського літопису з текстами його сучасників-авторів усїєї пам'ятки підтверджує її лексичну стильову диференційованість.

Слова і звороти, які прийнято називати книжними, визначають стиль Мойсея як письменника. Звичайно, здебільшого вони були відомі й іншим давньоруським книжникам, які широко використовували в своїх творах іншомовну лексику, насамперед, пов'язану з життям церкви: *ангель, дьяволь, епископъ, икона, кутья, митрополитъ, монастирь* тощо. Проте характерними саме для текстів Мойсея є не такі слова, а запозичені із церковних книг імена і власні назви різного походження (грецькі, латинські, давньоєврейські і т.п.). Досконало знаючи події священної історії, видубицький ігумен вільно оперує подібною лексикою. Напр.: *Сеи же бомоудрыи князь. Рюрикъ. пѣтыи бы(с) и(т) того. яко*

же пишеть *и* правѣднемь. *Иевѣ* *и(т)* Аврама (709)¹⁶; *и* со при(д)бнымъ. *Мефедьемь*. *Элемь* (713); *дн(с)ь* по *Исаи* понавляютьсѣ *и* острови (714); *ако* *и* при *Зовавели*. *свобо- жьшиесѣ*. *и(т)* *Вавилоньска* *нечаниа* (714); *ако* же *вѣща* *Соломонь*. *похвал* *Аемоу* *правѣдномоу* *весел* *Атьсѣ* *людье* (714-715).

На відміну від літописців, які рідко згадували християнські імена своїх сучасників, Мойсей робить це при будь-якій нагоді. Напр.: *Престависѣ* *блговѣрна* *кн* *Агини* *Шльга*. *сестра* *Всеволожа*. *великого* *наречена* *чернѣчьскы* *Шфросѣньа* (624); *В тоє* же *врем* *блговоли* *Бѣ...* *и* *вдохноувѣ*. *мысль* *блгоу*. *во блгоприятное* *ср(д)це* *великому* *кнзю* *Рюрикови*. *по* *пороженю* *же* *еже* *и(т)* *бж(с)твены* *а* *коупели* *дѣмь* *пронареченоу* *Василью* (708); *Въ* *тѣ(ж)* *днь* *приеха* *въ* *ма(н)стырь* *великыи* *кнзь* *Рюрикѣ*. *кюрѣ* *Василии* (711); *изо* *убрѣте* *бо* [*Рюрик* *Ростиславович*] *подобна* *дѣлоу* *и* *ходо* *жника*. *и* *во* *своихъ* *си* *при* *Ателехъ*. *имене* *Милонѣ*. *Петръ* *же* *по* *крещеню* (711).

Іноді християнське ім'я дається лише натяком: *Того* *же* *лѣта*. *созда* *великыи* *бллюбивыи* *кнзь* *Рюрикѣ*. *цркъвѣ* *сѣтого* *Васильа*. *во* *им* *свое*. *в* *Кыевѣ* *на* *Новомъ* *дворѣ* (707).

Звертається Мойсей і до тлумачення християнських імен. Він, зокрема, так пояснює ім'я дружини князя Рюрика Ростиславовича Анни: *Тако* *же* *хр(с)толюбива* *его* *кн* *Агини*. *тезоименьна* *соуци*. *Аниѣ* *родителници* *мѣтри* *Ба* *нашего*. *аже* *и* *блг(д)ть* *нарѣцаетьсѣ* (710). Подібний, але більш тонкий прийом можна бачити в некролозі брата Рюрика Романа Ростиславовича, дружина якого в своєму голосінні розкриває не стільки значення імені цього князя, скільки риси його характеру, подібні якоюсь мірою до рис характеру святого Бориса, який мав християнське ім'я Роман: *кн* *Агини* *же* *его* *бес* *престани* *плакаше*. *предѣсто* *ащи* *оу* *гроба*. *сице* *вопиюще*. *ц(с)рю* *мои* *благыи* *кроткыи*. *смиреныи* *правдивыи*. *во* *истиноу* *тебе* *нарчено* *им* *Романѣ*. *всю* *добро-* *дѣтель* *сыи* *подобенъ* *смоу*. *многи* *а* *досады* *при* *и(т)* *смолн* *Анѣ*. *и* *не* *видѣ* *т* *а* *г(с)не*. *николи* *же* *противоу* *ихъ* *злоу*. *никотораго* *зла* *въздающа* (617).

Давньоеврейські імена видубицький ігумен нерідко використовує в порівняннях, натякаючи на ті чи інші релігійні події, відомі його освіченим сучасникам. Так, князя Рюрика він порівнює з Мойсеєм, що вивів єврейський народ з єгипетської неволі, а себе — з сестрою Мойсея Маріам, яка стоїть на березі і співає йому пісню-хвалу: *убрѣтше* *т* *а* *проводника*. *ако* *Моисѣа*. *новыи*

си Изрѣль. изводѣцаго. из работы немл(с)рдѣи и и(т) мрака скоупости. и(т)селѣ бо не на брезѣ ставше. но на стѣнѣ твоего созданѣ. пою ти иѣ(с) побѣдноую. аки Мариамѣ древле (714).

Своєрідність вживання книжних форм у текстах Мойсея вимальовується достатньо чітко при розгляді подібних форм у фрагментах, створених іншими авторами. З'ясовується, наприклад, що літописці-кияни обмежено використовували іншомовну лексику. У сфері абстрактної лексики сучасники Мойсея найчастіше зверталися до іменника *цѣлование*, що входить до складу звороту *крестное цѣлование*. Незважаючи на те, що в текстах Мойсея також зафіксовано небагато утворень із абстрактними суфіксами, у деяких місцях вони концентруються. Так, змальовуючи в своїй Промові філософську картину всесвітту, автор насичує її іменниками з суфіксами *-ние*, *-ость*, *-ство*: *ѣбса бесловесное естьство соуце и сочювьствено. и самовластно. но точью свѣтлостью. ѣлнца и растѣниемь* лоуны. *оукрашениемь звѣздѣ. и не премьньо хранѣце оуставы временемь. вл(д)чнѣ повелениѣ. повѣдають славою его. ѡко же всимѣ. добрѣ смотрѣшимь творца и томѣ похвалити добраго ради оурѣжениѣ (713).*

Цей поетичний фрагмент основного твору Мойсея Видубицького не тільки підтверджує думку Светли Матхаузерової про постійне удосконалювання принципів перекладу, якими керувалися давньоруські книжники, а й свідчить про їх потяг до самостійної творчості¹⁷.

Рідко зустрічаються у сучасників Мойсея складні слова, хоч в окремих випадках вони їх і використовують. Схильність же Мойсея до вживання складних слів дуже помітна. Саме вони надають його творам урочистого характеру. Ігумен вільно оперує кальками, створеними перекладачами конфесійної літератури. Насамперед, це лексика з іменниками *благо*, *добро*, *бог* і т. ін. у складі, що виконує певну стилістичну функцію як образний мовленнєвий засіб: *благодать*, *благоволити*, *богомудрый*, *трудолюбие*, *христоролюбивый*. Такі лексеми широко побутують у цитатах із конфесійної літератури, а також нерідко зустрічаються в описах церковних обрядів. Напр.: *еп(с)пѣ Константинѣ. игумени вси. съ блгохвалными иѣ(с)ми. и с кандѣлы блгооуханьными. положиша тѣло его [Романа Ростиславовича] въ стѣни Бци. и плакашасѣ по немь вси смолнѣнѣ поминающе добросердые его до себе (616); еп(с)пѣ же смоленсккии Семениѣ. и вси игоумени и поповѣ. и снвць его Мьстиславѣ Романовичѣ. и вси бо ѡдре. проводиша и (Давида Ростиславовича) со блгохвалными иѣми. и с кадѣлы и блгооуханьными (702–703).*

Таким чином, редагуванням Мойсея пояснюється більшість книжних рис, наявних у досліджуваній пам'ятці, чергування в ній власне літописних записів із фрагментами, які співвідносяться за мовою з такою жанрово-стилістичною сферою, як житія. Зокрема, Мойсей не лише вводив у свої й чужі фрагменти Київського літопису іншомовні запозичення, а й доповнював його текст викладом подій священної історії, далеких від давньоруської реальності. У видубицького ігумена спостерігається нахил до вживання складних слів, які надають його творчості урочистого характеру. Специфічною особливістю його мови є користування абстрактною лексикою з суфіксами *-ше, -ше, -ость, -ство, -ство*, характерною для книжного стилю мовлення, церковна фразеологія тощо. У сфері синтаксису стиль Мойсея вирізняють конструкції з внутрішньою мовою як основний засіб передачі чужих слів.

Введені в тексти літописців-авторів Київського літопису редакторські вставки й доповнення Мойсея сприяли встановленню погляду на літопис як на суміш різнорідних у мовному плані фрагментів, зручних для ілюстрації постійних переходів від церковнослов'янської мови до давньоруської і навпаки. Лінгвістичне вивчення тексту Київського літопису показало, що східнослов'янські літописці-автори цієї пам'ятки використовували в своїй безпосередній роботі лише одну літературну мову, а саме давньоруську. Для вирішення тих чи інших стилістичних завдань вони могли вносити в свої записи більшу чи меншу кількість церковнослов'янських форм. Однак це не дає права стверджувати, що літописці XII ст. активно володіли двома літературними мовами. Знання церковнослов'янської мови для більшості авторів літопису було, найімовірніше, пасивним, на зовнішньому вигляді створених ними текстів воно відбилося мало. До активного володіння цією мовою наближався лише один літописець — ігумен Видубицького монастиря Мойсей. Однак, навіть у його текстах, насичених книжною лексикою і фразеологією, церковнослов'янські форми мають переважно стилістичну роль — засобу орнаменталізації.

ЛІТЕРАТУРА І ЗАМЕРКОВАННЯ

¹ Детальніше див.: Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. — М.: Наука, 1988. — 239 с.

² Сухомлинов М. И. Исследования по древней русской литературе. — Сборник Отделения рус. яз. и словесности АН, 1908, т. 85, с. 197.

³ Лихачев Д. С. Несколько мыслей о языке литературы и литературном языке Древней Руси. — Историко-филологические исследования. Сборник статей к семидесятилетию академика Н. И. Конрада. М.: Наука, 1967, с. 305.

⁴ Улуханов И. С. Предлоги *предь-передь* в русском языке XI–XVII вв. — Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М.: Наука, 1964, с. 130.

⁵ Труды Отдела древнерусской литературы, 1949, т. 7, 67–97.

⁶ Виноградов В. В. Основные проблемы изучения, образования и развития древнерусского литературного языка. — М.: Изд-во АН СССР, 1958, 61–67.

⁷ Улуханов И. С. Славянизмы и народно-разговорные слова в памятниках древнерусского языка XI–XIV вв. (глаголы с приставками *пре-, пере- и предь-*). — Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. М.: Наука, 1969, 108–109.

⁸ Хютль-Ворт Г. Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период. — Wiener slavistisches Jahrbuch, 1973, Bd. 18, S. 32; пор. також Хютль-Фолтер Г. Диглоссия в Древней Руси. — Wiener slavistisches Jahrbuch, 1978, Bd. 24, 108–123.

⁹ Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1983, с. 45.

¹⁰ Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. — М., 1996, с. 132.

¹¹ Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). — М.: Высшая школа, 1975, 201–202.

¹² Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. — М.: Наука, 1981, с. 265.

¹³ Огляд цієї літератури див.: Бегунов Ю. К. Речь Моисея Выдубицкого как памятник торжественного красноречия XII в. — Труды Отдела древнерусской литературы, 1974, т. 28, 60–76.

¹⁴ Там же, с. 73.

¹⁵ Приселков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. — Л.: Изд-во АН СССР, 1940, с. 48; Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор “Слова о полку Игореве”. — М.: Наука, 1972, с. 64.

¹⁶ Приклади з Київського літопису наводяться за виданням: Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. — М.: Изд-во восточной лит-ры, 1962, 938 ствп. — Нумерація стовпців у тексті в дужках.

¹⁷ Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. — Praha: Univerzita Karlova, 1976, 26–55.

Адам Евгеньевич Супрун
Мінск

К ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВЯНОПОЛАБСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ (*JAJMAT RAJBAJ <*JЪMATI RYBU*)

Праславянский язык --- древянополабский язык --- фразеология --- фразеологизм --- устойчивость --- идиоматичность

Двадцать лет тому назад Н. И. Толстой, много и плодотворно разыскивавший следы праславянской фразеологии в славянских языках, в сборнике к 70-летию академика Й. Вуковича опубликовал статью о выражении *здрав као риба* (Толстой 1995, 405–411). К этому фразеологическому сюжету Никита Ильич вернулся в 1988 г. в докладе об этнолингвистических аспектах славянской фразеологии (Толстой 1995, 379). Это и понятно: рыболовство являлось важной частью хозяйственной жизни славян, представления, связанные с рыбой, были существенным элементом их духовной культуры.

Уже древние авторы отмечали богатство территорий, заселенных славянами, рыбой. Наряду с рыболовством при помощи орудий определенную роль, особенно в древности, “играли у славян примитивные способы ловли рыбы, например, ловля рукой” (Słownik 1970, 619). Неудивительно, что слово *ryba* входит в ряд распространенных у славян пословиц, поговорок, фразеологизмов. К числу древнейших из них, связанных, вероятно, с примитивным ручным способом ловли рыбы, относится и сохранившееся в древянополабском выражение со значением ‘ловить рыбу’.

В двух древянополабских словарных источниках — в словаре Христиана Хеннига и в *Vocabulaire vandale* Йоганна Фридриха Пфеффингера приводится выражение, имеющее значение ‘ловить рыбу’ (Szydłowska-Ceglowa 1963, 85). Вот эти записи. В них курсивом выделены древянополабские слова в транскрипции; оригинальные древянополабские написания подчеркнуты. Заголовки словарных статей иногда выделены полужирным шрифтом, немецкие и французские эквиваленты приводятся в написаниях полинников. Остальные выделения соответствуют обычной практике.

У Хеннига в факсимильно воспроизведенном Олешом автографе Ганноверской рукописи XXIII, 842 находим под словом *Fisch* пример *Er fangt Fische*, *wan gamôy rebâv* (Olesch 1959, 154). В других списках Хеннига имеются некоторые для наших целей несущественные отклонения в написаниях (наиболее важные из них: *geimôy*, *Jeimôy*; *raibav*). В транскрипции: *van jajmoj ùe rajboj* (*rajbaj*) (Polański 1971, 208). В глаголе последнее *ùe* Олеш помещает в скобки (Olesch 1983, 291). В позднепраславянском это выражение выглядело бы: **опъ ѓмаје(ть)* (или *ѓмајеть*) *рыбу*.

Слово *Fischen* у Хеннига переводится как *Geimat reibâv* (Olesch 1959, 154). Существенных для нас вариаций в написании в других копиях нет. В транскрипции: *jajmât rajbaj*. Для дополабского (позднепраславянского) языкового состояния это выражение реконструируется как **ѓмати* (или *ѓмати*) *рыбу*. Глагол тут имеет форму инфинитива.

У Пфеффингера: *Un pecheur* (точнее по современной французской орфографии *pêcheur*) *Jajmôï raybôï* (вариант в публикации словарика Пфеффингера в *Historia Studii etymologici* Эккарда (Hannover, 1711): *Jajmôï raibôï*) (Olesch 1967, 37). В транскрипции: *jajmoj rajboj* или *jajmoj ùe rajboj* (*rajbaj*). Конечное *-i* в глагольной форме К. Полянский, чтобы представить более полную форму 3 л. глагола, транскрибировал как *-jùe* вслед за А. Шлейхером, П. Ростом и Т. Лером-Сплавинским, в грамматике которого, впрочем, в соответствии с тогдашними представлениями, был знак, транскрибируемый теперь обычно через *ã*. В результате внесенных Н. С. Трубецким уточнений Полянский заменил этот знак на *ùe* (Polański 1971, 208; Schleicher 1870, 290; Rost 1907, 389; Lehr-Splawiński 1929, 209; Trubetzkoy 1929). Олеш помещает указанное *ùe* в скобки, не меняя, однако, грамматической квалификации 3. sg. praes. (Olesch 1983, 291). Реконструкция дополабского (позднепраславянского) соответствия при таком прочтении выглядит так: **ѓмајеть* (или *ѓмајеть*) *рыбу*. Быть может, следует учесть еще одну возможность: форму *jajmaj* читать как рефлекс **ѓму*, т.е. им. пад. ед. ч. муж. рода действительного причастия настоящего времени. У Хеннига в статье *Sitz* существительные-названия лиц *Sitzer*, *Besitzer* переведены причастием *Sedangse sedacùe*. Правда, в древянополабском неизвестны другие причастия на *-y*, но эта архаичная форма могла сохраниться в системе нестандартного архаичного глагола *jajmât* [о его предшественниках см.: (Иванов 1981, 132; Топоров 1980, 47–49)]. Нельзя категорически настаивать на такой возможности, хотя и не стоит ее совсем сбрасывать со счета.

В древнополабских словарях рассматриваемое выражение приводится без славянских параллелей. Разумеется, слово *rajboj* имеет бесспорные параллели во всех славянских языках: **ryba*, им. -вин. п. мн. ч. **rybu*. Так же вне сомнений и многочисленные славянские параллели к глаголу *jajmāt*: в том или ином виде они представлены во всех славянских языках; сводка параллелей собрана в "Этимологическом словаре славянских языков" под редакцией О. Н. Трубачева (Этимологический словарь 1981, 8, 224–225).

Но сочетание **jьmati rybu* оказалось вне сферы внимания исследователей. А между тем оно представлено как в современных говорах славянских языков, так и в письменных памятниках. В старобелорусском акте 1503 г. читаем: дали есмо имь за рекою Ясольдою сеножати и урубь вольный у пущу и в рець *имати рыбу* [цит. по "Историческому словарю белорусского языка": (Гістарычны слоўнік 1996, 94)]. В Гродненском районе соответствующее выражение записал А. П. Цыхун (Цыхун 1993, 63): Некалі *рыбу* пад карчамі *імалі* рукамі, ціпер і сеткаю ні зловіш (Баброўшкі, деревня в Индурском сельсовете, население которой в прошлом занималось водным промыслом — охотой на бобров).

В значении 'ловить' рефлексy глагола **jьmati* представлены довольно широко, использование этого глагола в сочетании с существительным **ryba* не раз засвидетельствовано на восточнославянской территории. В русском языке на Среднем Урале в Нижне-Лялинском районе записан пример: *Рыбку имать* ушли (Словарь ... Среднего Урала 1964, I, 203); в Сузунском районе Новосибирской области зафиксирован пример: В сети *рыба имається* (Словарь... Новосибирской обл. 1979, 203). В украинском собрании пословиц и поговорок М. Номиса (1864) приводятся высказывания: Наперед невода *риби не імати, Імайся, рибко*, велика й маленька; в собрании галицко-русских народных легенд В. Гнатюка имеется такой пример: Як заверли мрежі, *імили двіста чотири риб* (Словарь української мови 1908, II, 198).

Значительно шире, чем выражения с беспрефиксальным глаголом для обозначения ловли и *поймки* рыбы (тип **jьmati rybu*), распространены в славянских языках соответствующие конструкции с префиксальными глаголами того же корня. Ср. русск.: *поймать рыбу*, укр. *впіймати / спіймати рибу*, словенск. *ujèti riho* и под.

Глагол *jajmāt*, кроме приведенных сочетаний, встретился в словаре Хеннига еще только как перевод отдельного слова **Fahen** 'ловить, поймать'. Префиксальный глагол в выражении *vam(ùe)*

danau 'einnehmen', т.е. 'принимать (внутри)' возводится к **vъjъme*(ть) или **vъjъmi*. Ср. еще ряд форм глагола *met* 'иметь'. Едва ли эти родственные рассматриваемой форме слова имеют какое-либо отношение к фразеологическому статусу сочетания.

Слово *rajbo* 'рыба' встретилось еще в сочетаниях *buni'ã rajbo* 'форель (пёстрая рыба)' и *b'ola rajbo* 'белая рыба', а также в предложении *rajhaj plaja va vida* 'рыбы плавают в воде'. Два определительных сочетания возможно рассматривать как атрибутивные терминологические сочетания фразеологического типа (ср. *белый гриб*). Имеются производные слова с этим корнем, означающие 'рыбий' и 'рыбак'. Разумеется, названные сочетания слов и слова не связаны с проблемой фразеологического статуса сочетания **jъmati rybu*.

Блестяще определяя термины *устойчивость* и *идиоматичность*, И. А. Мельчук (Мельчук 1960) ориентировался на синхронический подход к установлению фразеологичности сочетаний. Очевидно, что, применяя мельчуковское определение устойчивости к анализируемому сочетанию в древянополабском, легко прийти к выводу, что оно на 100% устойчиво по отношению к глаголу, коль скоро других сочетаний с этим глаголом не зафиксировано. Но это ведь, скорее всего, лишь следствие скудости и недостаточности записей. В диахроническом плане есть основания считать, что устойчивость сочетания определяется продолжительностью существования сочетания при лексической неизменности его компонентов и сохранении общего значения. Приведенный сравнительный материал показывает, что древянополабское сочетание имеет надежные соответствия в севернославянской области, а следовательно, может считаться по происхождению если не праславянским, то, по крайней мере, севернославянским, а следовательно, иметь возраст не менее тысячи лет, т.е. пятидесяти поколений, что является достаточным показателем диахронической устойчивости.

Идиоматичность анализируемого сочетания по компоненту-существительному отсутствует, так как слово *ryba* здесь использовано в том же основном значении, в котором оно употреблется у всех славян (но ср. русск. сленговые значения *рыба* 'положение при игре в домино, когда с обеих сторон ряд завершается полями, отсутствующими у игроков, а потому замыкающими игру', или *рыба* 'заготовка текста, предполагающая определенную его доработку', где *рыба* действительно идиоматично; не касаемся жаргонного *рыба* 'хитрец' (Быков 1994, 173); словенск *riha* 'мышца' (Pleteršnik 1895, II, 425) > 'часть говяжьего мяса' (Slovar 1985, IV, 505) и под.

Что касается идиоматичности глагольного компонента словосочетания в древянополабском, то она налицо: если отдельно взятому глаголу в немецком имеется у Хеннига эквивалент *fahen*, т.е. 'ловить, хватать', то как эквивалент словосочетания у Хеннига приведен немецкий однословный идиоматичный эквивалент *fischen*, т.е. как бы 'рыбачить, рыболовить'. Это значит, что относительно немецкого древянополабское выражение идиоматично. Идиоматично оно и относительно французского *pêcher* 'ловить рыбу; хватать', которое являлось переводом немецкого *fischen*, но понято в процессе переписки было как субстантив *pêcheur* 'рыбак, рыболов', а потому и стало у Пфэффингера эквивалентом анализируемого выражения.

В 1969 г. Никита Ильич Толстой, имея в виду мои полабские занятия, пригласил меня на симпозиум по славянским литературным языкам донационального периода, на котором я решился, условно считая древянополабский как бы несостоявшимся, нулевым литературным языком, выступить с сообщением о полабской фразеологии (Супрун 1969). Потому и теперь я решился снова обратиться к древянополабской фразеологической тематике. Древянополабское выражение *jajmät rajbaj*, обладающее определенной устойчивостью и идиоматичностью, пополняет собой ряд древянополабских фразеологизмов, имеющих соответствия в других славянских языках. К ним относятся: *zilië sect* 'траву косить' [обширный обзор балтских и славянских значений глагола, употребленного в этом выражении, дан А. П. Непокупным (Непокупный 1964, 88–133)], *ajdië dazd / sneg* 'идет дождь / снег' (Супрун 1974), *pajvü vorüë* 'пиво варит' (Супрун 1992), а вероятно и еще некоторые выражения. Анализ древянополабской фразеологии оказывается связанным с поиском праславянской фразеологии, отражающей определенные аспекты духовной жизни древних славян.

ЛИТЕРАТУРА

- Быков 1994 — Быков В. Русская фея. — Смоленск: Траст-имаком, 1994. — 223 с.
- Гістарычны слоўнік 1996 — Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 14. — Мінск: Навука і тэхніка, 1996. — 304 с.
- Иванов 1981 — Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. — М.: Наука, 1981. — 272 с.

- Мельчук 1966 — Мельчук И. А. О терминах “устойчивость” и “идиоматичность”. — Вопросы языкознания. 1966. № 4. 73–80.
- Непокупный 1964 — Непокупный А. П. Ареальные аспекты балтославянских языковых отношений. — Киев: Наукова думка. 1964. — 168 с.
- Словарь... Новосибирской обл. 1979 — Словарь русских говоров Новосибирской области. Под ред. А. И. Федорова. — Новосибирск: Наука. 1979. — 606 с.
- Словарь... Среднего Урала 1964 — Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. I. — Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во. 1964. — 208 с.
- Словарь української мови 1908 — Словарь української мови / Словарь украинского языка. Т. II. — Київ. 1908. (Репринт: Київ: Вид-во Академії наук УРСР. 1958). — 575 с.
- Супрун 1969 — Супрун А. Е. Полабская фразеология. — Славянские литературные языки в донациональный период. (Тезисы докладов). — М.: Наука. 1969. 22–23.
- Супрун 1974 — Супрун А. Е. К изучению полабской фразеологии. — Исследования по славянской филологии. Сборник, посвященный памяти В. В. Виноградова. — [М.]: Изд-во Московского университета. 1974. 301–306.
- Супрун 1987 — Супрун А. Е. Полабский язык. — Минск: Изд-во “Университетское”, 1987. — 96 с.
- Супрун 1992 — Супрун А. Е. Из древяно-полабской фразеологии. — *Studia phraseologica et alia. Festschrift für Josip Matesić*. München: Otto Sagner. 1992. 477–487.
- Толстой 1995 — Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М.: Индрик. 1995. — 512 с.
- Топоров 1993 — Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. I–K. — М.: Наука, 1980. — 384 с.
- Цыхун 1993 — Цыхун А. П. Скарбы народнай мовы. — Гродна. 1993. — 244 с.
- Этимологический словарь 1981 — Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 8. — М.: Наука. 1981. — 256 с.
- Lehr-Splawiński 1929 — Lehr-Splawiński T. Gramatyka połabska. (Lwowska biblioteka slawistyczna. 8). — Lwów: Jakubowski. 1929. — 278 s.
- Olesch 1959 — Olesch R. (Nachdruck besorgt von R. Olesch). *Vocabularium Venedicum von Christian Hennig von Jessen*. — Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1959. — 415 S.
- Olesch 1962 — Olesch R. *Juglers lünebnrgisch-wendisches Wörterbuch*. (Slavistische Forschungen. 1). — Köln, Graz: Böhlau Verlag. 1962. — 340 S.

- Olesch 1967 — Olesch R. *Fontes lingvae Dravaeno-Polabicae minores et Chronica Venedica J.H.Schvltzii*. (Slavistische Forschungen. 7). — Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1967. — 36+10 S.
- Olesch 1983–1987 — Olesch R. *Thesaurus Linguae Dravaenopolabicae*. T. I–IV. (Slavistische Forschungen. 42/1–IV). — Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1983–1987. — 1648 + 360 S.
- Pleteršnik 1895 — Pleteršnik M. *Slovensko-nemški slovar*. II. — Ljubljana, 1895. — 978+IX s.
- Polański 1971 — Polański K. (z. 1: & T. Lehr-Splawiński). *Słownik etymologiczny języka Drzewian Polabskich*. Z. 1–6. Wrocław etc.: Ossolineum (z. 5, 6: Warszawa: Energeia), 1962, 1971, 1973, 1976, 1993, 1994. — XVIII + 1104 s.
- Polański, Sehnert 1967 — Polański K., Sehnert J. A. *Polabian-English Dictionary*. (Slavistic Printings and Reprintings. LXI). — The Hague, Paris: Mouton, 1967. — 240 p.
- Rost 1907 — Rost P. *Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannöverschen*. — Leipzig: Hinrichs, 1907. — 451 S.
- Schleicher 1871 — Schleicher A. *Laut- und Formenlehre der Polabischen Sprache*. — St.-Petersburg, 1871. — 354 S.
- Slovar 1985 — *Slovar slovenskega knjižnega jezika*. IV. — Ljubljana: SAZU, 1985. — 1128 s.
- Słownik 1970 — *Słownik starożytności słowiańskich*. T. 4. — Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum, 1970. — 656 s.
- Szydłowska-Ceglowa 1963 — Szydłowska-Ceglowa B. *Materialna kultura ludowa Drzewian Polabskich w świetle poszukiwań słownikowych*. — Lud, t. XLVIII, 1963, 19–256.
- Trubetzkoy 1929 — Trubetzkoy N. *Polabische Studien*. (Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 211. Bd., 4. Abhandlung). — Wien, Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky A.-G., 1929. — 167 S.

Ago Künnap
Tartu

ВОЗМОЖНЫЙ ФИННО-УГОРСКИЙ СУБСТРАТ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

*Финно-угорско-индоевропейские языковые отношения —
(возможный) финно-угорский субстрат в славянских языках —
фонетические признаки — морфосинтаксические признаки*

Известно, что северные индоевропейские языки — германские, балтийские и славянские — испытали явное влияние каких-то неиндоевропейских языков, которые оставили в них свой субстрат. При этом фонетический и морфосинтаксический субстраты в этих языках сильно напоминают фонетические и морфосинтаксические черты, свойственные финно-угорским языкам. В то же время в северных индоевропейских языках практически нет финно-угорского лексического субстрата. Из последнего обстоятельства С. Г. Томасон и Т. Кауфман, рассматривая возможный финно-угорский субстрат в славянских языках, делают вывод, что можно говорить о смене языка, а не просто о заимствованиях (Thomason, Kaufman 1988, 239–240). Т.е. имеется в виду, что при смене языка новый язык осваивается не безупречно, а с ошибками в произношении и в образовании предложений, или, говоря другими словами, в новом, изучаемом языке остается фонетический и морфосинтаксический субстрат прежнего языка. Процесс смены языка можно в принципе сравнить с тем, как мы и ныне изучаем иностранный язык: мы осваиваем слова этого языка и, естественно, не пользуемся словами родного языка, но невольно произносим иностранные слова и образуем из них предложения наподобие нашего родного языка. Исходя из новейших данных археологии, антропологии, генетики и лингвистики, К. Вийк выдвинул недавно гипотезу, согласно которой рассматриваемые северные индоевропейские языки образовались вследствие перехода изначального североевропейского финноугорязычного населения на индоевропейские языки (см., напр., Wiik 1996).

Томасон и Кауфман пишут, что, когда носители балтийских и столетиями позже — славянских языков распространились в северном и восточном направлениях, они встретили носителей

неиндоевропейских языков, скорее всего финно-угорских. Имеется, по меньшей мере, два исторических обстоятельства, показывающих, что носители разных финно-угорских языков перешли на балтийские и славянские языки. Древние летописи подтверждают контакт славянского и финно-угорского населения к 862 г., но возможно, что контакт состоялся уже в VI в. Балтийцы вошли в контакт с финно-уграми еще раньше. Носители прибалтийско-финских языков на побережье Финского залива от Нарвы до Петербурга и в окрестностях побережья Белого моря начали переходить на русский язык в XIII в. Но финно-угорские языки оказали влияние на все славянские языки, следовательно, до распада славянской языковой общности и тем самым до появления прямых доказательств славяно-финно-угорских контактов.

Если предки русских вступили в контакт с финноуграми в VI в., то, по мнению тех же авторов, понадобилось некоторое время для распространения финноугризмов от северных славян до южных. Такое распространение могло иметь место до X в., когда, видимо, еще сохранялись контакты между всеми славянами. Самые новые славяно-финно-угорские контакты проявляются, естественно, в северных диалектах русского языка. Томасон и Кауфман считают финно-угорский субстрат в славянских языках скорее умеренным, чем сильным: большинство наследственных индоевропейских черт в них сохранилось (Thomason, Kaufman 1988, 238–240, 251). Томасон и Кауфман приводят анализ ряда конкретных возможных финно-угорских субстратных явлений в славянских языках, учитывая при этом и возможность параллельного однотипного развития в обеих языковых семьях (Thomason, Kaufman 1988, 241–250).

Я хотел бы подчеркнуть, что ученые становятся в последнее время все чаще приверженцами так наз. пионерской теории. Согласно этой теории, появление нового археологического культурного комплекса не обязательно связывать с массовым прибытием нового населения: достаточно перемещения немногочисленных распространителей-пионеров этой культуры. А лингвисты стали все более связывать смену языка с престижем языка: языковое большинство могло перейти на язык меньшинства, если новый язык был для него престижным. Индоевропейский язык земледельцев был для финноугроязычных охотников и рыболовов престижным, так как земледелие обеспечивало проживание в 50 раз большему числу людей, чем охота и рыболовство. Следовательно, можно предположить, что на финноугроязычную

территорию распространилось лишь небольшое количество славян, но их язык был там усвоен со стороны большого количества финноугров.

Ниже я приведу все известные мне указания на возможный финно-угорский субстрат в славянских языках. (Сокращения языков и диалектов: ВС = восточнославянские языки, ЗР = западные диалекты русского языка, ПИЕ = протоиндоевропейский язык, ПС = протославянский язык, ПФУ = протофинно-угорский язык, Р = русский язык, С = славянские языки, СР = северные диалекты русского языка, ЮС = южнославянские языки, ЦР = центральные диалекты русского языка).

Фонетика

1. Изменение системы гласных в ПС таким образом, что она стала полностью сопоставимой с системой гласных в ПФУ (Wiik 1996; см. также Ткаченко 1989, 89–90; Raukko, Östman 1994, 24).
2. Оппозиция кратких и долгих гласных в ПС (Viitso 1996).
3. Замена квантитативного различия гласных качественным в ПС. Отсутствие различия количества гласных в Р, белорусском, украинском, восточных диалектах словацкого (Thomason, Kaufman, 1988, 248–249).
4. Переход ПИЕ *c* > ПС *s* (Wiik 1996).
5. Переход *cc* > *qx*, *c* > *q*, *q* > *G* и *gj* > *Gt* в ПС (Wiik 1996, см. также Strade 1995).
6. Утрата аспирации взрывных смычных в ПС (Wiik 1996).
7. Гармония гласных, которая действует на самые слабые гласные (еры) в древнецерковнославянском (Thomason, Kaufman 1988, 248; Raukko, Östman 1994, 24; см. также Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 12).
8. Тенденция к фонетической аккомодации в слоге и слове в С (Bednarczuk 1991).
9. Простой вокализм (качество гласных) и несложная просодия в противопоставлении с развитым консонантизмом в С (Bednarczuk 1991; см. также Wiik 1996).
10. Корреляция передних и задних гласных, а также палатализованных и непалатализованных согласных в С, которая привела к симметрии в системе фонем. Почти каждый непалатализованный согласный имеет палатализованное соответствие в инвентаре фонем в Р (Thomason, Kaufman 1988, 247; Raukko, Östman 1994, 24; Bednarczuk 1991; см. также Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 12).
11. Появление протетического *v* перед задними огубленными

гласными и протетического *j* перед передними неогубленными гласными в С (Thomason, Kaufman 1988, 244).

12. переход *o* → *a* и *э* в СР и ЦР (включая литературный язык), аканье в белорусском, словенском, западных и восточных диалектах болгарского (Thomason, Kaufman 1988, 244).

13. *с* и *с̣* → *с* в Р (цоканье) (Thomason, Kaufman 1988, 241).

14. Фиксация ударения на начале слова в некоторых СР (Thomason, Kaufman 1988, 241; Raukko, Östman 1994, 28; Wiik 1996; см. также Strade 1995; Viitso 1996).

15. **tl*, **dl* → **kl*, **gl* в псковском и новгородском диалектах Р (Viitso 1996).

Морфосинтаксис

1. Категория одушевленности/неодушевленности в ПС (Thomason, Kaufman 1988, 249; см. также Raukko, Östman 1994, 24).

2. Отсутствие оппозиции совершенности/несовершенности в языках ареала Балтийского моря (Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 14).

3. Употребление настоящего времени вместо флективного будущего времени в языках ареала Балтийского моря (Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 15–16; см. также Metslang 1996).

4. Флективное прошедшее время (независимое от оппозиции совершенности/несовершенности) в языках ареала Балтийского моря (Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 15).

5. Тенденция к агглютинации, приведшая к избытию формантов и связующих морфем и тем самым к удлинению слов в С (Bednarczuk 1991).

6. Именная концепция предложения (глагольный и именной предикат мало различаются) в С (Bednarczuk 1991).

7. Доминирование координации над субординацией в С (Bednarczuk 1991).

8. Развитое склонение в противопоставлении с простым спряжением (аспекты в функции времен; наклонения, залоги и лица глагола слабо различаются) в С (Bednarczuk 1991).

9. Значительное количество причастий и соответствующих конструкций, а также безличных выражений в С (Bednarczuk 1991).

10. Высокий уровень сохранения исходной индоевропейской падежной системы во всех, а особенно в наиболее балканизированных С (Thomason, Kaufman 1988, 250).

11. Появление предикативной инструментальной конструкции в С. Она наиболее развита в Р и польском, напр., *Р он был солдатом* (Thomason, Kaufman 1988, 250; Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 31; см. также Raukko, Östman 1994, 24).

12. Семантически мотивированная альтернатива падежных форм субъекта и объекта в ВС (Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 29–36; см. также Raukko, Östman 1994, 23; Ritter 1996, 185–186; Ткаченко 1989, 81–82; Klaas 1996, 38–44).
13. Объект стоит в ином падеже в отрицательном предложении, чем в утвердительном в Р и польском (Thomason, Kaufman 1988, 245; Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 29–30; Raukko, Östman 1994, 23), напр., Р *не пью чая* — *пью чай*.
14. Использование притяжательного возвратного местоимения вместо притяжательного в Р, напр., *я читаю свою книгу, ты читаешь свою книгу* и т. д. (см. также Stolz 1991, 55–58).
15. Так наз. местный падеж в Р, напр., *в лесу* — *в лесе* (Thomason, Kaufman 1988, 245; Raukko, Östman 1994, 24; Ткаченко 1989, 82–83).
16. Так наз. родительный падеж, вернее, партитивная конструкция, которая возникла в результате переосмысления исчезающего различия классов имен в Р, напр., *стакан чаю* — *цена чая* (Thomason, Kaufman 1988, 245; Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 81–83).
17. Отсутствие глагола 'habere' отчасти в ВС, особенно в Р, напр., Р *у меня пакет* (Thomason, Kaufman 1988, 246; Stolz 1991, 73–76).
18. Показатель *-ka*, который присоединяется к простому повелительному наклонению для смягчения приказа в Р (Thomason, Kaufman 1988, 245; Raukko, Östman 1994, 24), напр., *иди-ка*.
19. Дательный падеж и глагол 'прийти' в дебитиве в Р, напр., *мне пришлось долго ждать* (Klaas 1996, 53–58; см. также Stolz 1991, 77–81).
20. Смешанная система пред- и послелогов в Р (Stolz 1991, 81–88).
21. Специальная притяжательная конструкция в СР, напр., *у волков тут корову идено* (Meerwein 1993; Leinonen 1996).
22. Замена винительного падежа именительным в единственном числе имен женского рода в СР (Thomason, Kaufman 1988, 242).
23. Объект в именительном в древних СР, напр., *а велено им служить городова осадная служба* (Thomason, Kaufman 1988, 242; Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1992, 33–36).
24. Словообразовательный каузативный суффикс в СР, напр., *сосать* — *соситать* 'давать сосать' (Thomason, Kaufman 1988, 244).
25. Специальная форма финального инфинитива, возможно, в СР (Ritter 1996).

Есть все основания надеяться, что дальнейшее детальное исследование славянских языков, причем при более развернутом участии финноугроведов, может существенно пополнить этот перечень.

ЛИТЕРАТУРА

- Ткаченко 1989 — Ткаченко О. Б. Очерки теории языкового субстрата. — Киев, 1989.
- Bednarczuk 1991 — Bednarczuk L. Balto-Slavic and Finno-Ugric linguistic convergences in typological and areal aspects. — The 6th International Congress of Baltists. October 2–4, 1991. Abstracts. Vilniaus Universiteto leidykla, 1991, 13.
- Dahl. Koptjevskaja-Tanun 1992 — Dahl Ö., Koptjevskaja-Tanun M. Language typology around the Baltic sea: a problem inventory [= Papers from the Institute of linguistics. — University of Stockholm (PILUS) 51. June 1992].
- Klaas 1996 — Klaas B. Similarities in case marking of syntactic relations in Estonian and Lithuanian. — M. Erelt (red.). Estonian: Typological studies. I. Tartu, 1996, 37–67.
- Leinonen 1996 — Leinonen M. Possessive impersonal constructions in Komi and Northern Russian dialects. — Symposium Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Groningen 21.–23. November 1996. Abstracts. Teilnehmer, 33.
- Meerwein 1993 — Meerwein G. Einige Anmerkungen zu Gemeinsamkeiten in den Tempussystemen der Sprachen des Ostseeraums. (Vortrag, gehalten im Rahmen der Baltischen Studientage, Bonn-Bad Godesberg, 19.–21. November 1993...). (Рукопись).
- Metslang 1996 — Metslang H. The Development of the futures in the Finno-Ugric languages. — M. Erelt (red.). Estonian: Typological studies. I. Tartu, 1996, 122–144.
- Raukko, Östman 1994 — Raukko J., Östman J.–O. Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen (= University of Helsinki. Department of general linguistics. Publications 25. 1994).
- Ritter 1996 — Ritter R.-P. Zum Supinum im Ostseefinnischen, Lappischen und Baltischen. — CIFU VIII, pars III, Jyväskylä, 1996, 183–188.
- Stolz 1991 — Stolz T. Sprachbund im Balticum? Estnisch und Lettisch im Zentrum einer sprachlichen Konvergenzlandschaft. — Bochum, 1991.
- Strade 1995 — Strade N. Uralic, Germanic, Paleo-European — about the earliest interactions of different language families in Northwestern Eurasia. 1995. (Рукопись).

- Thomason, Kaufman 1988 — Thomason S. G., Kaufman T. Language contact, Creolization, and genetic linguistics. — Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1988.
- Vntso 1996 — Viitso T.-R. Finnic and its Indo-European neighbors: common changes. 1996. (Рукопись).
- Wiik 1996 — Wiik K. Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti. 1996. (Рукопись).

V. ИЗ ИСТОРИИ СЛАВИСТИКИ

Савватий Васильевич Смирнов
Tartu

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГРЕЧ (1787–1867)

История славистики — история русской славистики XIX в. — грамматические труды и взгляды Н. И. Греча

Среди русских грамматистов первой половины XIX в. одно из видных мест занимает Н. И. Греч. Николай Иванович Греч родился 3(14) августа 1787 г. в Петербурге в семье чиновника. Их род происходил из Чехии. Но его предки, чтобы избежать гонений католического духовенства, уже в начале XVII в. переселились в Пруссию, а позднее в Россию.

Первоначальное образование Греч получил дома, затем в юнкерской школе, учрежденной при сенате для подготовки гражданских чиновников. В 1804 г. он поступил на гражданскую службу и одновременно стал вольнослушателем в Педагогическом институте. После окончания института был в 1809 г. определен старшим учителем в Главном немецком училище, в 1811 г. — смотрителем с.-петербургских училищ. В 1814–1817 гг. состоял старшим учителем русской словесности в С.-Петербургской гимназии.

Широкую известность Греч получил прежде всего как редактор-издатель “Сына отечества” (1812–1839) и “Северной пчелы” (1831–1859). “Сын отечества” был в течение десятилетия одним из лучших русских журналов. В нем принимали участие Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Гнедич и другие видные писатели и поэты. Известный литературовед Р. В. Иванов-Разумник писал: “Борьба с литературно-реакционным “шишковизмом”, близость к кругам “Арзамаса”, либеральное масонство, организация ланкастерских школ, знакомство с либеральными, а впоследствии и революционными кругами будущих декабристов — вот круг деятельности и знакомств Греча в первое десятилетие его “Сына отечества”. В те годы Греч пользовался славой либерала, чуть ли не “красного”, а журнал его был самым либеральным органом журналистики той эпохи”¹.

Но после 1820 г. в умонастроениях Греча происходит резкий перелом. Решающую роль в этом сыграли два события: бунт Семеновского полка и знакомство и дружба с Ф. В. Булгариным. Семеновская история.

*Языки малые и большие... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi.
(Slavica Tartuensis II), Tartu, 1998.*

к которой Греч оказался косвенно причастным, настолько его перепугала, что он “вырезвился от либеральных идей”² и из “отъявленного либерала” стал трусливым и верноподанным консерватором. Его житейской мудростью становится раблепская поговорка “против рожна не попрещь”. Недаром Н. А. Добролюбов назвал Греча “поборником джи и мрака”.

Кроме многочисленных журнальных статей, перу Греча принадлежат романы “Поездка в Германию” (1836) и “Черная женщина” (1834), а также “Опыт краткой истории русской литературы”, получивший довольно широкую известность в России и за рубежом.

Научная деятельность Греча в области русской грамматики начинается в конце первого десятилетия XIX в. Это был период, когда в отечественном языкознании ведущее место занимала философская грамматика. По уставу 1804 г. она была введена в гимназиях, что обусловило появление целого ряда соответствующих учебных пособий.

В этих пособиях язык рассматривается как рационально организованная система знаков, служащих для выражения и сообщения мысли. Стремясь выяснить общие принципы построения языка, авторы философских грамматик должны были отделить в нем более устойчивое от более изменчивого, т.е. по сути дела провести некоторое разграничение языка и речи. Обычно речь в их понимании это говорение, применение языка, а язык - необходимая для этого совокупность слов-знаков. Философская грамматика рассматривалась как основание всех грамматик и всех языков. Поэтому в качестве образца (нормы) брались логические категории и по ним измерялись грамматические формы русского языка. Все случаи, которые не подходили под эту норму, считались исключениями, неправильностями.

Однако положение философской грамматики в школе не было прочным. Уже в 1811 г. по разрешению министра народного просвещения в петербургской уездной гимназии был введен новый учебный план, по которому исключался ряд предметов, в том числе и философская грамматика. Опыт оказался удачным, и в 1817 г. его решили распространить на все губернские гимназии. Изъятие философской грамматики в то же время означало явную победу старой практической грамматики, учившей правильно говорить, читать и писать на материале литературной речи. Тем не менее, и наследие философских грамматик с их стремлением уяснить логику речи и установить связь логических и грамматических категорий не исчезли бесследно.

В 20–30-е гг. XIX в. стремление усвоить лучше традиции философской грамматики и придать ей практическую направленность, т.е. приспособить ее к целям и задачам школьного преподавания, было прежде всего характерно для грамматических трудов Греча. Именно в это время особенно развернулась его издательская деятельность. Ученый комитет, созданный в 1818 г. для рассмотрения вышедших учебных пособий и отбора из них

лучших в качестве обязательных, признал все грамматики неудовлетворительными. Чтобы восполнить пробелы в учебной литературе, Греч уже в 1823 г. издает небольшую брошюру "Корректурные листы русской грамматики". В 1827 г. появляется объемистая "Пространная русская грамматика" (II изд., 1830). Вслед за ней выходят два сокращения этой книги: "Практическая русская грамматика" и "Начальные правила русской грамматики". Последняя вполне соответствовала новым требованиям и до 1842 г. выдержала 9 изданий, а с 1843 по 1860 г. в переделанном виде под названием "Краткая русская грамматика" еще 11 изданий. В 1832 г. Греч печатает "Практические уроки русской грамматики", в 1840 г. — "Чтения о русском языке". В 1851 г. появляется новое видоизменение — "Учебная русская грамматика для учащихся" и "Руководство к преподаванию по ней для учащихся", которые были утверждены в качестве учебных пособий ведомством военно-учебных заведений. В следующем году он переиздает их под заглавием "Задачи учебной грамматики". Затем обратив внимание, что большое значение придается элементарному обучению, Греч в 1852 г. печатает "Начальную русскую грамматику", а в 1860 г. переименовывает ее в "Русскую грамматику первого возраста". В таком виде она была принята духовно-учебным ведомством и до 1868 г. выдержала три издания.

В отличие от многих других авторов, Греч не рассматривает язык, как нечто однородное, лежащее в одной плоскости. Он различает язык разговорный (устный) с его социальной и территориальной дифференциацией и книжный (письменный), куда включает язык науки, поэзии, а также язык отдельных писателей и поэтов. Вследствие этого перед ним встал вопрос, какую разновидность языка он должен представить в своей грамматике. На этот вопрос Греч отвечает следующим образом: "Русская грамматика, составляющая предмет сего сочинения, есть, следовательно, собрание правил русского языка общенародного и книжного, на степени нынешнего его образования".³

Правила такой грамматики должны опираться на неизменные принципы философской грамматики и отвечать следующим требованиям: "Во-первых, правила сии должны быть основаны на свойстве и употреблении того самого языка, к которому оныя относятся: недостаточность многих наших грамматик происходила оттого, что оныя были списаны с грамматики латинского языка, который долгое время несправедливо почитаем был образцом всех языков. Надлежит отыскивать собственные свой-

ства каждого языка в нем самом: найденная аналогия показывает общее правило; употребление же составляет исключения. — Во вторых, поелику правила языка заимствуются из употребления, а не из умозрения, то и должны они быть доказываемы примерами: философические доказательства здесь редко могут иметь место. — В-третьих, правила языка, возвышающегося и упадающего наравне с просвещением употребляющего оный народа, должны в точности соответствовать степени образования и богатства языка в данное время; и, в-четвертых, правила народного языка заимствуются из главного наречия; наречия частные или областные принимаются в уважение только для пояснения и истолкования некоторых особенностей в употреблении".⁴

Следовательно, грамматист, по Гречу, не законодатель языка, а собиратель и издатель составленных народом законов. Он должен отражать язык в его точном виде, опираясь на употребление большинства, а не на собственные желания или намерения. Как были реализованы эти общие принципы, мы постараемся показать на примере "Практической русской грамматики".

В грамматике Греч выделяет теоретическую часть (этимология и синтаксис) и практическую (орфоэпия, орфография).

Основу морфологии составляет учение о слове. Все слова входят или в части речи (означают предметы и их качества), или частицы речи (выражают взаимные отношения предметов). К частям речи Греч относит имена существительные, имена качественные (прилагательные, причастия и наречия) и глаголы. Частицы речи могут обозначать отношение отдельных предметов (предлоги) или выражать взаимные отношения суждений (союзы). Особое место занимают местоимения, которые употребляются вместо названий предметов и обозначают отношение этих предметов к бытию или действию. Они объединяют в себе значение частей речи и частиц речи. Особую группу составляют междометия, так как они выражают не понятия, а только ощущения человека.

У существительных Греч рассматривает лексико-грамматические разряды, подробно останавливается на категориях числа и рода и их признаках, выделяет три склонения (по количеству родов). Разделение прилагательных на качественные, обстоятельственные и притяжательные проведено недостаточно четко. К последним отнесены не только слова типа 'женин, царев, верблюжий', но и 'царский, женский' и даже 'золотой, сосновый' (в значении "сделанный из золота, сосны"). Числительные Греч рассматривает особо, хотя и не считает их самостоятельной

частью речи. Он разделяет их между существительными (‘сто, тысяча, пара, половина, восемь’) и прилагательными (‘один, два, три, четверо, полтора, первый, десятый’). Выделенные Гречем восемь разрядов местоимений сохранились в грамматиках до настоящего времени (школьная грамматика добавляет к этому еще отрицательные местоимения). В глаголе подробно описано только спряжение, другие же категории освещены очень кратко. К наречиям Греч относит не только собственно наречия, но и деепричастия, показывает их разряды и образование. Частицы речи и междометия фактически лишь перечислены, без какого-либо анализа.

Центром синтаксиса у Греча становится предложение. Исходя из структуры логического суждения, он выделяет в предложении три части: подлежащее (предмет, о котором говорится в предложении), сказуемое (качество, которое мы придаем подлежащему или отнимаем у него) и связку. Подлежащее может быть простое, сложное, несоставное и составное. Несоставное подлежащее выражается им. п. существительного, прилагательного, местоимения, родительным при отрицании, инфинитивом и даже наречием (ср. Мне холодно). В составном подлежащем имеется еще определение, в роли которого могут выступать прилагательные, некоторые местоимения, наречия и приложения. Сказуемое также может быть простое (‘роза *цветет*’), сложное (‘роза *бела и нежна*’), несоставное (‘роза *цветет*’) и составное (‘роза *цветет очень пышно*’).

Подлежащее, сказуемое и связка — необходимые части предложения. Но нередко их смысл без пояснения непонятен. В таком случае при них могут быть определительные и дополнительные слова. Они также составляют часть предложения, но не существенную, и могут быть выражены разными частями речи.

Греч выделяет несколько типов простых предложений. Во-первых, по характеру сообщения: повествовательные, вопросительные, повелительные; во-вторых, по полноте выражения главных членов: полные, неполные, заменительные (типа: Нет).

Сложное предложение состоит из двух и более простых предложений, различающихся в грамматическом и логическом отношении. С грамматической точки зрения предложения бывают главные, придаточные и вводные. Главное предложение есть независимое от других предложений выражение мысли. Придаточное развивает или поясняет какую-либо часть главного предложения. Вводным называется такое предложение, у которого нет никакой грамматической связи с главным. Прида-

точные в зависимости от того, какую часть речи они заменяют в главном предложении, бывают существительные, прилагательные и обстоятельственные. К числу придаточных предложений Греч относит также причастные и деепричастные обороты.

В логическом отношении предложения делятся на независимые и зависимые. Первые выражают самостоятельную мысль, а вторые — относительную, служащую для пояснения и дополнения главной мысли. Независимые предложения делятся на соединительные, соединительные с присовокуплением постороннего значения (совокупительные, исключительные, разделительные, распределительные, присовокупительные) и противительные. Среди зависимых различаются означающие отношение признака к существу, обстоятельства времени и места, выражающие отношение причины к действию непосредственно, условно или уступительно. Анализ сложного предложения заканчивается учением о периоде.

Грамматические труды Греча пользовались широким признанием в 20–40-е гг. XIX в. Они были переведены на немецкий, французский, английский, шведский и польский языки. На их основе создавались другие школьные учебники русского языка.

Греч действительно дал подробное и тщательное описание форм словоизменения, отчасти словообразования, в русском языке, наиболее полно рассмотрел синтаксис предложения. При этом он заложил основы учения о главных и второстепенных членах, введя понятия определения и дополнения и создав некоторые препосылки для выделения обстоятельства. Тем самым Греч одним из первых в России создал логико-семантическое понимание структуры предложения, которое в той или иной форме прошло через весь XIX в. и в определенной степени сохраняется до сих пор. Греч разграничил простое и сложное предложение, главное и придаточное, выделил основные типы придаточных предложений, определил некоторые особенности порядка слов в русском языке. Все это не могло не способствовать более углубленному пониманию предложения и раскрытию его новых сторон.

Однако те требования, которые Греч предъявлял к грамматике, оказались невыполненными. Если он хотел выводить правила из употребления, то должен был бы пользоваться индуктивным методом. Но у Греча весь анализ строится на основе логического суждения и его структуры. Поэтому зачастую выводы делаются не на основе фактов, а факты подводятся под определенную схему. Попытки как-то разграничить логическую и грамматическую

сторону предложения приводили то к их противопоставлению, то явному смещению. Иногда же анализ отношений грамматических форм и конструкций просто подменялся анализом отношений между явлениями окружающей действительности.

Греч обещал вывести правила общенародного и книжного языка. Но народный язык он исключает полностью, считая его "площадным". Из художественной литературы Греч принимал во внимание лишь прозаические произведения Жуковского, Батюшкова, Пушкина и главным образом Карамзина, язык которого к тому времени воспринимался уже как устарелый. В. Г. Белинский по этому поводу писал: "Некоторые указывают на язык Карамзина и его орфографию как на н о р м у, которой обязаны все держаться. Жалкое ослепление, смешное заблуждение! Эти люди не понимают, что русский язык после Карамзина шел не назад, а вперед, и шел быстро, а потому и ушел далеко".⁵ Таким образом, несмотря на дальнейшую демократизацию русского литературного языка, связанную с возникновением и развитием реализма, фактическая база грамматических руководств Греча оказалась предельно суженной. Как писал Ф. И. Буслаев, "у русской грамматики отняты все сокровища народного языка: и речь безыскусственная в песнях и пословицах, и церковнославянская, даже произведения образцовых писателей, отличающиеся живостью народной речи, и сверх того, без исключения все стихотворные пьесы".⁶

При том произведения Карамзина не исчерпывали всего богатства русского языка, всех его морфологических и синтаксических форм. Поэтому многие явления языка, даже литературного, не находили себе объяснения в грамматиках Греча. А. Д. Галахов, приведя ряд несоответствий между правилами "Практической русской грамматики" и употреблением грамматических форм в художественной литературе, с негодованием писал: "Это не грамматика р у с с к о г о я з ы к а, а грамматика т а к о г о - т о автора. Пусть же он один ею и пользуется. Мы, русские, не хотим знать ее - за то, что она сама не знает богатства, силы и красоты русской речи".⁷

Кроме того, все языкознание в связи с возникновением и развитием сравнительно-исторических исследований переходило от дедуктивного метода, характерного для философских грамматик, к индуктивному с его стремлением к максимальному охвату языковых фактов и с повышенным вниманием к каждому из них. Таким образом, грамматика Греча при самом своем возникновении оказалась на периферии основного русла, по которому

двигалась лингвистическая мысль. По своим исходным принципам она была направлена скорее в прошлое языкознания, чем будущее.

Греч умер 12(24) января 1867 г., пережив славное начало и бесславный конец своих грамматических трудов. А. А. Котляревский уже в 1859 г. называет грамматику Греча “старой телом и духом”.⁸

¹ Иванов-Разумник. Н. И. Греч и его “Записки”. — В кн.: Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 14.

² Н. И. Греч. Записки о моей жизни. — М.—Л., 1930, с. 694.

³ Н. Греч. Пространная русская грамматика. — СПб., 1827, с. 37.

⁴ Н. Греч. Пространная русская грамматика. с. 37–38.

⁵ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Т. VIII. — М.: АН СССР, 1955, с. 253.

⁶ Ф. И. Буслаев. О преподавании русского языка и словесности. (Заметки на статью г. Греча в 7-м № “Морского сборника” за 1856 г.). — Отечественные записки, 1856, т. 109, декабрь, с. 336.

⁷ А. Галахов. Мнение о статье г. Греча: Заметки о преподавании русского языка и словесности (помещенной в 7-м № “Морского сборника” за 1856 г.). — С.-Петербургские ведомости, 1856, № 268.

⁸ Эк. С.-т. Опыт исторической грамматики русского языка, составленный Ф. Буслаевым. — Отечественные записки, 1859, т. 126, с. 26.

Liliana Spinozzi Monai
Udine

TRA GLI SLOVENI DEL FRIULI SULLA SCIA DI J. BAUDOIN de COURTENAY

История славистики - история словенистики - И. А. Бодуэн де Куртено и фриульские (фурланские) словенцы - терекский и надижский говоры (dialetti del Torre e del Natisone) - словенско-фриульские языковые отношения

Chi volesse dedicarsi in maniera sistematica allo studio dei dialetti sloveni non potrebbe prescindere dal denso articolo di Nikita I. Tolstoj (Толстой 1960), che non soltanto offre preziose informazioni sull'attività concreta esplicata da Baudouin nel campo della dialettologia slovena, ma ne chiarisce il pensiero sottostante, per molti riguardi pionieristico, rimasto a tutt'oggi insuperato.

Apprendiamo così che, quando ancora la maggioranza dei linguisti del suo tempo — in particolare i Neogrammatici — indulgevano allo studio dei dialetti per il supporto che essi potevano offrire ai testi di tradizione classica — o quantomeno scritta — Baudouin rivendicava l'assoluta priorità alle varietà orali, non ancora raggiunte da interventi normativi. In esse egli ravvisava il materiale ottimale da un lato per deduzioni di carattere generale sul linguaggio umano *tout court*, dall'altro per la ricostruzione di una data realtà culturale. E tra le varietà orali, riteneva quelle di area mistilingue ideali per il conseguimento degli obiettivi indicati, poiché, a suo avviso, il contrasto tra sistemi rende particolarmente perspicuo lo svolgersi del mutamento linguistico, causato — o accelerato — dal contatto.

Nell'additare la strada per la ricerca, Baudouin, tuttavia, non si è limitato ad affermazioni di principio, ma ha dotato il mondo scientifico di ingenti materiali ad altissimo potenziale euristico, da lui stesso raccolti, ma pubblicati e/o analizzati solo parzialmente, data la loro ampiezza e dato soprattutto lo sforzo che una loro utilizzazione pertinente richiederebbe in termini di tempo e competenza¹.

Delle sue pubblicazioni relative agli Sloveni del Friuli² ricorderemo perlomeno il "Saggio di fonetica resiana", del 1875, ed i due volumi di "Материалы" dialettologici e folklorici dedicati al resiano (1895) ed al dialetto del Torre (1904). Tra gli studi che vi fanno da corollario andranno ricordati quelli sull'armonia vocalica del resiano

(1877 e 1881) e quello sui fenomeni di livellamento analogico rilevati nel dialetto del Torre (= tersko/ter.) (Baudouin 1905). Se l'ipotesi di una "reazione etnica" da parte resiana ad un influsso turanico da sostrato, avanzata nel primo dei due lavori, si è poi rivelata infondata³, l'ipotesi di una interdipendenza slavo-romanza sostenuta nel secondo non soltanto viene corroborata da ulteriori ricerche, ma trova conferme, relativamente a fenomeni comparabili, anche nella prospettiva che Baudouin nell'articolo del 1905 non aveva preso in considerazione, pur avendola inserita tra le formulazioni di principio (Baudouin 1901a; Бодуэнъ 1901b). Tale prospettiva prevede che, al di là della conclamata erosione delle varietà slovene da parte del vicino romanzo — soprattutto del friulano, nel nostro caso - quest'ultimo debba a sua volta portare un qualche segno dell'inevitabile influsso ricevuto dai (sub)sistemi sloveni. Le lingue, invero, se lasciate interagire liberamente, lungi dal riflettere ciecamente gli squilibri di natura sociolinguistica, seguono leggi loro proprie, di tipo strutturale, che contemplano un continuo dare e ricevere, lasciando all'osservatore l'incombenza di rilevarne il punto di intersezione, nonché le direttrici del processo osmotico.

Ma cerchiamo di dare concretezza al discorso col portare almeno un esempio atto a dimostrare come la realtà linguistica del Friuli nord-orientale da un lato, ed il pensiero teorico di Baudouin dall'altro possano offrire una chiave di lettura per fenomeni altrimenti di difficile spiegazione.

Nel far questo, rivolgeremo l'attenzione al tratto tipico del parlato spontaneo, rappresentato dalla deissi, prendendo spunto da alcune interessanti osservazioni incontrate di recente in uno studio di ambito romanistico (Vicario 1994).

Le osservazioni riguardano il quadro per così dire sbilanciato offerto dalla serie di pronomi ed aggettivi dimostrativi analitici del friulano, sviluppatasi accanto alla serie sintetica.

Le relazioni fondamentali di lontananza/vicinanza del referente rispetto al locutore possono pertanto venire espresse in friulano sia mediante le forme semplici *chel* "quello" e *chest* "questo", sia con le forme complesse *chel là* letteralmente "quello là" e rispettivamente *chest cà* "questo qua", che peraltro tendono a soppiantare le prime, non avendo, rispetto a quelle, un valore marcato. Alla forma *chest cà*, tuttavia, viene di gran lunga preferita *chel cà*, che nel suo significato letterale "quello qua" non soltanto rappresenta un controsenso dal punto di vista logico, data la giustapposizione dei tratti "lontano + vicino", ma non trova l'equivalente in italiano, neppure in quello regionale dell'area settentrionale, dove le due costruzioni *questo qua* *qu e quello là* li hanno larga diffusione come forme marcate in funzione

rafforzativa, ottenuta "mediante l'unione dei termini semanticamente corrispondenti" (Vicario 1994, 223).

Nello studio citato si rileva, inoltre, il mancato sviluppo della forma **chest là* ("vicino + lontano") col valore di *chel là*, che il rapido sovrapporsi della forma innovativa *chel cà* a *chest cà* farebbe prevedere in ossequio ad un principio strutturale.

Riteniamo che la risposta a questo che si presenta come un piccolo enigma linguistico vada cercata sul versante sloveno, cosa che faremo riportandoci indietro nel tempo, al fine di ricostruire quella forma complessa che il friulano, ad un certo punto della sua evoluzione, potrebbe aver assunto a modello.

Va premesso che nel settore dei pronomi e aggettivi dimostrativi la via imboccata dalle singole varietà slovene del Friuli differisce talora considerevolmente. Lasciando perciò da parte il resiano, che segue un percorso tutto suo (Steenwijk 1992, 122), difficilmente rapportabile al friulano, rivolgeremo l'attenzione ai dialetti del Torre e del Natisone, (= nadiško/nad.), utili entrambi ai fini di un'analisi contrastiva.

Diamo subito il paradigma dei pronomi/aggettivi dimostrativi delle due varietà dialettali e dello sloveno letterario:

	tersko	nadiško	sloveno
"questo"			
M nom. sing.	<i>té-le</i>	<i>tèl</i>	<i>ta</i>
gen. "	<i>téa-le</i>	<i>tèly a</i>	<i>tega</i>
dat. "	<i>kle tèmu</i>	<i>tèl(e)mu</i>	<i>temu</i>
F nom. sing.	<i>tá-le</i>	<i>tála</i>	<i>ta</i>
N " "	<i>tò-le</i>	<i>tiúle</i>	<i>to</i>
"quello"			
M nom. sing.	<i>te⁴</i>	<i>tist</i>	<i>tisti</i>
F " "	<i>ta</i>	<i>tista</i>	<i>tista</i>
N " "	<i>to</i>	<i>tiste</i>	<i>tisto</i>

(cfr. Persici 1946, LXVI per il tersko; Budal 1980, 243 per il nadiško. L'accento figura solamente là dove interessa sottolineare il rapporto fonologico tra il pronome *te* e le particelle *le/kle* [*kle* = slov. *tle* "qui"] e non tien conto dei fatti intonativi. Quanto alle forme casuali, vengono date quelle strettamente pertinenti al presente discorso).

Ai fini dell'analisi sarà utile ricordare che la particella *le*, che in tersko e in nadiško fa parte integrante del dimostrativo, nello sloveno letterario è facoltativa per tutti i dimostrativi (compresi gli avverbi) e funziona diversamente secondo che sia enclitica o proclitica: nel primo

caso trova un'applicazione illimitata, priva di connotazione (per cui *tale* "questo" equivale a *ta*), mentre nel secondo trova un uso ristretto come ripresa marcata dell'ultimo nominale della frase precedente: la forma *le-ta* verrebbe pertanto a significare "proprio quest' (ultimo/a)" (cfr. la voce *le* in SSKJ 1985, 567).

Sempre in vista delle riflessioni che seguiranno, noteremo fin d'ora come, data la trafila delle forme esprimenti "questo", e precisamente 1) it. letterario *questo* (semplice) [non marcato] 2); it. regionale sett. *questo* (semplice) [non marcato] vs *questo qui/qua* (complessa) [marcato]; 3) frl. *chest* (semplice)/*chest cà/chel cà* (complesse) [non marcato]; 4) ter. *te-le*, nad. *tel* (complesse) [non marcato]; 5) slov. letterario *ta/tale* (semplice/complessa) [non marcato], il friulano vada d'accordo con lo sloveno, anzitutto con quello letterario (data l'intercambiabilità della forma semplice con quella complessa), quindi con quello dialettale (data la non marcatezza della forma complessa in entrambi i sistemi). Tenuto conto che la forma perifrastica *chel cà* sta guadagnando terreno tanto rispetto a *chest* quanto rispetto a *chest cà* (Vicario 1994, 225), possiamo concludere che tra friulano e varietà slovene c'è un progressivo avvicinamento.

Ma torniamo al quesito iniziale sulle motivazioni che starebbero a monte della concorrenza tra frl. *chest cà* e *chel cà*, e che andrebbero cercate, a nostro avviso, sull'asse diacronico delle varietà slovene implicate.

Scomparso per tempo, nella maggioranza delle lingue slave, l'aggettivo *sb* (Logar 1967), equivalente di lat. *hic* "questo" (andato perduto anch'esso nel passaggio al romanzo), nello sloveno letterario esso viene rimpiazzato da *tv* > *ta*, che in origine significava "quello" in riferimento ad un oggetto relativamente lontano dal locutore. Come si può notare nella tabella dei pronomi/aggettivi dimostrativi sopra prodotta, la forma *te*, se nel dialetto del Torre permane più o meno nel suo significato originario (di fatto copre il valore di *on-*, indicante un oggetto di massima distanza, andato perduto come dimostrativo e assunto come pronome personale), in entrambe le varietà - *terska* e *nadiška* — fa da base al dimostrativo *te-le/tel*, *ta-le/tala*, *to-le/tuole* "questo" ecc. In una sola delle due varietà, tuttavia, e precisamente nel *tersko*, la particella *le* acquista una funzione oppositiva di piena evidenza strutturale all'interno della coppia connessa con le nozioni "questo" — "quello": qui abbiamo infatti *te-le* vs *te*, a fronte dell'opposizione prettamente lessicale *tel* vs *tist* del *nadiško*. Se accogliamo la tesi secondo cui *le* risalirebbe a *glej*, imperativo del verbo *gledati* "guardare" (cfr. Bezlaj 1982, sotto il lemma *le*), *te-le*

riflettere il valore "quello, guarda!", ovvero "quello, ve" = "quello (che vedi) qua" = "quello qua" = "questo"⁵.

Nella misura in cui i membri della coppia *te vs te-le* "quello" vs "quello qua > questo" acquistano valore dall'opposizione della particella *-le* del secondo membro ad uno zero morfosemantico del primo (*te + Ø vs te + le*), sembra lecito integrare virtualmente tale vuoto con la controparte di *-le* "qua", avvertita dai friulani come "là" (secondo l'equazione \emptyset : "là" = *-le* : "qua"). Ci sembra che nell'ottica di un siffatto procedimento ricostruttivo e analitico la nuova opposizione emersa in friulano *chel là -- chel cà* possa trovare una spiegazione plausibile nei termini di un calco strutturale di rilevante complessità compiuto sul *tersko*⁶.

Una riprova dell'avvenuta imitazione sarebbe d'altronde data dal mancato sviluppo da parte friulana della forma perifrastica **chest là*, di cui si diceva sopra, che possiamo ora attribuire verosimilmente al mancato modello di matrice slovena.

Quanto alla complessità del calco, essa pare evidente qualora si consideri il diverso grado di coesione degli elementi costitutivi della replica friulana rispetto allo sloveno. Se infatti detti elementi risultano liberi tanto in frl. *chel cà* quanto in ter. *te-le*, in friulano diventano discontinui in funzione attributiva (*chel puar omp cà* "quel pover' uomo qua"), mentre in *tersko*, a parità di funzione, non conoscono interposizioni (**te muos le* "quell' uomo qua").

Il comportamento divergente sui due fronti ci obbliga allora a ravvisare il momento cruciale dell'interferenza romanzo-slava nell'impiego pronominale delle unità implicate, poiché solo in tal caso esse diventano sovrapponibili (frl. *chel cà* — ter. *te-le*), fermo restando, ovviamente, il diverso indice di coesione.

L'instaurarsi della coppia di nuova formazione *chel là — chel cà* mostra dunque un processo di ristrutturazione in atto del sistema friulano dei dimostrativi, la cui direzione può venire suggerita dall'analisi del costrutto innovativo *chel cà*.

Come nota acutamente lo studioso che ha attirato l'attenzione sul fenomeno in parola (Vicario 1994, 224), là dove i due elementi del modulo perifrastico esprimono una relazione opposta (cioè "lontano + vicino" documentata in *chel cà*) prevale il significato veicolato dall'avverbio [*cà* "qua"], mentre il deittico [*chel* "quello"] si riduce a semplice indicatore di definitezza del referente, avvicinando la sua funzione a quella dell'articolo determinativo e cedendo all'avverbio il tratto deittico di indicatore spaziale.

D'altronde, la redistribuzione dei tratti rispettivamente di definitezza e di relazione spaziale, che nella forma semplice figura(va)no

unitariamente, è resa possibile proprio dall'insorgere della coppia *chel là — chel cà*, dove il valore deittico di *chel* risulta neutralizzato (l'opposizione si restringe invero ai soli avverbi *là-cà*), per cui la coppia andrebbe letta *il... là — il... cà*, una costruzione "di deittico analitico" che il friulano del resto documenta ampiamente (ivi, 228).

Giunti a questo punto, tenteremo di spingere più in là le nostre riflessioni, chiedendoci se un mutamento radicale quanto quello di un passaggio da forme sintetiche ad analitiche non comporti altri fatti di natura tipologica.

Effettivamente, se confrontiamo le forme dimostrative vecchie con le nuove, veniamo a scoprire che risultano tra loro strutturalmente invertite: la marca delle categorie grammaticali di genere e numero nelle forme analitiche si ritrova in posizione iniziale, non più desinenziale come nelle forme sintetiche (le forme di maschile si oppongono alle femminili mediante la desinenza zero). Nei costrutti analitici, invero, la posizione finale è occupata dall'avverbio deittico:

masch. sing. *chest* "questo", femm. sing. *chest-e* "questa"
 " " *chel/il...cà* " " " *chê/la...cà* "

Dal punto di vista dell'italiano letterario e di quelle varietà regionali e/o dialettali che ignorano il modulo analitico (quindi le centro-meridionali, ad eccezione di alcune sottovarietà toscane, come si vedrà tra poco) il friulano, allora, manifesta uno stadio evolutivo avanzato, poiché esplicita mediante un'unità 'dedicata' — l'articolo o il dimostrativo ormai defunzionalizzato come tale — quel tratto di determinatezza che nelle forme dimostrative sintetiche continua a rappresentare una categoria coperta. L'esplicitazione avviene nei modi registrati per il nome nel passaggio dal latino al romanzo, con assorbimento delle proprietà morfologiche da parte dell'articolo, proclitico rispetto al nome⁷.

Inserito nella nuova struttura, il dimostrativo sintetico delessicalizzato e investito della funzione di determinatore grammaticale del dimostrativo, acquista lo status di un prefisso speciale, funzionalmente equivalente della desinenza, eppertanto destinato ad accorparsi con l'avverbio dimostrativo, di per sé privo di marche. L'ipotesi di una tale destinazione trova conforto non soltanto in quelli che rappresentano ormai i suoi antenati, *chel chest*, sorti anch'essi dalla fusione dei dimostrativi lat. *illum istum* con la voce paraverbale *eccum* (cfr. sopra, in n. 5), ma è confortata anche da esempi di accorpamento già avvenuto entro il dominio gallo-romanzo (che comprende il friulano), e precisamente nel lucchese, una varietà toscana di tipo fiorentino che presenta diversi legami con quelle dell'Italia settentrionale (Giannini 1995, 213-216).

Questo dialetto, accanto alle forme semplici del pronome di 3. persona sing. (*lu'le'*, forme apocopate rispetto a it. *lui/lei*), ha sviluppato quelle composte con gli avverbi di vicinanza/lontananza *qui, qua/li, là: luqqù, lellà*, ecc. (letteralmente "lui qui", "lei là") (Giannini 1995). Risulta per noi del massimo interesse apprendere che le forme composte stanno soppiantando le dimostrative corrispondenti (così, ad es., *lulli, luqqù* si sostituiscono a *quello lì, questo* [riporto fedelmente. — L. S. M.]), per cui il dimostrativo vero e proprio "resta confinato alla funzione aggettivale, rideterminata spesso dall'avverbio deittico nella forma *quel + N + li* (cfr. *quel Tizio li...*)" (Giannini 1995, 225).

La sostituzione del dimostrativo (ad es. *questo*) con le forme di nuova creazione (ad es. *luqqù*) viene spiegata con la presenza, in queste ultime, del tratto deittico derivante dall'avverbio (nell'esempio dato *qui*), che le renderebbe equivalenti del dimostrativo, in quanto al pari di quello analizzabili nei tratti "definito + deittico".

Trasferendo l'argomentazione alla situazione friulana, possiamo anzitutto allineare la forma *lulli* "lui (là)" del lucchese alla forma frl. *chell là* "quello (là)", in quanto entrambe scomponibili nei tratti appena visti "definito + deittico", che il friulano già esplicita come *il ... là* (Vicario 1994, 228 cit.); e sulla base dell'equivalenza così instaurata, possiamo pensare ad una loro (ideale) sovrapposizione strutturale, nel senso che la forma perifrastica del dimostrativo friulano verrà prima o poi unverbizzata allo stesso modo di *lulli*, vale a dire nel suo uso pronominale, quello stesso da cui abbiamo fatto partire l'interferenza romanzo-slava.

Nella terminologia invalsa nella moderna linguistica, il processo da noi osservato verrebbe detto "di grammaticalizzazione", e verrebbe definito secondo parametri elaborati dalle diverse scuole, che negli ultimi anni hanno profuso grande attenzione ad un aspetto tanto importante del divenire linguistico*.

Non potendo qui riconsiderare il fenomeno relativo ai pronomi/aggettivi dimostrativi sulla base di detti parametri, nel prenderne congedo lo ricondurremo alle illuminanti parole di Baudouin: "L'evoluzione storica dell'aspetto morfologico della lingua consiste nello spostamento dell'interesse linguistico alternativamente dalla fine della parola o della proposizione al suo inizio, e viceversa. La vita delle parole e delle proposizioni della lingua si potrebbe paragonare ad un *perpetuum mobile*, costituito di pesi incessantemente oscillanti, ma allo stesso tempo procedenti ininterrottamente in una precisa direzione" (tradotto da Бодуэнъ 1897, 35).

La scelta di chiamare "prefisso" il dimostrativo delessicalizzato del friulano non è dunque casuale, ma vuole richiamarsi al pensiero

che Baudouin aveva maturato dall'osservazione di antichi monumenti sumerici, che documentano il passaggio graduale da strutture flessive/sintetiche (o centralizzate, secondo la sua terminologia) a quelle prefissuali/analitiche (o decentralizzate), tese a rafforzare le prime fino a sostituirvisi, per poi riprendere il processo inverso.

Sulla scorta delle riflessioni successive Baudouin era giunto così a formulare il principio di ciclicità dei processi di "centralizzazione" e "decentralizzazione" delle strutture linguistiche, ponendolo a fondamento delle *evolutiones linguarum terrestrium* (Бодуэнь 1897, loc. cit.) e verificandone la tenuta attraverso il dato empirico, attinto proprio al tersko. Avendo infatti registrato l'accoglimento da parte del tersko dei pronomi-soggetto proclitici rispetto al verbo, tipici del friulano e comuni all'area gallo-romanza (frl. *(jo) o soi* "(io) sono" > ter. *(ja) jī san*), li aveva interpretati come "prefissi" morfologici (Бодуэнь 1905, 267 и сл.), sostitutivi delle desinenze, sintomatici di un processo di semplificazione, che egli aveva previsto (Бодуэнь 1901b, 16) per sistemi a struttura sintetica come lo sloveno, in situazione di contatto con sistemi analitici come il friulano.

Tuttavia, se cerchiamo di leggere frl. *chel cà*, calcato su ter. *te-le*, secondo i principi appena esposti, ci accorgiamo che una loro meccanica applicazione diventa problematica: dal momento che il friulano, lingua di tipo analitico, ha fatto suo un modello sloveno, lingua di tipo sintetico, bisognerebbe invero dimostrare che la forma *te-le* è stata sentita dai friulani come più "analitica", ovvero più semplice del loro *chest cà* (passato poi a *chel cà* secondo *te-le* per l'appunto, nell'ipotesi fin qui sostenuta).

Il problema deriva dalla diversa tipologia sottesa al calco dei clitici-soggetto da un lato e a quello del dimostrativo dall'altro. Nel primo caso l'opposizione iniziale tra friulano e sloveno è netta: l'uno è dotato di clitici, l'altro no, il che rende con altrettanta evidenza il loro passaggio allo sloveno. Nel secondo caso, invece, tanto la situazione di partenza quanto quella di arrivo vede entrambi i sistemi dotati della coppia di dimostrativi analitici, il che rende meno perspicuo il fenomeno intercorso. Riproponiamo per comodità la situazione iniziale, che oppone frl. *chel + là* — *chest + cà* "quello + là" — "questo + qua" a ter. *te + Ø - te + le* "quello + Ø" — "quello + qua". Le due coppie presentano identica struttura morfosintattica, ma differiscono sotto il profilo morfosemantico, considerata l'opposizione lessicale tra i dimostrativi semplici *chel* "quello" e *chest* "questo", che fanno da base alla forma perifrastica friulana, a fronte della coincidenza semantica tra le due forme base *te-* "quello" del tersko. Secondo il ragionamento esposto più su, la simmetria del modello sloveno, preso

nel suo complesso, avrebbe fatto percepire ai friulani lo zero morfo-semantic (connesso con la forma *te-* "quello") nel senso di "là", attivando l'imitazione dell'unico elemento bastevole a riprodurre in friulano la piena congruenza tra forma e contenuto dello sloveno: il valore di *te-* (frl. "chel") all'interno della struttura *te-le*.

Fatta questa precisazione di ordine metodologico, il carattere per così dire prefissuale delle forme perifrastiche del friulano si chiarisce come secondario rispetto al calco. Una volta che il calco si è stabilizzato, la coincidenza delle due basi nell'ambito della coppia *chel cà* — *chel la* che ne deriva produce la distribuzione dei tratti "definito" e "deittico" che sappiamo, e che ci ha indotti ad interpretare dette basi come sostitutive delle desinenze flessionali. Di qui l'adozione del termine "prefissi", attinto a Baudouin. Detto altrimenti, da parte friulana non c'è stata — né avrebbe potuto esserci — alcuna imitazione di una supposta "analicità" dello sloveno.

Comunque si voglia intendere l'esito del mutamento osservato, esso sembra indicativo della sua traiettoria.

Vediamo di valutare quest'ultimo aspetto del fenomeno, tornando all'affermazione di Baudouin, secondo cui, pur nella loro incessante oscillazione tra una tipologia e l'altra, gli elementi linguistici procederebbero ininterrottamente in una precisa direzione (Бодуэнъ 1897, 35, cit. sopra).

Confrontiamo tra loro le seguenti forme: frl. *chel cà*, ter. *te-le*, nad. *tel*.

Fatta astrazione dai fatti d'interferenza, possiamo riguardarle come tre diverse fasi di un identico processo formativo, che parte da forme assolutamente libere per fissarle gradualmente in unità. Sappiamo che tale processo comporta la progressiva grammaticalizzazione del termine dimostrativo, il quale, ad un certo punto, acquista il valore di "prefisso" morfologico, del tipo rilevato nel friulano. Se il processo agisse ciecamente, dovremmo aspettarci il medesimo risultato nel dominio sloveno, che ne presenta invece uno esattamente opposto. Nella varietà nadiška, infatti, è la particella invariabile *le*, ormai fusa col dimostrativo, a caricarsi delle marche flessionali (cfr. nom. masch. sing. *tel*, gen. *telya* — *telega*), provando così la propensione di questo sistema a conservare il tipo flessivo, con l'assegnare "comunque" alla desinenza quel carico funzionale che, nel tersko (collocabile allo stadio intermedio del processo), figura "anche" in posizione prefissuale (cfr. gen. *téa-le* = *tega-le*, letteralmente "di quello qua" ovvero "di questo" a fronte di dat. *kle temu*, letteralmente "qua a quello", ovvero "a questo")⁹.

Il quadro comparativo delle forme esaminate permette di cogliere appieno il dinamismo di una situazione sincronica, capace di riflettere

la gradualità del mutamento che esso comporta, e additarne l'orientamento tipologico. Nel caso dato la spinta tipologica segue due percorsi divergenti, al punto da esasperare il carattere di cui le unità sono portatrici, quasi a preservarlo con forza dal pericolo di snaturamento. Assistiamo così da parte romanza all'esplicitazione del tratto di definitenessa persino nei dimostrativi, non prevista in quanto ridondante, ma seguita allo spostamento delle marche morfologiche in prima posizione del (pro)nominale: da parte slovena vediamo invece declinata una particella invariabile, in conseguenza del suo ritrovarsi stabilmente in enclisi, ovvero in posizione finale rispetto al (pro)nominale, l'unica deputata ad ospitare gli indicatori delle relazioni semantico-morfosintattiche all'interno della frase.

NOTE

¹ L'elenco dei materiali inediti e della loro collocazione negli archivi dell'Accademia delle scienze russa — sezione di San Pietroburgo — viene fornito da Tolstoj nell'articolo citato (1960, 76-80). I manoscritti più notevoli sono rappresentati dalle schede del *Dizionario resiano* e da quelle del *Glossario del dialetto del Torre*. Il Dizionario è ora in attesa di essere dato alle stampe, dopo un lavoro pluridecennale, avviato da Nikita I. Tolstoj — cui si deve un saggio preliminare del *Dizionario* (Толстой 1966) — e portato avanti con la collaborazione di Aleksandr Duličenko e di Milko Matičetov. Quest'ultimo ha altresì collaborato con la scrivente alla pubblicazione dei testi che Baudouin aveva raccolto in Val Natisone nel 1873 (Baudouin 1988). Di recente ha visto la luce la corrispondenza epistolare di Baudouin con intellettuali friulani dell'epoca, risultata estremamente utile per la ricostruzione degli ambienti socio-culturali e politici da lui contattati nell'arco di mezzo secolo (Spinuzzi Monai 1994).

² Per Sloveni del Friuli intendiamo quelli della Provincia di Udine, insediati da oltre un millennio lungo la fascia confinaria italo-slovena delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia. Escludiamo quindi dal novero la Valcanale, incuneata nel confine italo-austro-sloveno, giacché non figura tra quelle esplorate da Baudouin.

³ Fu lo stesso Baudouin a declinare l'ipotesi originaria, formulata sotto la suggestione delle teorie sostratistiche dell'Ascoli, ch'egli aveva ascoltato a Milano nella primavera del 1873. La rinuncia è documentata da una lettera di Baudouin (del 1927) al glottologo Carlo Tagliavini, ora pubblicata alle pp. 41-43 di J. Marchiori, *Carteggio Jan I.N. Baudouin de Courtenay-Emilio Teza*. — Atti e memorie dell'Accademia Patavina di SS. LL. AA. Vol. 74/III, Padova, 1963, 165-203.

⁴ La forma *te* in luogo di slov. *ta* presuppone una nasale non etimologica e viene pertanto ricondotta alla forma di acc. pl. femm. **tele*, passata per analogia al nom. masch. pl. **te, quindi al sing. **tel*, da cui sarebbe stata estrapolata (cfr. Logar 1967, 2).*

⁵ Potremo osservare, a questo proposito, che tanto it. *questo/quello* e frl. *chest/chel* quanto sloveno *tale* sottendono una struttura di tipo frasale: **eccu-istu/illu* e rispettivamente **ta-glej*. Il comportamento sintattico di *ecco* < lat. *eccum* risulta infatti essere quello di un verbo, sia pure "formalmente ridotto al massimo" (A. Hall jr. *The Classification of ecco and Its Cognates*. — Romance Philology, 1952–1953, 6, 278–280, cit. da P. Tekavčič. *Alcune riflessioni a proposito di una recentissima grammatica della lingua italiana/Neka razmišljanja u povodu jedne od najnovijih gramatika talijanskog jezika*. — Linguistica, 1989, XXIX, 155), allo stesso modo, dunque, di *le glej!* Gli esempi prodotti dal Tekavčič vogliono dimostrare la sostanziale affinità dei due meccanismi: egli infatti equipara tra loro strutture come *ecco Mario/eccolo* e *vedo Mario* a. it. *vedolo*, e le accosta a francese *voici, voilà*, contenenti "una forma verbale fossilizzata" (Tekavčič: *loc. cit.*).

⁶ Premesso che il calco strutturale implica per costituzione l'accoglimento del valore semantico della struttura imitata, andrà precisato che nel nostro caso si tratta in realtà di un calco strutturale imperfetto, in quanto la replica friulana non riproduce appieno le caratteristiche del modello, come si vedrà meglio parlando del diverso grado di coesione della forma slovena rispetto a quella friulana. D'altronde, la denominazione "strutturale" intende sottolineare il fatto che l'imitazione dell'elemento sloveno *te-*, 'tradotto' in frl. *chel* (che si sostituisce a *chest*), si spiega solo col riguardare detto elemento come parte di un tutto articolato a livello di interlingua.

⁷ La cosa diventa evidente nei casi in cui la desinenza nominale esprime, ad es., la categoria del genere, sia diversa dalla forma canonica (masch. sing. -o, femm. sing. -a). Giacché l'articolo osserva puntualmente la correlazione tra forma morfologica e contenuto categoriale (masch. sing. *il/lo*, femm. sing. *la*), esso andrebbe riguardato come unico contrassegno rilevante. Ecco qualche esempio della possibile discrepanza tra forma e contenuto nelle desinenze nominali a fronte della loro stabile congruenza nel caso dell'articolo: femm. sing. *nave/mano/casa*, masch. sing. *seme/poeta muro* > *la/una nave/mano/casa* e rispettivamente *il/un seme poeta/muro*.

⁸ Tra le opere più recenti su tale tematica vogliamo citare almeno P. Hopper. E. Closs Traugott. *Grammaticalization*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993, in quanto, a detta della Giannini, che l'ha tenuta presente per il suo saggio (Giannini 1995, 205), essa offre "una rassegna aggiornata sia sul piano della trattazione teorica che su quello della raccolta di dati empirici." Potrà essere interessante sapere che in Giannini 1995, con procedimento opposto al nostro, i parametri di grammaticalizzazione vengono applicati all'avverbio, e non al pronome personale della struttura registrata in lucchese, il che ovviamente porta a conclusioni diverse dalle nostre.

⁹ Osserveremo, in margine, che proprio l'alternanza proclisi/enclisi delle particelle avverbiali *kle/-le* deve aver impedito alla forma *te-le* di rag-

giungere lo stadio documentato in nadiško. Va tuttavia precisato che la mancata fusione, prima ancora di costituire un fatto fonologico, ne riflette uno di natura semantica, da cui quello fonologico deve necessariamente dipendere. Nel tersko Γavverbiale *kle* figura infatti anche come avverbio autonomo (quindi tonico) indicante "qui/qua" (Persici 1946, 19), mantenendo così in vita il significato del corrispondente proclitico e, attraverso questo, mantenendo (o assegnando) il significato della (risp. alla) particella *-le*, che altrove è già andato perduto. Il perdurare del significato lessicale, per quanto sbiadito, dell'enclitico *-le* spiega la sua impossibilità a fungere da desinenza e corrobora Γ ipotesi del calco romanzo-slavo secondo i modi qui descritti, che pongono al centro dell'intero processo un fatto di natura eminentemente morfosemantica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Бодуэнь 1897 — Бодуэнь де Куртенэ (Baudouin de Courtenay) Иванъ Александровичъ. — Критико-биографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ. Подъ ред. С. А. Венгерова. Въ Санктъ-Петербургѣ. 1897, 18–45.
- Бодуэнь 1901b — Бодуэнь де Куртенэ И. О смѣшанномъ характерѣ всехъ языковъ. — ЖМНП, Санктъ-Петербургъ, 1901, 337, 12–24.
- Бодуэнь 1905 — Бодуэнь де Куртенэ И. Несколько случаевъ психически-морфологическаго уподобленія или удноображенія въ терско-славянскихъ говорахъ сѣверо-восточной Италии. (Посвящается Влад. Иван. Ламанскому къ его 50-лѣтнему юбилею). — Извѣстія ОРЯС, X, Санктъ-Петербургъ, 1905, 3, 266–283.
- Толстой 1960 — Толстой Н. И. О работахъ И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку И. А. Бодуэн де Куртенэ (к 30-летию со дня смерти). — М., 1960, 67–81.
- Толстой 1966 — Толстой Н. И. Бодуэн де Куртенэ И. А. Резьянский словарь (под ред. Н. И. Толстого). — Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, 183–226.
- Baudouin 1901a — Baudouin de Courtenay J. Językoznawstwo czyli lingwistyka w wieku XIX. — Prawda, Warszawa, 1901, 1.
- Baudouin 1988 — Baudouin de Courtenay J. Materiali / per la dialettologia e Гетнография slava meridionale / za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo. IV. Testi popolari in prosa e in versi raccolti in Val Natisone nel 1873/Ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873. Inediti pubblicati a cura di / Pripravila za prvo objavo L. Spinozzi Monai /con commento folklorico di / folklorni komentar prispeval M. Matičetov. — Trieste / Trst-San Pietro al Natisone / Špeter, 1988.
- Bezljaj 1977/1995 — Bezljaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika. I (A–J); II (K–O); III (P–S). — Ljubljana, 1977–1995.
- Budal 1980 — Budal L. La varietà slovena di Mersino alto (Udine). [Tesi

- di laurea dattiloscritta inedita]. — Università degli Studi di Trieste, 1979–1980.
- Giannini 1995 — Giannini S. Riferimenti deittici nel sistema dei pronomi personali. Appunti per una grammatica del lucchese. — *Archivio Glottologico Italiano*, LXXX, 1995, I–II, 204–238.
- Logar 1967 — Logar T. Kazalni zaimek v slovenskih narečjih. — III. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Predavanja. Ljubljana, 1967 (samo ciklostilno razmnoženo).
- Persici 1946 — Persici N. Il dialetto di Cergneu. [Dissertazione dattiloscritta]. — Università degli Studi di Padova, 1945–1946.
- Spinozzi Monai 1994 — Spinozzi Monai L. Dal Friuli alla Russia: mezzo secolo di storia e di cultura in margine all'epistolario (1875–1928) Jan Baudouin de Courtenay. — Udine, 1994.
- SSKJ 1980–1991 — Slovar slovenskega knjižnega jezika. I–V. — Ljubljana: SAZU, 1980–1991.
- Steenwijk 1992 — Steenwijk H. The Slovene dialect of Resia: San Giorgio. (Studies in Slavic and general linguistics, vol. 18). — Amsterdam–Atlanta: Rodopi, 1992.
- Vicario 1994 — Vicario F. Aggettivi e pronomi dimostrativi deittici friulani. — S. Schiavi Fachin (a c. di). *Il Friuli: lingue, culture, glottodattica*. Studi in onore di Nereo Perini. 2. Udine, 1994, 221–234.

Paul Robert Magocsi
Toronto

THE ICON-BREAKER: ALEKSEI L. PETROV AS HISTORIAN

История славистики — исследования Подкарпатской Руси — роль русской славистики — Алексей Леонидович Петров и его труды по истории, демографии и памятникам письменности — библиография трудов А. Л. Петрова о карпаторусах (карпаторусинах)

Aleksei Leonidovich Petrov was an iconoclast. He did not, however, literally break icons like the religious zealots of the seventh-century Byzantine Empire. His goal was rather to destroy, or at least to undermine, what he considered to be the web of mythology that had grown up around the historical past of the Carpatho-Rusyns. In his zealotness to find reliable written sources and to unmask forged documents on which so many historical myths were based, Petrov reflected well the ideals of the era in which he was born and educated.

That era was the second half of the nineteenth century, a time when the ideological tenets of Positivism convinced scholars that all natural human phenomena could be understood and that, consequently, intellectual as well as physical problems could eventually be resolved as long as a sufficient amount of reliable knowledge was acquired. Influenced by the positivists and their belief in the seeming exact nature of the physical and mathematical sciences, historians too began to feel that their discipline could be transformed into an exact science. In other words, historical truth existed and could be “uncovered” by unbiased and diligent researchers as long as they were properly trained, most especially in textual analysis.

Armed with such intellectual self-confidence, historians of the Positivist era were committed to finding out what “really” happened in the past. Part of this search for absolute truth was to challenge the many poorly-documented facts or outright legends that formed the basis of much historical writing, most especially works that were concerned with national history, and in particular the histories of stateless peoples. Not surprisingly, the positivist debunkers were not popular, since they often found themselves obliged to demythologize or at times even

deny the very existence of supposed historical events and personages that in many cases had become a mythological part of the national psyche. Among the many historical controversies from the period that often took on a larger social and political significance was a well-publicized incident surrounding the future founding-president of Czechoslovakia, Tomáš G. Masaryk. While still a professor of philosophy at the University of Vienna in the 1880s, Masaryk and a few other positivist scholars were ostracized by many segments of Czech society because they publicly supported the view that the so-called Kralovédvorský and Zelenohorský manuscripts, which contained what was supposed to be medieval epic poetry dear to the hearts of many Czechs, were forgeries composed sometime in the early nineteenth century.¹ Not long after the Czech manuscript controversy of the late 1880s, the Carpatho-Rusyns also encountered someone who was ready to challenge the hoary legends of their own history. He was Aleksei L. Petrov.

Aleksei Leonidovich Petrov, described by one admiring biographer in the 1920s as "the patriarch of contemporary Carpatho-Rusyn scholarship",² was not a native of Carpathian Rus'. He was born in 1859 in St. Petersburg. His father Leonid Petrov was well-known professor of theology and author of many works in dogmatics and church history. Initially, the young Aleksei did not intend to follow the footsteps of his father and pursue a career in humanistic scholarship. Instead, he specialized in mathematics at St. Petersburg's Sixth Gymnasium, from where he graduated in 1876 with a gold medal. Events far away, however, were to change the *gymnasium* student's future plans.

Like many other Russians of his day, Petrov was profoundly moved by uprisings of the South Slavs that began in 1875 against Ottoman rule in Bosnia and Herzegovina. Within a year, war broke out between the Ottoman Turks and Russia's Balkan allies, Serbia and little Montenegro. These events were enough to encourage Petrov to want to learn more about the Slavic world, most especially outside the borders of the Russian Empire. He therefore enrolled in the Faculty of History and Philosophy at St. Petersburg University. There he studied with the leading Slavists of the day, Izmail I. Sreznevskii and Vladimir I. Lamanskii, as well as with the distinguished Byzantinist, Vasilii G. Vasilevskii. Petrov graduated in 1880, and two years later one of his student essays that dealt with the Slavs along the Elbe River was published in the scholarly journal of the imperial ministry of education.³ After teaching history in several secondary schools in the imperial capital, Petrov was appointed in 1887 professor in the Mariinskii Institute's program for female higher education and soon after became the holder of the Chair of the History of the Slavs at St. Petersburg University. From that university he received, following the appearance of several publications, a master's degree in 1907 and Ph. D. in Slavistics in 1911.

As an integral part of his post-graduate education, Petrov began in 1884 a series of trips abroad to several Slavic lands. The following year he made

his first visit to the Kingdom of Hungary, specifically to Carpathian Rus', where he stayed for several days in the Prešov Region village of Čertižné (in present-day Slovakia). In Čertižné, he was the guest of University of Warsaw Professor Anton S. Budilovich, the son-in-law of the leading Carpatho-Rusyn political and cultural activist, Adol'f Dobrians'kyi. Before World War I, Petrov returned three more times to Carpathian Rus' (1890, 1897, and 1911), visiting in particular scholars and archival holdings in Uzhhorod and Mukachevo.

As Petrov wrote himself in an autobiographical sketch, his "special interest in what was then known as Hungarian Rus' came while at the university and under the influence of Professor V. I. Lamanskii."⁴ As for Lamanskii, he was one of a second generation of scholars who, beginning in the 1840s, were given extensive support by the tsarist government as part of its policy to reclaim culturally the Belorusan and Ukrainian lands that the Russian Empire had annexed from Poland-Lithuania at the end of the eighteenth century. As a corollary to such internal cultural reclamation, imperial Russian scholarly and publicistic circles also turned their attention to the larger Slavic world beyond its borders. All this was occurring in the context of the era of Pan-Slavism, when Russia saw itself — and was seen by others — as the protector or "big brother" for the various Orthodox South Slavic peoples living in the Balkan peninsula under Ottoman rule. In the context of its new role, Russia needed experts on the history and cultures of these various peoples, and Lamanskii was only too eager to train a whole generation of specialists who would concentrate their intellectual energies on the Slavic world beyond the Russian Empire. Lamanskii's influence extended to a large number of younger scholars with widely differing views. These included Aleksei L. Petrov, who believed in the cultural hegemony of Russia among the Slavs, as well as national particularists, among whom were the leading Ukrainianists of the day, Ivan Franko, Stepan Tomashivs'kyi, and the renowned historian, Mykhailo Hrushevs'kyi.⁵

From the standpoint of late nineteenth-century Russian sociopolitical thought, Carpathian Rus' had a special place. It was considered the farthest western "Russian" land beyond Russia. Hence, while tsarist Russia's intellectual and civic circles may have been interested in the larger Slavic world, they needed to have an even greater concern for their "own" Rus' Abroad (*Зарубежная Русь*). Some even felt that it was only a matter of time before this Rus' Abroad would become part of one Russia under the sceptre of the Romanovs. Such views were also widespread among Russophile sympathizers in the East Slavic regions of the Austro-Hungarian Empire, and in particular were pro-

moted by the Rusyn political activist and eventual acquaintance of Petrov, Adolf Dobrians'kyi. When, therefore Petrov began to use the term *Transcarpathian Rus'* (*Закарпатская Русь*), instead of *Hungarian Rus'* (*Угорская Русь*) to describe the Carpatho-Rusyn homeland south of the Carpathian mountains, his perception of "beyond" (trans-) was based on the understanding that Carpathian Rus' was part of an all-Russian (*общерусский*) world whose center was in St. Petersburg or in Moscow.

In order to undertake any serious study of Carpathian Rus', Petrov was convinced that it was necessary first to determine where relevant documents were located and then to publish as many archival sources as possible. He began the process of identifying sources with a visit to the Hungarian State Archives in Budapest during the winter of 1890–1891. For the next quarter of a century he continued such working visits to the episcopal and regional archives in Uzhhorod, Mukachevo and Prešov. His research trips were interrupted by World War I and the subsequent events connected with the Bolshevik Revolution and Civil War in Russia. For a scholar like Petrov, who was successful in avoiding any involvement in contemporary politics, it soon became clear that such attitudes were becoming increasingly unacceptable in Bolshevik Russia. In 1922, he was granted a research leave by the Bolshevik authorities to travel abroad. He welcomed the opportunity and travelled to Prague, the capital of the new state of Czechoslovakia. He was never to return home.

As part of the "White Russian" emigration that sought refuge in several European countries, Petrov was able to take advantage of the special assistance that the Czechoslovak government, in particular its philosopher-president, Tomáš G. Masaryk, provided to fellow Slavs from the former Russian Empire. This included funds to support the Russian Free University and Russian Historical Archive in Prague. Petrov played an active role in Prague's Russian intellectual life and was also a member of the Committee for the Study of Slovakia and Subcarpathian Rus', which was part of the Slavic Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. After setting in Prague, Petrov was able until the end of his life to visit almost once each year Czechoslovakia's new eastern province of Subcarpathian Rus'. There he undertook further archival research and consulted with local Rusyn scholars as well as with both Russian and Ukrainian émigré scholars who settled in the region after the war.⁶

The results of Petrov's research on Carpatho-Rusyn history first appear in published form in the Russian Empire during the first decade of the twentieth century. These early works were later reclassified

as part of what became a nine-volume series called *Материалы для истории Угорской/Закарпатской Руси* (Materials on the History of Hungarian/Transcarpathian Rus', see items 008–014, 016, 019, 040 in the appended bibliography of Petrov's works). The last two volumes of the *Материалы* as well as several other monographs appeared in Czechoslovakia during the 1920s (see Petrov bibliography, items 019, 024, 027, 030–032, 034, 039, 040).

Throughout his life, Petrov remained a positivist concerned with finding concrete documentary evidence. Using such evidence, he believed the "true" historical record could be told. Therefore, his published work consists in almost all cases of texts of archival documents, religious polemics, and other early literary monuments (all with extensive commentaries) as well as compilations of topographic names. He often used linguistic and geographic data to justify his tentative conclusions about historic events, but he avoided for the most part archaeological evidence and folkloric traditions. All in all, Petrov was reluctant to generalize or to speculate on matters that he could not document with written material. In fact, there is only one work in which he finally drew some generalizations and posed various hypotheses for other scholars to reflect upon and to research further. This was to be the last book prepared for publication during his lifetime: *Древнѣйшія грамоты по истории карпаторусской церкви и иерархии, 1391–1498* (Prague, 1930).

Despite its title and the inclusion of the texts of documents and commentaries, *Древнѣйшія грамоты* also included an interpretive discussion of Carpatho-Rusyn historiography as well as a provocative critique of all the basic tenets — Petrov would say unfounded beliefs — of Carpatho-Rusyn history from the ninth through the early fifteenth centuries. Whether he intended it or not, Petrov's historical concerns were directly related to the new political conditions in east-central Europe following World War I. guarantee.

By late 1918, the Austro-Hungarian Empire had collapsed and the postwar Hungarian successor state lost control over the Highlands (Fevődék) of former northern Hungary, that is Slovakia and Subcarpathian Rus'. According to the postwar treaties signed at St. Germain-en-Laye (1919) and Trianon (1920), both Slovakia and Subcarpathian Rus' were internationally recognized as part of the new state of Czechoslovakia. Nevertheless, Hungary's new government, in particular its right-wing political circles, continued to agitate for the abolition of the Treaty of Trianon and the return of all of Hungary's "lost lands", including Subcarpathian Rus'. Hungarian publicists were morally convinced of their cause, which they defended on the principle of historic

state rights. In other words, Hungary had a "right" to both Slovakia and Subcarpathian Rus', since the Magyars were the first people to create a governing order, or state, in the Danubian Basin soon after their arrival in the ninth century. Even if there were Slavs in the Danubian Basin when the Magyars first arrived, this ostensibly made little difference, since it was the Magyars who created the Kingdom of Hungary that ruled the area for a "thousand years".⁷

Faced with such seemingly overwhelming historic-political justification for the return of Hungarian rule, Subcarpathian Rusyn writers began to produce histories for use in schools during the early 1920s that repeated and elaborated upon older histories of the region, emphasizing in particular those individuals and events that showed how Rusyns had both their own state and Christian culture in the mid-ninth century, that is, *before* the arrival of the Magyars, and how in subsequent centuries they had leaders who fought for and achieved a degree of political independence for Carpathian Rus'. Among the figures dear to this scenario were the ninth-century Prince Laborets' and the late fourteenth-century Prince Fedir Koriatovych. Among the events that seemed essential for any self-respecting Rusyn history was the supposed presence of Rusyns living the Carpathians *before* the arrival of the Magyars and their acceptance of Christianity from the Byzantine missionaries Cyril and Methodius as early as 860s or, at the latest, during the 890s. In other words, the Carpatho-Rusyns were considered the autochthonous inhabitants, which ostensibly gave them legal precedence over any of historic rights put forth by Hungarian ideologists.⁸

Based on his own reading of exiting written documentation, Petrov felt obliged to deny the validity of all these as well as other "icons" that were so central to the Carpatho-Rusyn historical record. Petrov's view was that the real heroes of Carpathian Rus' were not some semi-mythical political and military leaders, but rather the Carpatho-Rusyn people themselves. Not surprisingly, Petrov's debunking was greeted unfavorably by many in Subcarpathian Rus', and he was even accused of being a "Hungarian agent". After all — so the espionage argument went — Petrov had worked in Hungarian archives before and for awhile even after World War I. Moreover, his views about the lack of an independent ninth-century Prince Laborets' and the settlement of Rusyns in the Carpathians not until the eleventh and twelfth centuries, that is *after* the arrival of the Magyars, fit in well with the popular Hungarian interpretation. In other words, if Petrov were correct, Hungary was justified in its demands for the return of Subcarpathian Rus' because of the earlier physical presence of the

Magyars as well as historic state rights. Despite the unpopular nature of Petrov's views and the unfounded accusations of Hungarian collaboration levelled at him,⁹ he did not alter his conclusions since he knew they were based on concrete written evidence.

Petrov did realize, however, that there was much more written documentation waiting to be found and analyzed, let alone archaeological research that needed to be undertaken. In fact, during the nearly seventy years since Petrov's death, much new research has indeed been undertaken, whether in the former Soviet Ukraine, Slovakia, or Hungary.¹⁰ As a result of recent research, many of the hypotheses and historical icons "broken" by Petrov have been restored. For instance, many scholars using archaeological evidence combined with a re-reading of old and a discovery of new written documentation are once again convinced that Slavic peoples — the ancestors of the Carpatho-Rusyns (including the White Croats) — did inhabit the Carpathian region before the arrival of the Magyars, and that even *before* the Cyril and Methodian mission of the 860s, there was a Christian presence in Carpathian Rus'.¹¹ It may happen that some, perhaps many, of Petrov's hypotheses may be overturned by the results of subsequent research. Still, anyone interested in the early medieval history of Carpathian Rus' must begin by becoming familiar with the scholarly writings of Aleksei Leonidovich Petrov.

NOTES

¹ On the manuscript controversy, see F.M. Bartoš. *Rukopisy*. — Praha, 1936; and: *Záhada královédvorského*. — Praha, 1970.

² Ю. А. Яворский. *Изъ исторіи научнаго изслѣдованія Закарпатской Руси*. — Прага, 1928, с. 6.

³ А. Л. Петровъ. *Хербордова биографія Оттона, епископа Бамберскаго*. — ЖМНП. Ст.-Петербургъ, 1882–1883; also separately: Ст.-Петербургъ, 1893.

⁴ Cited in Яворский. *Изъ исторіи*, с. 7.

⁵ Franko, Tomashivs'kyi, and Hrushevs'kyi were, like Petrov, all invited by Lamanskii to contribute to a series of articles in Slavic studies under his editorship. (*Статьи по славяновѣденію*, 3 vols. (1904–08). Petrov's contribution (1906) was subsequently listed as Volume I of his "Materials on the History of Hungarian Rus' (see below, Petrov's bibliography, item 010). Among Hrushevs'kyi's three contributions in Volume I (1904) was his seminal essay, "Звичайна схема 'русской' історії Східного Слов'янства", which provided for the first time a theoretical framework for a continuous historical process in Ukraine from earliest times to the present. Tomashivs'kyi's extensive essay in Volume III (1910), "Етнографічна карта Угорської Русі", provided a detailed analysis of the Rusyn population recorded

in the 1900 Hungarian census, and it included as well a large-scale ethnographic map (1:300 000) showing every Carpatho-Rusyn village south of the mountains at the outset of the twentieth century.

⁶ Despite the increasing friction between representatives of the various national orientations, Petrov maintained close relations in Subcarpathian Rus' and in Prague with pro-Russian (Evmenii Sabov, Karel Machik), pro-Rusyn (Vasyl' Hadzhega, Irynei Kondratovych), and pro-Ukrainian (Ivan Pan'kevych, Dmytro Doroshenko) scholars and cultural activists.

⁷ While it was over a thousand years since the Magyars made their way into the Danubian Basin (ca. 898–905), the Hungarian Kingdom did not actually establish its authority over Carpathian Rus' until about 1050. Therefore, at the time it would have been more precise to speak not of a millennium but of about 850 years of Hungarian rule.

⁸ For literature reading the question of Rusyns as the autochthonous inhabitants, see the recent discussion by Iosyp Korbal', "До питання про автохтонність слов'ян-руських на Закарпатті", in *Екзиль*, I, Ужгород, 1996, I, 22–28. Cf. the earlier work by Iuliia Hadzhega, *Два исторических вопроса: старожилы-ли карпатороссы и о находках христианской религии на Подкарпатской Руси*. — Ужгородь, 1928.

⁹ While it is true that the Hungarian government made use of some of Petrov's works as part of its own diplomatic campaign against Czechoslovakia in the early postwar years, it never considered Petrov other than a scholar who worked on aspects of early "Hungarian" history. For reasons that are unclear, Petrov was actually barred from working in the Hungarian State Archives after 1923, and he never returned to Budapest.

¹⁰ Of particular importance in the former Soviet Ukraine is the archaeological research of E. A. Balahuri and S. I. Peniak, *Земля слов'янська: з історії слов'янських племен Закарпаття VI–XIII ст.* (Ужгород, 1976) and S. I. Peniak, *Ранньослов'янське і давньоруське населення Закарпаття VI–XIII ст.* (Київ, 1980); in Slovakia the archaeological and historical research of Branislav Varsik, *Osídlenie košickej kotliny s osobitným zreteľom na celé východné Slovensko a horné Patisie*, 3 vols. (Bratislava, 1964–77) and Mikhal Popovych, *Федор Корятович – русинський войвода* (Пряшов, 1993); and in Hungary the statistical compilations and publication of archival materials from the eighteenth century by Kamill Neupauer, *Mária Terézia úrbérrendezése Bereg, Máramaros, Ung és Ugocsa megyében* (Budapest, 1989), and in particular three works by István Udvari: *A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvű kéziratok forrásai* (Nyiregyháza, 1996), *Ruszin (kárpatukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII századi Magyarországon* (Budapest, 1995), and *A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészsegeinek 1806. évi összeírása* (Nyiregyháza, 1990).

¹¹ These views are put forward in the recent multi-authored historical survey: Іван Гранчак (ред.), *Нариси історії Закарпаття. I: з найдавніших часів до 1918 року* (Ужгород, 1993); and in controversial work by Stepan Pap, *Початки христіанства на Закарпатті* (Philadelphia, 1983).

WORKS BY ALEKSEI L. PETROV
ON THE CARPATHO-RUSYNS

The following list also includes a few works that deal primarily with Slovakia or old northern Hungary as a whole (items 024, 027, 032). They are included because of their substantive coverage of the Rusyn-inhabited Prešov Region and Subcarpathian Rus'. For a listing of Petrov's works dealing with other subjects aside from Carpatho-Rusyns, see Ю. А. Яворский, *Изъ исторіи научнаго изслѣдованія Закарпатской Руси*. — Прага, 1928, с. 9–18.

- 001 Угрорусскія заговоры и заклинанія начала XVIII в. — Живая старина, Ст.-Петербургъ, 1891, IV, 122–130. Reprinted in: Листокъ, Ужгородъ, 1892, VIII, 21–24 and in: Статьи объ Угорской Руси (below item 011), 51–64.
- 002 Старопечатныя церковныя книги въ Мукачевѣ и Унгварѣ. — ЖМНП, Ст.-Петербургъ, 1891, CCLXXV, 5, 209–215. Reprinted in: Листокъ, X, Ужгородъ, 1894, № 13, 14, 15, с. 148–149, 160–162, 171–173; and in: Статьи объ Угорской Руси (below item 011), 65–71.
- 003 Изъ Будапешта. — Славянское обозрѣніе, I, Ст.-Петербургъ, 1892, 1, 567–572. Signed K. M. Reprinted in: Мадьярская гегемонія въ Угріи (below item 017), 5–11.
- 004 Изъ Кошиць (Угрія). — Славянское обозрѣніе, I, Ст.-Петербургъ, 1892, 2, 160–172. Signed Zh. Z. I. Reprinted in: Мадьярская гегемонія въ Угріи (below item 017), 11–24.
- 005 Заметки по этнографіи и статистикѣ Угорской Руси. — ЖМНП, Ст.-Петербургъ, 1892, CLXXIX, 2, 439–458. Reprinted in: Статьи объ Угорской Руси (below item 011), 1–18; and under the title: Po Uhorskoj Rusi: opis predvojennaho položenija Uhro-Rusinov. — Amerikanskij russkij kalendar na hod 1920, ed. Michail J. Nanchin. Homestead, Pa.: Sojedinenija Greko-kaftoliceskich russkich bratstv, 1920, 48–66 (Latin alphabet edition) and 55–73 (Cyrillic alphabet edition).
- 006 Памятники угрорусской письменности. — ЖМНП, Ст.-Петербургъ, 1893, 10, 516–549. Reprinted in: Статьи объ Угорской Руси (below item 011), 21–63.
- 007 Еще два слова объ изученіи Угорской Руси. — Живая старина, Ст.-Петербургъ, 1903, XIII, 3, 276–278. Reprinted as "Архивы и библіотеки Угорщины" in: Статьи объ Угорской Руси (below item 011), 19–20.
- 008 "Старая вѣра" и унія въ XVII–XVIII вв. — Новый сборникъ статей по славяновѣденію, составленный и изданный учениками В. И. Ламанскаго. Ст.-Петербургъ, 1905, 185–257. Also

- published separately: Ст.-Петербургъ, 1905, 73 с. Listed as Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Vol. I
- 009 `Старая вѣра` и унія въ XVII–XVIII вв.: пояснительная записка. — Сборникъ статей, посвященныхъ почитателями академику и заслуженному профессору В. И. Ламанскому, по случаю 50-лѣтія его ученой дѣятельности. II. Ст.-Петербургъ: ОРЯС Имп. АН/Историко-филологическій факультетъ Имп. Ст.-Петербургскаго ун-та, 1908, 941–1028. Also published separately: Ст.-Петербургъ, 1906, 88 с. Listed as Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Vol. II.
- 010 О подложности грамоты князя Феодора Копіатовича 1360 г. — В. И. Ламанскій (ред.). Статьи по славяновѣденію. II. Ст.-Петербургъ: Второе отдѣленіе Имп. АН, 1906, 270–299. Also published separately: Ст.-Петербургъ, 1906, 31 с. Listed as Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Vol. III. Revised version published in: Древнѣйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и иерархіи (below item 039), 179–203.
- 011 Статьи объ Угорской Руси. (Записки историко-филологическаго факультета Имп. Ст.-Петербургскаго ун-та, LXXXI, приложение). Ст.-Петербургъ, 1906. Also published separately: Ст.-Петербургъ, 1906, 71 с. Listed as Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Vol. IV.
- 012 Первый печатный памятникъ угро-русскаго нарѣчія: Урбаръ и иные связанные съ крестьянской Маріи Терезы реформой документы. — Сборникъ ОРЯС Имп. АН, Ст.-Петербургъ, т. LXXXIV. Also published separately: Ст.-Петербургъ, 1908, 143 с. Listed as Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Vol. V.
- 013 Предѣлы угрорусской рѣчи въ 1773 г. по официальнымъ даннымъ: карты. — Сборникъ ОРЯС Имп. АН, Ст.-Петербургъ, 1909, LXXXVI. Also published separately: Ст.-Петербургъ, 1909, 6 с. (and 7 maps). Listed as Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Vol. VI, pt. 2.
- 014 Предѣлы угрорусской рѣчи въ 1773 г. по официальнымъ даннымъ: изслѣдованіе и карты. — Записки Историко-филологическаго факультета Имп. Ст.-Петербургскаго ун-та, т. CV. Also published separately: Ст.-Петербургъ, 1911, X, 337 с. (and 7 maps). Listed as Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Vol. VI, pt. 1.
- 015 Когда возникли поселенія на угорской `Дольней землѣ`? — Извѣстія ОРЯС Имп. АН, XVI, Ст.-Петербургъ, 1911, I, 8–27. Printed in an expanded version in Предѣлы угрорусской рѣчи (see item 104), 150–181; and in Czech translation (see item 020).
- 016 Памятники церковно-религіозной жизни угроруссовъ XVI–XVII вв. I. Поученія на Евангеліе по Няговскому списку 1758 г. II. Иерея Михаила `Обрана вѣрному члвку`: тексты. — Сборникъ ОРЯС Имп. АН, Петроград, 1921, т. XCVII, ч. 2.

- Also published separately: Петроградъ. 1914. VIII. 295 с. Listed as Материалы для исторіи Угорской Руси. Vol. VII.
- 017 Обь этнографической границѣ русскаго народа въ Австро-Угрии: о сомнительной 'венгерской' нашіи и о недѣлимости Угрии. — Петроградъ. 1915. 46 с.
- 018 Мадьярская гегемонія въ Угрии (Венгрии) и Угорская Русь. — Ст.-Петербургъ. 1915. 24 с.
- 019 Отзвукъ реформаціи въ русскомъ Закарпатьи XVI в.: Няговскія поученія на Евангеліе. — Věstnik Královské české společnosti nauk, třída I. Praha. 1921–1922. Also published separately: Praha. 1923. 124 с. Listed as Материалы для исторіи Закарпатской Руси. Vol. VIII.
- 020 Kdy vznikly ruské osady na uherské Dolní zemi a vůbec za Karpaty? — Český časopis historický, Praha. 1923, roč. XXIX, 411–442. Translation in to Czech of item 015.
- 021 Къ вопросу о словенско-русской этнографической границѣ. (Дешева библіотека, № 10). — Ужгородъ: Русская земля. 1923.
- 022 K otázce slovensko-ruské etnografické hranice. — Česká revue, Praha. 1923, roč. XVI, s. 115–119, 234–243. Translation into Czech of item 021.
- 023 Минеральныя и лѣчебныя ванны, соль и горный воскъ, сталактиты и гейзеръ въ Мараморошѣ въ XVI в. — Карпатскій край, II, Ужгородъ. 1924, 5–6, с. 11–13.
- 024 Národopisná mapa Uher podle úředního Lexikonu osad z r. 1773. — Praha: Česká akademie věd a umění. 1924. 131 s. (and map).
- 025 Národnostní hranice Slováků a Karpatorusů mezi sebou a s Maďary v XVIII st. podle současných archivních údajů. — Česká revue, Praha. 1924, roč. XVII, 82–89.
- 026 Каноническая визитація 1750–1767 гг. Въ вармедіяхъ Земплинской, Шаринской, Спишской и Абуйской. — Науковий збірник Товариства 'Просвіта', Ужгород. 1924, III, 104–135.
- 027 M. Běl: 'Tractatus de re rustica Hungarorum' a 'Notitia Hungariae novae'. — Věstnik Královské české společnosti nauk, třída I. Praha. 1924. Also published separately: Praha. 1924. 75 s.
- 028 Nerostné bohatství a lázně Maramoroše (Podk. Rus) v XVI st. — Republika československá, Praha, 1924, № 63, 82–85.
- 029 Древнѣйшая церковнославянская грамота 1404 г. о карпато-русской территоріи: къ основанію Грушевскаго монастыря св. Архангела Михаила въ Мараморошѣ. — Sbornik filologický České akademie věd a umění, VIII, Praha, 1926, 1, s. 179–184, 243–239. Reprinted in: Издаше культурно-просвѣтительнаго Общества имени Александра Духновича, вып. 30, Ужгородъ. 1927, 15 с.
- 030 Neznámý rukopisný materiál pro historickou demografii Slovenska a Podkarpatské Rusi z r. 1864–65: Fr. Pesty, 'Helység névtára – Seznam osad v Uhrách': popis a kritické ocenění. — Věstnik Krá-

- lovské české společnosti nauk, třída I. Praha, 1926. Also published separately: Praha, 1926, 93 s.
- 031 Sbornik Fr. Pestyho 'Helység névtára – Seznam osad v Uhrách' z r. 1864–65, jako pramen historicko-demografických údajů o slovenských a karpatoruských osadách. — Praha: Česká akademie věd a umění, 1927, VI, 159 s.
- 032 Příspěvky k historické demografii Slovenska v XVIII–XIX století. — Praha: Česká akademie věd a umění, 1928, 72, 330 s. (+ 8 maps).
- 033 Matěj Běla jak jej oceňují současníci a potomstvo. — Slavia, VII, Praha, 1928, 1, 111–127.
- 034 Karpatoruské pomístní názvy z pol. XIX. a z poč. XX st./Карпаторусскія межевыя названія изъ пол. XIX и изъ начала XX в. — Praha: Česká akademie věd a umění, 1929, s. 38, 219.
- 035 K. Fejérváry, 'De moribus et ritibus Ruthenorum' и аналогичныя свѣденія М. Беля и А. Сирмаи. — Записки чина св. Василя Великаго, Жовква, 1929, IV. Also published separately: Библиотека 'Записокъ чину св. Василя Великаго', Жовква, 1929, № 6, 28 с.
- 036 Древнѣйшая на Карпатской Руси вольтысская грамота 1329 г. — Карпатскій свѣтъ, II, Ужгородъ, 1929, 10, 728–734. Also published separately in: Изданіе культурно-просвѣтительнаго Общества имени Александра Духновича, вып. 63, Ужгородъ, 1929, 7 с.
- 037 Къ исторіи 'русскихъ интригъ' въ Угріи въ XVIII вѣкѣ. — Карпаторусскій сборникъ, Ужгородъ: Подкарпаторусскій народно-просвѣтительный союзъ, 1930, 123–136.
- 038 Задачи карпаторусской исторіографіи. — Praha, 1930. Reprinted in: Древнѣйшія грамоты (item 039), V–XIX.
- 039 Древнѣйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и иерархіи 1391–1498 г. — Knižovna sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze, I, Praha: Orbis, 1930, XX, 232 s. (and 12 photo facsimiles).
- 040 Оборона вѣрному чловѣку, Логось, Духовно-полемицкскія сочиненія Иерея Михаила Оросвиговскаго Андреллы противъ католичества и уни. Тексты. — Матеріалы для исторіи Закарпатской Руси, IX, Praha: Kralovská česká společnost nauk, 1932, VIII, 300 с.
- 041 Докторская рѣчь 1912 года. Prepared for publication with an introduction by: Ю. А. Яворскій. Изъ наслѣдія по А. Л. Петровѣ. — Науковий збірник Товариства 'Просвіта', Ужгород, 1934, т. X, 3–11.
- 042 Нѣсколько замѣчаній объ архивномъ матеріалѣ по исторіи Карпаторуссовъ. — Ibid., 11–15.
- 043 Деякі роздуми про дослідження архівного матеріалу з історії карпаторусів. — Карпатський край, [III], Ужгород, 1995, 5–8, с. 112–113. Ukrainian translation by Nadiia Keretsman and Vasyľ Keretsman of an unpublished Czech-language version of item 042.

Eda Vaigla
Tartu

ПАУЛЬ АРИСТЭ И СОБРАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 20–30 гг. ПО РУССКИМ ДИАЛЕКТАМ И ФОЛЬКЛОРУ В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ ЭСТОНИИ

*История науки — русские диалекты и фольклор в Эстонии —
Причудье — роль академика П. Аристэ — материалы русского
фонда ERA-Vene Литературного музея (г. Tartu)*

Филологическая наука знает и будет помнить академика, легендарного тартуского профессора Пауля Аристэ (1905–1990) прежде всего как финно-угроведа мирового ранга, как основателя тартуской финно-угроведческой школы, исследователя ряда финно-угорских языков — как лингвиста.

Между тем свою научную деятельность академик П. Аристэ начал фольклористом и на протяжении всей жизни сохранял неослабный интерес к фольклору. Эстонские фольклористы подчеркивают эту “вторую любовь” П. Аристэ, почти конкурировавшую у него с лингвистикой, и его уникальную деятельность как собирателя и организатора собирания фольклора многих народов (Kukk-Halling 1995, 504). Сам себя академик называл лингвистом и “в некоторой степени этнологом-фольклористом” (Ariste 1986/2, 19).

Деятельность П. Аристэ по собиранию фольклора началась рано. Еще будучи гимназистом, он посылает профессору М. Й. Эйзену записи эстонского фольклора, а при поступлении в университет (в 1925 г.) призывает в Тарту не с пустыми руками: просит секретаря передать профессору собранные им фольклорные материалы (Ariste 1992, 289). Фольклор он выбирает в числе основных дисциплин, наряду с языками (Ariste 1982, 1258).

В этом же году П. Аристэ удается поступить на работу в Архивную библиотеку Эстонского национального музея, а в 1927 г., когда был учрежден Эстонский фольклорный архив (Eesti Rahvaluule Arhiiv = ERA), он становится заместителем основателя ERA, заведующего архивом Оскара Лооритса. В задачи П. Аристэ входила организация сбора материала в фонды. Как вспоминает сам профессор, место было штатное, зарплата хорошая, настроение радужное, а желание работать велико (Ariste 1992, 298).

С самого начала ERA ставил задачу целенаправленного, планомерного, системного сбора устного творчества всех народов, живущих в Эстонии. Прежде всего в план была включена работа по собиранию фольклора русских, шведов, евреев, немцев — официально признанных национальных меньшинств, но записи и хранению подлежал также фольклор ингеров, цыган, латышей (Ariste 1932, 122–123).

Фактическим основоположником фондов, названных впоследствии “Другие народы в Эстонии”, впрочем, становится П. Аристэ: поступив в 1927 г. на работу в только что учрежденный ERA, он передает туда на хранение свои записи еврейского фольклора (Ariste 1977, 1), что и явилось началом этих фондов. Был П. Аристэ и первым собирателем фольклора разных народов в Эстонии в целом (он первый записывал фольклор шведов, финнов, немцев, русских, латышей, цыган, евреев; в общей же сложности им собрано более 800 страниц этого материала: Tedre 1965, 90).

Результаты первых лет работы ERA по собиранию фольклора народов, живших в Эстонии, П. Аристэ характеризует в статье “Nichtestnische Sammlungen des Estnischen Volkskundlichen Archivs” (Ariste 1932), в которой обращает внимание не только эстонских, но и иностранных исследователей на значимость и ценность собранных у представителей национальных меньшинств фольклорных материалов, хотя, разумеется, объем этих материалов не мог быть сравнен с объемом записей эстонского фольклора, составлявшим уже тогда около 300 000 с. (Ariste 1932, 122).

Что касается становления именно русского фонда, то, по сведениям П. Аристэ, ERA обладал материалами русского фольклора и до 1928 г., до открытия фонда, но хранились они в разрозненном виде, в составе разных собраний, и имели там случайный характер (Ariste 1977, 1–2). После открытия фонда ERA-Vene началась целенаправленная работа по сбору фольклора для него. Первыми собирателями стали студенты — славянские филологи, для которых запись фольклора составляла обязательную часть их учебной работы. Был организован сбор материалов и силами русских школ (особенно из Лохусуу, Муствез и Тарту). Наиболее же ценны материалы, собранные стипендиатами ERA; среди них были весьма компетентные собиратели, которые, по свидетельству П. Аристэ, собрали и сохранили уникальный материал. Из их числа П. Аристэ выделяет Ф. М. Коняева, русского япониста, эмигрировавшего в Эстонию и работавшего учителем в д. Нина (Ariste 1932, 124). И в дальнейшем продолжался сбор фольклора повсюду, где жили в Эстонии русские (Ariste 1977, 3).

В итоге к концу 1931 г. в ERA-Vene содержалось 2164 с. фольклорных текстов; общее же количество единиц, включая материалы, хранившиеся в других фондах, составляло 5846 (Ariste 1932, 124–125).

ERA всячески подчеркивал желательность и необходимость собирания фольклора национальных меньшинств. В бюллетене Архива отмечается работа лучших собирателей, приводятся их имена, дается основа-

тельный обзор деятельности Архива, в том числе по сбору фольклора русских и других народов. Материально работу по сбору фольклора поддерживали EKS (Общество эстонской литературы) и ERM (Музей эстонского народа) (Rahvapärimumuste Selgitaja 3, 1937, 70).

Систематическая работа дала результаты. По отчету в бюллетене, самое большое собрание неэстонского фольклора — ERA-Vene значительно пополнилось и в ноябре 1937 г. содержало уже 5072 с., 9559 единиц фольклорных текстов (Rahvapärimumuste Selgitaja, 3, 1937, 80).

Преобладал фольклор, записанный от русских Печорского уезда. Между тем русское население Эстонии было далеко не однородным. Наблюдения об этом содержатся в статье П. Аристе 1930 г., посвященной описанию его поездки в Ийзаку. Как пишет П. Аристе, четко выделяются четыре основные группы русских — “псковские” в Сетумаа, русские западного Причудья, православные Принаровья и лютеране — “полуверцы” в Ийзаку и Иллаку. Из них, как подчеркивает П. Аристе, наиболее разнообразно русское “рыбацкое” население Причудья в деревнях вдоль западного побережья Чудского озера в пределах Тартумаа. У живущих в разных деревнях сохранялись различия обычаев, традиций, диалектного языка — во многом в связи с различиями в вероисповедании: здесь были и православные, и старообрядцы разного толка (поморцы, федосеевцы, или рабские, и единоверцы: Ariste 1930. 365). По убеждению П. Аристе, заслуживал особого внимания фольклор староверцев Причудья, стоящих на более древней ступени мировосприятия и верований, по сравнению с остальными русскими (Ariste 1932. 124).

Самого П. Аристе все же более всего привлекал район Ийзаку, во многом в силу необычности этого края: русские (считавшие себя эстонцами) в Ийзаку были лютеранами, что уникально для русского населения (Ariste 1930. 365).

П. Аристе и лично принимал участие в сборе русского фольклора. Будучи студентом, он в конце 1926 и в начале 1927 г. посещает Сетумаа, где наряду с эстонским записывает и русский фольклор. Оценивая впоследствии этот опыт, он наиболее существенным для себя считает то, что он получил возможность непосредственно наблюдать и заимствовать языков и народного устного творчества представителей разных народов, живущих на одной и той же территории. Как вспоминает П. Аристе, это открытие легло в основу его последующей научной деятельности (Ariste 1986/1, 53–54).

Будучи сотрудником ERA, П. Аристе несколько раз выезжал записывать русский фольклор. Записанное им по западному Причудью в фондах ERA-Vene датировано 1929 г., с некоторыми добавлениями 1935 г. В 1930-м г. (вместе с Карлом Лейхтером, записывавшим народную музыку), по заданию и плану работы ERA (Rahvapärimumuste Selgitaja, 3, 1937, 70), состоялась поездка в Ийзаку. Уже после ухода из Архива П. Аристе вместе с профессором П. Арумаа в 1937 г. посетил северное побережье Чудского озера. В итоге в томах фонда ERA-Vene

Литературного музея Эстонии хранится более 350 с. (тетрадного формата, как было установлено ERA) русского фольклора, описаний обычаев, наблюдений над диалектным языком и т.д., писанных рукою П. Аристэ, собранных им лично в этих краях.

Охарактеризуем кратко эти записи; некоторые образцы будут даны в приложении.

Записи датированы. Приводятся сведения об информантах: имя, фамилия, возраст; как правило, вероисповедание; иногда род занятий; о пришельцах указано также место, откуда они переселились в Причудье.

Записаны народные песни, старые и сравнительно новые; сказки, предания, заговоры, заклинания, поверья, приметы и др.; есть описания обычаев, традиций, сведения исторического и этнографического характера. Существовал и вопросник на русском языке (папка 18А в ERA-Vene), который включал конкретные вопросы, напр., о разного рода поверьях и др. (Кто заблуждает людей? Как найти дорогу? Как называют души усопших? Как устрашают детей?). Интерес представляли мифологические существа и их наименования (водяной, русалка, леший, домовый, оборотень), а также эвфемистические наименования животных (волка, медведя и др.). Обращалось внимание на отражение явлений природы в народном представлении (гром и молния, радуга, дождь при солнце, северное сияние). Интересовала собирателей народная медицина — названия и лечение болезней и т.п.

Отражают записи и влияние на русский фольклор и обычаи эстонской мифологии, обычаев, традиций.

Есть наблюдения над диалектным языком. Отмечаются его фонетические и — реже — грамматические особенности; при этом фиксируются и различия в речи жителей разных деревень или представителей разных поколений, иногда и некоторые индивидуальные особенности речи информантов. Приводятся списки слов, характерных для диалекта, прежде всего — иллюстрирующие влияние на него эстонского языка.

Рабочий язык записей — эстонский. На эстонском языке даются сведения об информантах и, как правило, излагаются наблюдения исторического и этнографического характера. На эстонском языке даны описания ситуации и самого хода беседы с информантом. Частично описываются на эстонском языке и обычаи, поверья и т.п.

Сам П. Аристэ сетует, что приходилось на эстонском языке фиксировать сказки. (П. Аристэ: Сказка рассказывается в особом стиле и очень быстром темпе. Могу передать лишь реферат содержания: ERA-Vene. 1, 309–310).

Как правило, записи технически отражают лишь основные фонетические особенности диалектной речи (аканье, яканье и некот. др.). Среди позднейших записей встречаются образцы в детальной фонетической транскрипции (на основе латинского алфавита).

* * *

Хотя уже в конце 20-х гг. позиции фольклора в основных научных интересах будущего профессора и академика начинают уступать лингвистике (проработав в Архиве около 4-х лет, П. Аристэ в 1931 г. подает заявление об уходе), тем не менее интерес к фольклору им не был утрачен. Не угасало и его стремление сохранить все, что можно сохранить. Естественно, эта деятельность имела уже более случайный характер. Записи, хранящиеся в музее, свидетельствуют, однако, о том, что П. Аристэ находил возможность фиксировать русское устное народное творчество даже в самых неожиданных условиях — от торговки рыбой в Тарту, от нищенки. Присылавшиеся ему разного рода фольклорные записи П. Аристэ также передавал в архив. Есть записи фольклора школьников Тарту, Валги, Таллина. В ERA (фонд ERA-Vene, 17, 119–152) хранятся карандашные записи фольклора ийзакусских полуверцев и наблюдений над их языком, подобранные Паулем Аристэ в 1944 г. в разгромленной квартире профессора П. Арумаа и переданные им на хранение в архив.

Сохранял П. Аристэ интерес и к русским говорам в Эстонии. В 30-е гг. он учил студентов-славистов методике диалектологических исследований и читал спецкурс об исследовании русских диалектов в восточной части Эстонии (Rätsep 1980, 34). И в более поздние годы он руководил работой аспирантов по этим диалектам, проявляя живой интерес к Причудью, к его старожилам, к их языку (свидетельство бывшей аспирантки: Мюркхейн 1985, 64–65).

В то же время П. Аристэ всегда оставался полевым исследователем, и это его коллеги считают одной из сильных сторон академика (Rätsep 1980, 20): в течение многих лет он постоянно выезжал записывать материал по финно-угорским языкам.

Собирацию русского фольклора, естественно, способствовало владение русским языком, который П. Аристэ знал с детства.

И нельзя не сказать об исключительном даре общения, которым был наделен П. Аристэ. Ему был свойствен живой, искренний, непосредственный, всегда доброжелательный интерес к людям. Его неизменно дружеское расположение и уважительное отношение к ним — черты, запомнившиеся всем, кто знал П. Аристэ, — черты, способствовавшие его легендарности.

Приложение

В заключение приведем образцы (в отрывках) фольклорных текстов, собранных П. Аристэ. (Некоторые песни, записанные им, отражены в публикации А. Ф. Белоусова: Белоусов 1976).

Из фонда ERA-Vene, 1, Причудье, 1929 г.

Ишли девушки в лес за ягодами,
Ишли за красными брусницами,
И все девушки понабралися,
И все красные понабралися.
Наша (Маланья) душа не набралася,
Наша Давыдовна не набралася,
За сырым дубом застоялася,
За сырым дубом, за милым другом (дружком),
За милым другом за Петинкой,
За Петинкой за Григорьичом застоялася (с. 199).

По зарям за зёршкой,
Тоска нападала.
Куды мои ленточки,
Мои потерялися.
И еще никто не знает
Про мою досадушку,
Только знает один
Задушевный (с. 295).

А мне молодой не здоровится.
А мне батюшкин хлеб не хочется:
Батюшкин хлеб полыньей пахнет.
А Иванушкин хлеб сухарям пахнет.
И яблочком отзывается (с. 297–298).

Илья кинет холодный камышек в воду. Гром и молонье от Ильи. Он хозяин над этим поставленный. Он свиривый. Раз не верили в его, не праздновали, а он наказал, што три года дождя не было. Потом сам Иисус просил, а он сказал: я хозяин своего слова — и ничего не помогло. (И на вопрос, видят ли и сейчас иногда Илью [примечание П. Аристэ]): Стоим ли мы того, штоб придти к нам. — Говорят, што Илья там (т.е. на небе: примечание П. Аристэ) едит на телеге (с. 223–224).

* Солнечные уши к ветру (с. 225).

* Ясень (северное сияние) на небе, к морозу это (с. 250).

* Объяснение слов: Лоскотуха, которая много лоскотует (болтает), как я таперь (с. 249). Лоскотуха — женщина, которая много хлопает языком (с. 282).

* Дворовик, это кошмар, колдун, шиш, это черт (с. 215).

* *Еретик*. Это звиривый человек, нехороший такой (с. 303).

Из фонда ERA-Vene, 1, район Ийзаку, 1930 г.

Ах ты мат, сира земля,

Как ви меня разабидели,

атабрали ат меня састойную састоюшку,

а потом убрали наливную ягодку. [Примечание П. Аристэ. Так причитала старуха, у которой умерли муж и сын (с. 681–682)].

Из описания свадебного обряда:

Кагда менят схали, бул жяних з батькой, а нявеста с другим мужиком <...>. А там разные шутки на свадьбе були. Адин бул лось, другой медведь <...>. На свадьбах много пели и па русьски и па чухоньски. Церковные песни вси па эстоньски були. — Ах сколько там плясали и гуляли! (с. 668–669).

* В вербном воскресеньи били вербами и гаварили: Христос вербуе, не я вербую (с. 692).

* В Иван-ден солнце играе, купается. Тагда агни були и тапер ё. Расу собирали — это лекарство тагда було, кагда глази баляли (с. 675).

* Когда рожа ё, эстоньские слава на синю бумагу пишут и имя таво, кто болен и кладут на бальное место (с. 677).

* В стариннее время *аттудаво* (т. е. с того света; примечание П. Аристэ) перебегали сюди. Эти *ваймуд* бували. Мая матица гаварила, што ваймуд мучили челавека (с. 672–673) [эст. *vaimud* — дүхи; души умерших].

* *Мецальяс* тоже бул. Кагда на след пападеш, так либа в лес заблюдиша, либа в воду. Это боялися очен трудно (с. 673) [*metshaldjas* — лесной дух, леший].

* В жару в воду пайдеш, вот тебе *крамид*, вот тебе там и *альяс* и *калдаствó* (с. 697) [*krambid* — судороги, *haldjas* — дух].

* Загадка: Немка бежи, брюха растё? — Вока (с. 693) [эст. *vokk* — прялка].

Из фонда ERA-Vene, 17, север. побережье Чудского оз., 1937 г.

Святочная песня:

Маладкá, маладкá, маладáя,

салдáтка палкавáя,

а полна па улици хадити,

пóлна чарную грязь таптати,

пóлна па мíлам таскавáти,

па мíламу дужити,

а как мне па мíламу ня дужити

да па мíламу па дружóчку,

што ва вéки тако́ва ня нажыти,

ня рóстам, красатой... (с. 13).

Ат глаза: Заамáнивала, загавáривала раба́ Божья́ Ольга живóтнай (чёрношёрстнай):

ат чёрнава гла́за,
и ат сiнява гла́за,
и ат сэрава гла́за,
и ат лихова́ чела́вэка.

Ты, Гóсподи, спасi и сахранi
ат всех злых и лихiх людéй,
ат сыро́й ма́тери землi,
ат сыро́й ма́тери вады;

Ты, Гóсподи, спасал
и сахраня́л маю́ живóтную (мой скот) (с. 29–31).

Ат муравья.

Царь муравей не кусай меня,
у меня́ тела́ ме́дна,
кровь желе́зна (с. 33).

* На перекрестке дорог в святочный вечер:

zazv'en'it'e, kalakol't's'ik'i štoi staranĭ. gd'e mn'e zā-muž vēit'i
(с. 11).

dvorav'i-k n''o-t's'ŭ dāvĭt, kav''o n'āl'ūbit. a kav''o l'ū'bit, tadj· glād'ēt
i k''ormit sk''ot n''o-t's'ŭ, a tšālav'ekъ kagda' dā-vit, tadj· nu-žnъ jav''o-
spras'i-t', a tĭ ktšamu· x''o-d'is' kxūdu a-l'i gdabru?

— a "on atv'ēt'it. skāžet: kxūdu — a kagda — l'ū-bit, skāžet: gdabru: a
t's'āl'vė-k t''o-l'kъ mĭt's'i-t (с. 93).

Примеры лексики

Причудье, 1929

Кóрфик, корвик — 'корзина из прутьев' [эст. *korv, korvike*]; *кiюник* — 'плоскодонная лодка' [эст. *küpa* — 'корыто']; *мурник* — 'строитель-каменщик' [эст. *tüür* — 'стена (наружная)']; *ноць! ноць!* — свиней ползывают [в эстонской речи — *noisu*]; *трéнка* — 'крыльцо' [эст. *trepp*]; *ют* — 'пустые разговоры; сказка': *Это не правда, эти только юты такие.* [эст. *jutt*] (Фонд ERA-Vene, 1, с. 321–322.)

Ийзаку, 1930

Дудá, дýдка 'волынка'; *гармóния; гýсли; шкри́пка* 'скрипка'; *кóму-шелт, красiк* 'старинная женская одежда'; *навойник; ма́тица* 'мать'; *лéкар; припасéнка* 'песня между танцами'; *трили́кат*: раньше не пели, а триликали; *церк* 'церковь'; *виз, визия, виза* 'мелодия, напев' [эст. *viis*]; *крунт* 'участок земли' [эст. *krunt*]; *грамота* 'книга' [эст. *raamat*]; *кáтэкизмус* 'катехизис' [эст. *katekismus*]; *ни́ду* 'праздник' [эст. *pidu*]; *сóкид* 'носки' [эст. *sokid*]; *тáну, щанчик* 'чепец, чепчик' [эст. *lanu*] (Фонд ERA-Vene, 1, с. 709–713).

ЛИТЕРАТУРА

- Белоусов 1976 — Белоусов А.Ф. Песни и сказки русского населения Эстонии. — Фольклор русского населения Прибалтики. М.: Наука, 1976.
- Мюркхейн 1985 — Мюркхейн В. Кандидатский экзамен профессору П. Аристе. — Труды по финно-угроведению. 12: Пауль Аристе и его деятельность. Тарту, 1985.
- Ariste 1930 — Ariste P. Koijamisretkel poluvertsikute maal. — Eesti kirjandus, Tartu, 1930, 8.
- Ariste 1932 — Ariste P. Nüchtestnische Sammlungen des Estnischen Volkskundlichen Archivs. — Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1930. Tartu, 1932.
- Ariste 1977 — Ariste P. ERA mitte-estni kogudest. Рукопись доклада, прочитанного на секции фольклора ES (Общества родного языка) 23 сентября 1977 г. Машинопись. Хранится в Культурологическом архиве Литературного музея Эстонии, фонд проф. П. Аристе.
- Ariste 1982 — Ariste P. Mõni lehekülj memuaaridest. — Looming, Tallinn, 1982, 9.
- Ariste 1986/1 — Ariste P. Esimestest kogumisretkedest. — Kodumurre, Tallinn, 1986, 16.
- Ariste 1986/2 — Ariste P. Lingvisti ja etnograafi koostööst. — Kodumurre, Tallinn, 1986, 18.
- Ariste 1988 — Ariste P. Karl Leichteriga rahvaluuleretkel. — Teater. Muusika. Kino, Tallinn, 1988, 8.
- Ariste 1992 — Ariste P. Meenutusi üliõpilasaastatest. — Mälestusi Tartu Ülikoolist 1900–1944. Сост. С. Исаков и Х. Паламетс. Таллинн, 1992.
- Kukk-Halling 1995 — Kukk-Halling T. Tartus peeti akadeemik Paul Ariste päevi. — Keel ja kirjandus, Tallinn, 1995, 7.
- Rahvapärimate selgitaja. Eesti Rahvaluule Arhiivi väljaanne. 1936–1939.
- Rätsep 1980 — Rätsep H. Akadeemik Paul Ariste. — Tallinn: Perioodika, 1980.
- Tedre 1965 — Tedre Ü. Akadeemik Paul Ariste rahvaluulekogujana. — Kodumurre, Tallinn, 1965, 7.

ИЗ СЕРИИ “РУКОПИСИ ДЕРПТА (ТАРТУ)”.

**I. Тартуский список 1712 г. словаря Епифания
Славинецкого “*Dictionarivm latinosclavonicvm
ex latino idiomate tradvctvm...*”
(с факсимиле титульного листа)**

*История славистики — история восточнославянской лексико-
графии — староукраинская лексикография — Тартуский список
1712 г. латино-славянского словаря Епифания Славинецкого —
общее описание — факсимиле титульного листа*

Во второй половине 70-х гг., занимаясь в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки Тартуского университета, мы обратили внимание на рукопись под шифром Mnsc. 115. Тогда же нами было сделано предварительное ее описание и произведены выписки характерных лексем прежде всего славянской части. Речь идет о неизвестном ранее списке латино-славянского словаря Епифания Славинецкого. Для работы над рукописью мы привлекли студента С. Бормотова, защитившего под нашим руководством дипломную работу “Текстология и язык Тартуского списка 1712 г. латино-славянского словаря Епифания Славинецкого” (1993). Эта же тема была ему определена и в качестве магистерской диссертации, однако далее первого, чернового, варианта и небольшой заметки о списке в журнале студентов кафедры славянской филологии “*Slavia*” (№ 1, с. 13–15) работа так и не продвинулась. Следовательно, задача всестороннего описания и осмысления этого документа начала XVIII в. не снята с повестки дня. В этой краткой заметке мы хотим дать общие сведения о рукописи, оставляя на будущее детальное исследование текстологических и лингвистических ее особенностей.

О том, что Тартуский список (ТС) до сих пор неизвестен науке, говорит тот факт, что в основательных исследованиях и изданиях словаря он попросту не упоминается. В. В. Нимчук, издавший в 1973 г. текст “*Лексіконъ латинскій*” (собственно латино-славянский) Епифания Славинецкого по Московскому списку 1642 г., в обширном предисловии разбирает и сравнивает различ-

ные списки, однако ТС здесь не упоминается (Німчук 1973б, 12–51; сам текст словаря см. Німчук 1973а, 59–420). Шведская исследовательница У. Биреггор отмечает 21 список латино-славянского словаря (Birgegard 1985; см. также Birgegard 1990) — и здесь ТС не фигурирует. Заметим, что, называя список 1712 г. Тартуским, мы прежде всего имеем в виду его местонахождение, а не место переписки (которая была, вероятно, проведена в Москве — см. ниже).

На титульном листе нашей рукописи дано латинское название, при этом ее составитель не указан: *Dictionarium latinosclavonicum ex latino idiomate traductum et accuratâ emendatione expressum ac in publicum proditum. Anno quo mortalium reparata salus. 1712.* На обороте титульного листа написано: *Thomas Witte. Moscow Anno 1712. Lectori.*

Л. 1 содержит текст по-латински, л 1/об перевод его на славянский. На л. 2 находим славянское название словаря и источник, на базе которого он был составлен: *лѣзникѡнъ латинъскій: ꙗко калепина прѣложенъ на славѣнъскій.* Таким образом, в рукописи прямо указывается на известный латинский словарь Амброзия Калепина как на опору при составлении двуязычного латино-славянского словаря.

Всего рукопись содержит 503 листа, что составляет приблизительно 1000 страниц (63 сшитых тетради). Размер рукописи 20×31 см. Почерк четкий, варьирует от полуустава до скорописи. Титла употребляются редко. Обычны выносы различных букв. Заставка рукописи в виде орнамента. Бумага хорошо сохранилась вместе с водяными знаками. Переплет массивный: деревянная основа обтянута кожей. На каждой странице в среднем по 26–27 строк (= слов), из чего можно сделать предварительный вывод о числе слов в рукописи. — примерно 26000–27000 слов (для сравнения: Німчук определяет количество слов в изданном им списке латино-славянского словаря Епифания в 27000, см. Німчук 1973б, 40).

Сами лексические единицы словаря, их фонетический вид и грамматические и словообразовательные элементы позволяют утверждать, что перед нами — памятник староукраинской лексикографии в ее так наз. юго-западном исполнении, срав. *ковачь* мфды, мфдянь (л. 17/об), *стреля*, *кꙗля* 'пуля' (л. 214), *Рꙗта* трава (л. 412); срав. фонетическое и словообразовательное исполнение таких слов, как: *китоловець* (73/об), *древосъчець* (л. 276), *пѣснопѣвець* (л. 279); срав. также: *приплатати* (л. 19), *сравнѣти* (л. 10), *ласкати* (л. 80) и орфографию: *полинъ* трава (л. 5/об).

покривала (л. 84/об), морская свиня (л. 213/об), сокритїи (л. 2/об), усиляю (л. 437) и белорусского вида *гору*, зно[ю]ся, вар[ю]ся (л. 18) и под. В то же время достаточно систематически огромный пласт лексики используется в церковнославянском виде, срав.: *крава* малая (л. 74), *брадавка на вѣждахъ* (л. 74), *младъ слень*, *Слень брадатый* (л. 210), *врата*, дверь (л. 214), а также *рамо*, плечо, мышца (л. 210/об) и т.д. Как видно из приведенных примеров, элементы юго-западного и церковнославянского типа нередко подаются вперемешку, что ставит задачу определения весомости каждой языковой стихии в этом списке известного лексикографического труда и определения места его создания (resp. переписки). Помещаем здесь факсимиле титульного листа ТС.

ЛИТЕРАТУРА

- Німчук 1973а — Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корещького-Сатановського. Підготував до видання В. В. Німчук. (Пам'ятки української мови XVII ст.). — Київ: Наукова думка, 1973.
- Німчук 1973б — Німчук В. В. "Лексіконъ латинский" та "Лексікон словено-латинский" і їх місце в історії старої української лексикографії. — Лексикон латинський С. Славинецького. Лексикон словено-латинський... — Київ, 1973, с. 5–58.
- Birgegard 1985 — Birgegård U. Johann Gabriel Sparwenfeld and the Lexicon Slavonicum. — Uppsala, 1985.
- Birgegard 1990 — Birgegård U. Латино-славянський словарь Славинецького: пам'ятник зустрічі двох культур. — Wiener Slawistischer Almanach. 1990, Bd. 25–26, 71–88.

А. Д. Д.

DICTIONARIUM

LATINOSCLAVONICVM

EX LATINO IDIOMATE

TRADUCTVM

ET

CURATA EMENDATIONE

EXPRESSVM

AC

IN PVBLICVM PRODITVM

Anno quo moralium reparata salus

1712

ИЗ СЕРИИ “РУКОПИСИ ДЕРПТА (ТАРТУ)”.
II. Находка рукописи Г. Корбута
“Deutsche Lehnwörter im Polnischen...” (1890)
(с факсимиле титульного листа)

История полонистики — немецко-польские языковые отношения — Г. Корбут и его труд (см. название статьи) тартуского периода — документ о награждении Г. Корбута золотой медалью — письмо И. А. Бодуэна де Куртенэ по поводу передачи книги Г. Корбута в библиотеку Тартуского университета — содержание рукописи — факсимиле титульного листа

Видный деятель польской науки и культуры, библиограф Габриель Мариан Корбут (1862–1936), уроженец Дерпта (Тарту), как известно, учился в Тартуском (Дерптском) университете, получив по его окончании 15 декабря 1890 г. “степень кандидата славянской филологии и языковедения”. В университете он слушал лекции знаменитого И. А. Бодуэна де Куртенэ, ему же сдавал экзамены и различные письменные работы, о чем свидетельствуют сохранившиеся в архиве документы. В 1890 г. здесь был объявлен очередной конкурс на лучшую студенческую научную работу. По инициативе Бодуэна Корбут начал работать над темой, посвященной немецким заимствованиям в польском языке. В октябре того же года Корбут представил работу историко-филологическому факультету и стал ждать результата. В декабре было объявлено официальное решение:

“Совѣтъ Императорскаго Дерптскаго Университета по прошенію симъ свѣдетельствуетъ, что бывшему студенту славянскаго филологіи и языковѣденія Гавріилу Маріану Юсифовичу Карафа-Корбуту, С. Петербургскому уроженцу, за удачную обработку заданной историко-филологическимъ факультетомъ для соисканія преміи на 1890 г. темы: “Займствованныя изъ нѣмецкаго слова польскаго языка въ фонетическомъ, морфологическомъ и культурно-историческомъ отношеніи” признана 12. Декабря 1890 года золотая медаль”.

Текст этого документа находится в Историческом архиве Эстонии (Eesti Ajalooarhiiv, Tartu) в деле Г. Корбута: Fond 402, nim. 2, sü. 12980, лист 4.

Как известно, Корбут по предложению Бодуэна подготовил работу к печати и опубликовал ее в переводе на польский язык в варшавском журнале "Prace filologiczne" в 1893 г. под несколько измененным названием "Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym" (1893, tom IV, s. 345–560; плюс небольшой "Dodatek" на с. 666). В том же году работа вышла как "odbitka z tomu IV. Prac filologicznych", т.е. отдельной книгой (Warszawa: Druk Józefa Jeżyńskiego, (4) + 216 s.), с посвящением: "Czcigodnemu Profesorowi Janowi Nicislawowi Baudouinowi de Courtenay pracę tę poświęca autor". "Dodatka" в книге нет. В марте 1893 г. Бодуэн обращается в Совет Императорского Дерптского университета:

"Бывший студентъ нашего Университета, кандидатъ славянской филологіи и языковѣденія, Гавріиль Іосифовичъ Корбутъ, прислалъ мнѣ экземпляръ своего сочиненія "Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym" (Нѣмецкія слова в польскомъ языкѣ въ языковомъ и культурномъ отношеніи) (Deutsche Wörter in der polnischen Sprache in sprachlicher und cultureller Hinsicht), представляющаго польскую передѣлку диссертации, за которую была въ свое время присуждена автору Историко-филологическимъ факультетомъ золотая медаль, съ просьбою презентовать его университетской библиотекѣ. Прилагая этотъ экземпляръ, позволяю себѣ вмѣстѣ съ тѣмъ сообщить адресъ г. Корбута: С.-Петербургъ, Гороховая ул., № 51, кв. 26. И. Бодуэнь-де-Куртенэ" (Fond 402, nim. 5, sü. 1245, лист 8).

Этот экземпляр действительно хранится до сих пор в Научной библиотеке Тартуского университета под шифром II f1274w.

В начале 1994 г. мы предприняли поиски оригинала рукописи Г. Корбута в Историческом архиве Эстонии в г. Тарту. Большую помощь в этом нам оказала научный сотрудник архива, кандидат филологических наук Татьяна К. Шор. Рукопись Корбута сохранилась и находится в университетском фонде 402, nim. 13, sü. 288. Ее оригинальное название: Deutsche Lehnwörter im Polnischen in phonetischer, morphologischer und kulturhistorischer Hinsicht. Представлена была рукопись под девизом "Omnes homines natura libertati student". Объем рукописи — (8) + 328 страниц, т.е. 336 с. Исполнена она четким почерком. По всей работе замечания и правка сделаны рукою И. А. Бодуэна де Куртенэ. Приводим содержание рукописи.

[S. I] Рукою проф. Л. Мейера написано: Nr. 353. Eingegangen bei der Histor.-philogischer Facultät den 12. October 1890.

[S. III] Inhalt.

[S. IV–VI] Quellen.

[S. VII–VIII] Abkürzungen.

S. 1–17: [Einleitung].

S. 17–57: I. Der Einfluss der deutschen Sprache auf die polnische in culturhistorischer Hinsicht. §§ 1–10.

S. 58–100: II. Allgemeine Betrachtungen über die sprachlichen Veränderungen, die bei der Polonisierung deutscher Wörter erfolgen. §§ 11–23.

S. 101–216: Phonetischer Process. § 24–79.

S. 217–298: Morphologische Veränderungen. §§ 80–95.

S. 299–300: пустая страница.

S. 301–328: Wörterverzeichniss.

Предварительная сверка оригинала и публикации подтвердила правоту слов Бодуэна о том, что книга представляет собой “польскую переделку диссертации”. В дальнейшем предстоит провести детальное сличение обоих текстов.

В 1996 г. в Белостоке вышла монография Богуслава Нововойского о немецких заимствованиях в польском языке в XIX в. [B. Nowowiejski. Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism). (Dissertationes Universitatis Varsoviensis. 445). — Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, 1996. — 352 s.]. К сожалению, автор лишь вскользь упоминает об исследовании Г. Корбута, проведенном более ста лет назад под руководством И. А. Бодуэна де Куртенэ. Будем надеяться, что открывающаяся теперь возможность изучения рукописи и публикации оживит интерес и внимание к труду Г. Корбута. Помещаем здесь факсимиле титульного листа рукописи.

А. Д. Д.

№. 559. Византизм. к. 10. Мисл. - phil. Факултет на З. Београ 1890.

Omnes homines natura
libertati student.

Deutsche Lehnwörter.

im Polnischen

in phonetischer, morphologischer
und culturhistorischer
Hinsicht.

1890.

В СЕРИИ "SLAVICA TARTUENSIA" ВЫШЛИ:

- I. Исследования по истории славянского языкознания. Посвящается 150-летию отечественного университетского славяноведения. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 710). — Тарту, 1985. — 144 с.
- II. Славянские литературные языки и историография славяноведения. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 811). — Тарту, 1988. — 171 с.
- III. Славяно-славянские и славяно-финно-угорские сопоставления. Slovensko-slovenska i slovensko-ugrofinska porodenja. (Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 932). Отв. редакторы тома А. Д. Дуличенко и Б. Тошович. — Tartu, 1991. — 206 с.
- IV. Языки малые и большие... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. — Tartu, 1998. — 317 с.

Сборник содержит статьи по проблемам конкретных славянских языков, в т.ч. и микроязыков (русский, сербско-хорватский, югославо-русинский, резьянский, кашубский и словинский, нижнелужицкий, старославянский, церковнославянский, полабский), попыткам создания новых литературных языков в славянском мире (черногорский, моравский, карпаторусинские Словакии и Украинского Закарпатья, вичский и гал(ь)шанский), а также по истории славистики и новым находкам рукописей. Статьи написаны на 13 языках, в т.ч. на югославо-русинском, кашубском, нижнелужицком и черногорском.